

РАССКАЗ СЛУЖАНКИ

МАРГАРЕТ ЭТВУД

ОТОРВАТЬСЯ НЕВОЗМОЖНО.
DAILY TELEGRAPH

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР·ЧИТАЕТ ВЕСЬ МИР

Рассказ Служанки
Маргарет Этвуд

Аннотация
Маргарет Этвуд. Рассказ Служанки
I. Ночь
  Глава 1
II. Покупки
  Глава 2
  Глава 3
  Глава 4
  Глава 5
  Глава 6
III. Ночь
  Глава 7
IV. Комната ожидания
  Глава 8
  Глава 9
  Глава 10
  Глава 11
  Глава 12
V. Дрема
  Глава 13
VI. Домочадцы
  Глава 14

Глава 15
Глава 16
Глава 17
VII. Ночь
Глава 18
VIII. День Рождения
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Глава 23
IX. Ночь
Глава 24
X. Свитки Духа
Глава 25
Глава 26
Глава 27
Глава 28
Глава 29
XI. Ночь
Глава 30
XII. «У Иезавели»
Глава 31
Глава 32
Глава 33
Глава 34

Глава 35
Глава 36
Глава 37
Глава 38
Глава 39
XIII. Ночь
Глава 40
XIV. Избавление
Глава 41
Глава 42
Глава 43
Глава 44
Глава 45
XV. Ночь
Глава 46
Комментарий историка к «Рассказу Служанки»

Аннотация

В дивном новом мире женщины не имеют права владеть собственностью, работать, любить, читать и писать. Они не могут бегать по утрам, устраивать пикники и вечеринки, им запрещено вторично выходить замуж. Им оставлена лишь одна функция.

Фредова – Служанка. Один раз в день она может выйти за покупками, но ни разговаривать, ни вспоминать ей не положено. Раз в месяц она встречается со своим хозяином – Командором – и молится, чтобы от их соития получился здоровый ребенок. Потому что в дивном новом мире победившего христианского фундаментализма Служанка – всего-навсего сосуд воспроизводства.

Обжигающий нервы роман лауреата Букеровской премии Маргарет Этвуд «Рассказ Служанки» – убедительная панорама будущего, которое может начаться завтра.

Маргарет Этвуд
Рассказ Служанки

Посвящается Мэри Уэбстер и Перри Миллеру[1]

И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову: дай мне детей, а если не так, я умираю.
Иаков разгневался на Рахиль и сказал: разве я Бог, Который не дал тебе плода чрева?
Она сказала: вот служанка моя Валла; войди к ней; пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее.

Бытие, 30:1–3

---

[1] Примечания: 1

Мэри Уэбстер(в девичестве Ривз, ок. 1626–1696) — одна из коннектикутских предков Маргарет Этвуд. В 1683 г. Предстала перед судом по обвинению в колдовстве, была оправдана, однако впоследствии оказалась жертвой самосуда: в 1685 г. местная молодежь попыталась повесить «ведьму», а затем похоронила ее в снегу; то и другое Мэри Уэбстер пережила. *Перри Миллер* (1905–1963) — американский историк, профессор Гарвардского университета, под чьим руководством Этвуд в начале 1960-х изучала историю Америки вообще и раннее пуританство в частности. — *Здесь и далее прим. переводчика.*

Что до меня, то, притомившись за многие годы высказывать бессмысленные, тщетные, несбыточные суждения и в конце концов решительно потеряв веру в успех, я, по счастию, осенен был сим предложением…

***Джонатан Свифт. Скромное предложение*[2]**

Нет в пустыне знака, что говорит: и не вкуси камней.

Суфийская притча

---

[2] Примечания: 2

В сатирическом памфлете английского писателя Джонатана Свифта «Скромное предложение касаемо того, как воспрепятствовать бедняцким детям в Ирландии стать обузой родителям или стране, а равно о том, как извлечь из детей сих пользу для общества» (1729) автор предлагает решать проблему бедности Ирландии путем поедания ирландских младенцев.

Margaret Atwood
The Handmaid's Tale
© 1986 by O.W.Toad, Ltd.
This edition is published by arrangement with Curtis Brown UK and The Van Lear Agency LLC
© Грызунова А., перевод на русский язык, 2016
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

I. Ночь

Глава 1

Спали мы в бывшем спортзале. Лакированные половицы, на них круги и полосы — для игр, в которые здесь играли когда-то; баскетбольные кольца до сих пор на месте, только сеток нет. По периметру — балкон для зрителей, и, кажется, я улавливала — смутно, послесвечением, — едкую вонь пота со сладким душком жевательной резинки и парфюма девочек-зрительниц в юбках-колоколах — я видела на фотографиях, — позже в мини-юбках, потом в брюках, потом с одной сережкой и зелеными прядками в колючих прическах. Здесь танцевали; музыка сохранилась — палимпсест неслыханных звуков, стиль на стиле, подводное течение ударных, горестный вопль, гирлянды бумажных цветов, картонные чертики, круговерть зеркальных шаров, что засыпали танцоров снегопадом света.

В зале — древний секс и одиночество, и ожидание того, что бесформенно и безымянно. Я помню тоску о том, что всегда на пороге, те же руки ли на наших телах там и тогда, на спине или за чьей-то спиной — на стоянках, в телегостиной, где выключен звук и лишь кадры мельтешат по

вздыбленной плоти.

Мы тосковали о будущем. Как мы ему научились, этому дару ненасытности? Она витала в воздухе; и пребывала в нем запоздалой мыслью, когда мы пытались уснуть в армейских койках — рядами, на расстоянии, чтоб не получалось разговаривать. Постельное белье из фланелета, как у детей, и армейские одеяла, старые, до сих пор со штампом «С.Ш.А.». Мы аккуратно складывали одежду на стулья в ногах. Свет приглушен, но не потушен. Патрулировали Тетка Сара и Тетка Элизабет; к кожаным поясам у них цеплялись на ремешках электробичи.

Но без оружия — даже им не доверяли оружия. Оружие — для караульных, особо избранных Ангелов. Караульных не пускали внутрь, если их не звали, — а нас не выпускали, только на прогулки, дважды в день, парами вокруг футбольного поля; теперь его обтягивала сетка, увенчанная колючей проволокой. Ангелы стояли снаружи, спинами к нам. Мы боялись их — но не только боялись. Хоть бы они посмотрели. Хоть бы мы смогли поговорить. Могли бы чем-нибудь обменяться, думали мы, о чем-нибудь уговориться, заключить сделку, у нас ведь еще остались наши тела. Так мы фантазировали.

Мы научились шептаться почти беззвучно. Мы протягивали руки в полутьме, когда Тетки отворачивались, мы соприкасались пальцами через пустоту. Мы научились читать по губам: повернув головы на подушках, мы смотрели друг другу в рот. Так мы передавали имена — с койки на койку.

Альма. Джанин. Долорес. Мойра. Джун.

II. Покупки

Глава 2

Стул, стол, лампа. Наверху, на белом потолке, — рельефный орнамент, венок, а в центре его заштукатуренная пустота, словно дыра на лице, откуда вынули глаз. Наверное, раньше висела люстра. Убирают все, к чему возможно привязать веревку.

Окно, две белые занавески. Под окном канапе с маленькой подушкой. Когда окно приоткрыто — оно всегда приоткрывается, не больше, — внутрь льется воздух, колышутся занавески. Можно, сложив руки, посидеть на стуле или на канапе и понаблюдать. Через окно льется и солнечный свет, падает на деревянный пол — узкие половицы, надраенные полиролем. Она сильно пахнет. На полу ковер — овальный, из лоскутных косичек. Они любят такие штришки: народные промыслы, архаика, сделано женщинами в свободное время из ошметков, которые больше не к чему приспособить. Возврат к традиционным ценностям. Мотовство до нужды доведет. Я не вымотана. Отчего я в нужде?

На стене над стулом репродукция в раме, но без стекла: цветочный натюрморт, синие ирисы, ак-

варель. Цветы пока не запрещены. Интересно, у каждой из нас такая же картинка, такой же стул, такие же белые занавески? Казенные поставки?

Считай, что ты в армии, сказала Тетка Лидия.

Кровать. Односпальная, средней жесткости матрас, белое стеганое покрывало. На кровати ничего не происходит, только сон; или бессонница. Я стараюсь поменьше думать. Мысли теперь надо нормировать, как и многое другое. Немало такого, о чем думать невыносимо. Раздумья могут подорвать шансы, а я намерена продержаться. Я знаю, почему нет стекла перед акварельными синими ирисами, почему окно приоткрывается лишь чуть-чуть, почему стекло противоударное. Они не побегов боятся. Далеко не уйдем. Иных спасений — тех, что открываешь в себе, если найдешь острый край.

Так вот. За вычетом этих деталей тут бы мог быть пансион при колледже — для не самых высоких гостей; или комната в меблирашках прежних времен для дам в стесненном положении. Таковы мы теперь. Нам стеснили положение — тем, у кого оно вообще есть.

И однако солнце, стул, цветы; от этого не отмахнешься. Я жива, я живу, я дышу, вытягиваю раскрытую ладонь на свет. Сие не кара, но че-

ствование, как говорила Тетка Лидия, которая обожала «или/или».

Звонит колокол, размечающий время. Время здесь размечается колоколами, как некогда в женских монастырях. И, как в монастырях, здесь мало зеркал.

Я встаю со стула, выдвигаю на солнце ноги в красных туфлях без каблука — поберечь позвоночник, не для танцев. Красные перчатки валяются на кровати. Беру их, натягиваю палец за пальцем. Все, кроме крылышек вокруг лица, красное: цвет крови, что нас определяет. Свободная юбка по щиколотку собирается под плоской кокеткой, которая обхватывает грудь; пышные рукава. Белые крылышки тоже обязательны: дабы мы не видели, дабы не видели нас. В красном я всегда неважно смотрелась, мне он не идет. Беру корзинку для покупок, надеваю на руку.

Дверь в комнате — не в моей комнате, я отказываюсь говорить «моей» — не заперта. Она даже толком не затворяется. Выхожу в натертый коридор, по центру — грязно-розовая ковровая дорожка. Словно тропинка в лесу, словно ковер пред королевой, она указывает мне путь.

Дорожка сворачивает, спускается по парадной лестнице, и я двигаюсь вместе с ней, одна рука

на перилах — когда-то был древесный ствол, обточенный в ином столетии, выглаженный до теплого блеска. Дом — поздневикторианский, семейный особняк, выстроен для большой богатой семьи. В коридоре напольные дедушкины часы выдают по крохам время, а за ними дверь в мамочкины парадные покои, сплошь телесность и намеки. Покои, где нет мне покоя: стою столбом или преклоняю колена. В конце коридора над парадной дверью — полукруглый витраж: синие и красные цветы.

Там осталось зеркало, в вестибюле на стене. Если повернуть голову так, чтобы крылышки, обрамляющие лицо, направили взгляд туда, я увижу его, спускаясь по лестнице, круглое, выпуклое рыбоглазое трюмо, и себя в нем — исковерканной тенью, карикатурой, пародией на сказочного персонажа в кровавом плаще, снисхожу к мгновению беспечности, что равносильна опасности. Сестру окунули в кровь.

У подножия лестницы — стойка для зонтов и шляп, гнутая, длинные скругленные деревянные ярусы мягко изгибаются крюками, точно папоротник распустился. В стойке зонтики: черный — Командора, голубой — Жены Командора, и еще один, предназначенный мне, красный. Я

оставляю красный зонтик, где он есть, — сегодня солнечно, я видела в окно. А Жена Командора, интересно, в покоях? Она не всегда сидит спокойно. Порой я слышу, как она расхаживает туда-сюда, тяжелый шаг, потом легкий, и тихий стук ее трости по пыльно-розовому ковру.

Я иду по коридору — мимо парадных покоев, мимо двери в столовую, открываю дверь в конце вестибюля и миную кухню. Тут уже пахнет не полиролем. Тут Рита стоит у стола, над щербатой эмалированной столешницей. Рита, как всегда, в платье Марфы[3], тускло-зеленом, будто халат хирурга из прошлого. Фасон — почти как у меня, платье длинное, скрадывающее, но поверх него фартук с нагрудником и никаких белых шор, никакой вуали. Выходя на улицу, Рита надевает вуаль, но никому дела нет, кто видит лицо какой-то Марфы. Рукава закатаны по локоть, смуглые руки напоказ. Она печет хлеб, кидает буханки на

[3] Примечания: 3

«В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; у нее была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее» (Лук. 10:38–42).

последний краткий замес, потом на формование.

Рита видит меня, кивает — не разберешь, то ли здоровается, то ли просто дает понять, что увидела, — вытирает мучные руки о фартук, в ящике нашаривает книжку талонов. Хмурясь, выдирает три штуки и протягивает мне. Ее лицо было бы добрым, если б она улыбалась. Но хмурится она не на меня: Рита не одобряет красное платье и то, что оно олицетворяет. Рита думает, я заразная, как краснуха или невезение.

Иногда я подслушиваю под дверью — в прежние времена ни за что бы не стала. Недолго — не хочу краснеть, если застукают. Но однажды я слышала, как Рита говорит Коре: мол, не хотела бы так позориться.

Тебя никто и не просит, ответила Кора. А вообще, если бы вдруг, — что бы ты сделала?

Уехала бы в Колонии, сказала Рита. У них есть выбор.

С Неженщинами, помереть с голодухи и Бог знает как? спросила Кора. Красный свет: все, приехали.

Они лущили горох; даже из-за полуприкрытой двери я слышала тихие щелчки: твердые горошины падали в железную миску. И Рита: ворчание или вздох протеста или согласия.

Да и вообще, они это для нас для всех делают, сказала Кора. Ну, так говорят. Если б я себе трубы не перевязала, я бы тоже так могла. Десяток лет сбросить — и пожалуйста. Не так уж страшно. На такой работенке не надорвешься.

Лучше она, чем я, пробормотала Рита, и я открыла дверь. Их лица — у женщин такие всегда, если они о тебе говорили у тебя за спиной и подозревают, что ты слышала: смущенные, но еще немножко дерзкие, будто они в своем праве. В тот день Кора была со мной милее обычного; Рита — угрюмее.

Сегодня, несмотря на замкнутое Ритино лицо и поджатые губы, я бы лучше осталась тут, в кухне. Может, из какого-нибудь закоулка дома придет Кора, принесет бутылку лимонного масла и щетку для пыли, и Рита сварит кофе — в домах Командоров кофе по-прежнему настоящий, — и мы посидим за Ритиным кухонным столом, который не больше Ритин, чем мой стол — мой, поговорим о болях и недугах, о болезнях, о наших ногах и спинах, о любом хулиганстве, какое могут учинить наши тела, непоседливые дети. Мы станем кивать в такт словам друг друга, сигналя: да, уж мы-то еще как понимаем. Обменяемся рецептурами и постараемся превзойти друг друга

в литаниях физических страданий; мы будем тихо жаловаться, голоса негромкие, минорные, скорбные, будто голуби на карнизе. *Да уж, я понимаю,* станем говорить мы. Или — чудное выражение, его порой до сих пор слышишь от стариков: *Я вижу, к чему ты ведешь,* будто сам голос — проводник, что уводит тебя далеко-далеко. Он и уводит, он и есть проводник.

Как я презирала такие разговоры. Теперь я их жажду. Это хотя бы разговор. Обмен своего рода.

Или мы бы сплетничали. Марфы много чего знают, они разговаривают, из дома в дом передают неофициальные новости. Как и я, они, без сомнения, подслушивают за дверями, и видят немало, пускай и отводят глаза. Я их иногда застукивала, ловила обрывки бесед. *Мертворожденный, ага.* Или: *Тыкнула ее вязальной иглой, прямо в пузо. Небось ревность поедом ела.* Или дразнят: *Она средство для унитазов взяла. Прошло как по маслу, хотя он-то вроде должен был распробовать. Видать, напился вусмерть; но ее запросто нашли.*

Или я помогла бы Рите печь хлеб, окунула бы руки в это мягкое упругое тепло, так похожее на плоть. Я изголодалась по прикосновению — к чему угодно, кроме дерева и ткани. Мечтаю содеять

прикосновение.

Но даже попроси я, даже нарушь я до такой степени приличия, Рита не позволит мне. Слишком испугается. Недопустимо панибратство между Марфами и нами.

Панибратство значит: *ты — мой брат.* Мне Люк сказал. Он говорил, нет такого слова, которое значит: *ты — моя сестра.* Должно быть, панисестринство, говорил он. Из польского. Он любил такие детали. Словообразование, любопытное словоупотребление. Я его дразнила педантом.

Я беру талоны из Ритиной руки. На них изображения того, на что их можно обменять: дюжина яиц, кусок сыра, бурая штука — видимо, стейк. Я сую талоны в нарукавный карман на «молнии», где храню пропуск.

— Скажи им, пускай свежие дадут, яйца-то, — говорит она. — А не как в тот раз. И цыпленка, а не курицу. Скажи им, для кого, они тогда не будут кобениться.

— Хорошо, — говорю я. Не улыбаюсь. Зачем искушать ее дружбой?

Глава 3

Я выхожу черным ходом в сад, громадный и ухоженный: в центре газон, ива, плакучие сережки; по краям — цветочные бордюры, нарциссы вянут, тюльпаны раскрывают бутоны, разливают цвета. Красные тюльпаны, у стебля кровавые; будто их срезали и теперь они там заживают.

Сад — царство Жены Командора. Я часто видела ее из противоударного окна: коленями на подушке, легкая голубая вуаль на широкой панаме, подле — корзинка с садовым секатором и обрывками бечевки — подвязывать цветы. Всерьез копает Хранитель, отряженный к Командору; Жена распоряжается, тычет тростью. У многих Жен такие сады — есть чем командовать, за чем ухаживать, о чем заботиться.

У меня когда-то был сад. Я помню запах перевернутой земли, пухлые луковицы в руках, налитые, сухой шорох семян под пальцами. Так быстрее проходит время. Иногда Жене Командора выносят стул, и она просто сидит у себя в саду. Издали кажется — мирно.

Ее нет, и я размышляю, где же она: не люблю неожиданно сталкиваться с Женой Командора.

Может, шьет у себя в покоях, левая нога на пуфике, потому что у Жены артрит.

Или вяжет шарфы для Ангелов на передовой. Сомневаюсь, что Ангелам эти шарфы нужны; кроме того, Жена Командора вяжет слишком изысканные. Ее не увлекает звездно-крестовой узор, который вяжут многие Жены, — это банально. По кромке ее шарфов маршируют елки, или орлы, или оцепенелые гуманоиды, мальчик и девочка, мальчик и девочка. Не для взрослых шарфы — для детей.

Порой я думаю, что шарфы вообще не отсылаются Ангелам, а распускаются, опять растворяются в нитяных клубках, чтобы когда-нибудь из них вновь вязали. Может, это просто Жены так себя занимают, чтоб у них завелся смысл жизни. Но Жена Командора вяжет, и я ей завидую. Приятно иметь мелкие цели, которых легко достичь.

Почему она завидует мне?

Она со мной не разговаривает — только если без этого никак. Я — живой укор ей; и необходимость.

Впервые мы взглянули друг другу в лицо пять недель назад, когда я получила это назначение. Хранитель с предыдущего подвел меня к парадной двери. В первые дни нам дозволялись

парадные двери, но впоследствии предписывался черный ход. Еще ничего не устаканилось, слишком мало времени прошло, никто не понимал, каков же наш статус. Вскоре будет либо только парадная дверь, либо только черный ход.

Тетка Лидия говорила, что выступает за парадную дверь. Ваша служба почетна, говорила она.

Хранитель позвонил, но не прошло и тех мгновений, за которые успеваешь расслышать и подойти, — дверь распахнулась внутрь. Наверное, она ждала с той стороны — я думала увидеть Марфу, но за дверью стояла она, в длинном пепельно-голубом халате, не перепутаешь.

Ты, значит, новенькая, сказала она. Не отодвинулась, чтобы меня пропустить, — так и стояла, загораживая проход. Хотела, чтобы я почувствовала: я не войду в дом, пока она не распорядится. Нынче сплошь косы да камни из-за таких мелочей.

Да, сказала я.

Оставь на крыльце. Это она велела Хранителю — он держал мою сумку. Красная виниловая сумка, небольшая. Была еще другая, с зимней накидкой и теплыми платьями, но она прибудет позже.

Хранитель поставил сумку и отдал честь. Я

услышала, как его шаги за спиной удаляются по дорожке, щелкнули ворота, и будто надежная рука отпустила меня. На пороге нового дома всегда одиноко.

Она подождала, пока машина заведется и отъедет. Я не смотрела ей в лицо — только туда, куда могла смотреть, опустив голову: голубая талия, плотная, левая рука на костяном набалдашнике трости, крупные бриллианты на безымянном пальце, точеном когда-то и ныне тщательно обточенном, мягко изгибался подпиленный ноготь на конце узловатого пальца. Будто ироническая улыбка на пальце; будто он насмехался над ней.

Вообще-то можешь войти, сказала она. Развернулась и захромала в прихожую. Закрой за собой дверь.

Я затащила красную сумку внутрь — чего она, несомненно, и хотела — и закрыла дверь. Я молчала. Если тебя не спрашивают, учила Тетка Лидия, лучше рта не открывать. Ты представь себя на их месте, говорила она — стискивая, заламывая руки и нервно, с мольбой, улыбаясь. Им ведь нелегко.

Сюда, сказала Жена Командора. Когда я вошла в ее покои, она уже сидела в кресле — левая нога на пуфике, вышитая подушечка, розы в корзине. Ее вязание валялось на полу, утыканное иголками.

Я стояла перед ней, сложив руки. Ну, сказала она. В руке сигарета — Жена Командора сунула ее в рот и зажала губами, прикуривая. От этого губы ее тончали, выпускали крошечные вертикальные морщинки, как в рекламе губной помады. Зажигалка цвета слоновой кости. Сигареты, наверное, с черного рынка, подумала я, — это меня обнадежило. Даже теперь, хотя больше нет настоящих денег, черный рынок никуда не делся. Черный рынок остается всегда, и всегда остается то, что можно обменять. Эта женщина, значит, способна обойти правила. Но мне-то что обменивать?

Я с вожделением смотрела на сигарету. Для меня сигареты под запретом — а равно алкоголь и кофе.

Значит, со старым как его там не вышло, сказала она.

Да, госпожа, ответила я.

Она вроде как рассмеялась, потом закашлялась. Не повезло ему, сказала она. У тебя это второй, да? Третий, госпожа, сказала я.

Да и тебе не подфартило, сказала она. Опять усмешливое перханье. Можешь сесть. Я это за правило не возьму, но сейчас можешь.

Я села на краешек стула с жесткой спинкой. Я

не хотела озираться, не хотела показаться невнимательной; мраморная каминная полка справа, и зеркало над ней, и букет были тогда лишь тенями на грани видимости. Позже мне с лихвой достанет времени их разглядеть.

Лицо Жены Командора теперь очутилось прямо напротив. Кажется, я ее узнала; во всяком случае, она была смутно знакома. Волос почти не видно из-под вуали. До сих пор светлые. Я тогда подумала: наверное, она их красит — краску для волос тоже можно достать на черном рынке, — но теперь я знаю, что нет — настоящая блондинка. Брови выщипаны в тонкие дуги, и на лице навсегда отпечаталось изумление, или ярость, или любознательность, как у напуганного ребенка, но веки под бровями усталые. В отличие от глаз, где ровная злая синева, как июльское небо в солнечный день, синева, которая перед тобою захлопывается. Ее нос когда-то был, что называлось, миленьким, но сейчас для ее лица маловат. Лицо не толстое, но крупное. Вниз от углов рта тянулись две морщины, и подбородок между ними был стиснут, будто кулак.

Я хочу видеть тебя как можно реже, сказала она. Думаю, это взаимно.

Я не ответила, ибо «да» означало бы оскорбле-

ние, «нет» — препирательства.

Я знаю, что ты не дура, продолжала она. Затянулась, выдохнула дым. Я читала твое досье. По мне, это просто деловое соглашение. Но если у меня проблемы, я устраиваю проблемы в ответ. Поняла?

Да, госпожа, ответила я.

И не зови меня «госпожа», раздраженно сказала она. Ты же не Марфа.

Я не спросила, как мне полагается ее называть, потому что понимала: она рассчитывает, что мне никогда не представится случая назвать ее как бы то ни было. Разочарование. Я тогда хотела сделать ее старшей сестрой, воплощением матери, чтобы она понимала меня и защищала. На моем предыдущем назначении Жена проводила время главным образом в спальне; Марфы говорили, она пьет. Я хотела, чтобы эта была иной. Хотела думать, что в другое время, в других условиях, в другой жизни она бы мне нравилась. Но я уже видела, что мне она бы не нравилась, а я бы не нравилась ей.

Она затушила полувыкуренную сигарету в маленькой резной пепельнице на тумбочке. Затушила энергично: тычок и поворот, а не десяток благовоспитанных постукиваний, как у

многих Жен.

Что касается моего мужа, сказала она, он и есть мой муж. Я хочу, чтобы это было кристально ясно. Пока смерть не разлучит нас. Все.

Да, госпожа, повторила я, забыв. Раньше у девочек были такие куклы — они разговаривали, если потянуть шнурок на спине; по-моему, я так и говорила — монотонно, кукольно. Должно быть, ей хотелось залепить мне пощечину. Им можно бить нас, существует библейский прецедент[4]. Только не орудиями[5]. Лишь руками.

Вот за это, помимо прочего, мы и боролись, сказала Жена Командора и вдруг отвела взгляд, посмотрела на узловатые, усыпанные бриллиантами руки, и я поняла, где видела ее прежде.

Впервые — по телевизору, мне было лет восемь-девять. Когда мама отсыпалась в воскресенье, а я вставала рано и шла к телевизору в мамином кабинете, перещелкивала каналы, искала мультики. Порой, ничего не найдя, я смотрела «Евангельский час для маленьких душ»: там

---

[4] Примечания: 4

«Авраам сказал Саре: вот, служанка твоя в твоих руках; делай с нею, что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее» (Быт. 16:6).

[5] Примечания: 5

«А если кто ударит раба своего или служанку свою палкою, и они умрут под рукою его, то он должен быть наказан» (Исх. 21:21).

рассказывали библейские истории для детей и пели гимны. Одну женщину звали Яснорада. Солирующее сопрано. Пепельная блондинка, изящная, курносая, огромные синие глаза, во время гимнов она их заводила к потолку. Умела плакать и улыбаться разом, одна-другая слеза элегантно катились из глаз, будто по команде, а голос, трепетный и невесомый, легко взмывал к высоким нотам. Это потом она занялась другими вещами.

Женщина передо мной — Яснорада. Или когда-то ею была. Так что дело обстоит хуже, чем я думала.

Глава 4

Я иду по гравию, который делит пополам газон на задах, аккуратно, как прямой пробор. Ночью лил дождь; трава по сторонам мокрая, в воздухе сырость. Тут и там черви, улики плодородия — пойманы солнцем, полумертвые, гибкие и розовые, точно губы.

Я открываю белую калитку в штакетнике и иду мимо центрального газона к воротам. На дорожке один из прикомандированных к нашему дому Хранителей моет машину. Очевидно, это значит, что Командор дома, у себя, на квартире позади столовой и дальше, где он, похоже, в основном и проводит время.

Машина очень дорогая, «буря»; лучше «колесницы», гораздо лучше приземистого практичного «бегемота»[6]. Разумеется, черная — цвета престижа или погребения, длинная, плавная. Водитель нежно оглаживает ее замшей. Хоть это не измени-

---

[6] Примечания: 6

«Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю» (Ос. 8:7) и т.д. «Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо» (4 Цар. 2:11) и т.д. «Тогда Ты сохранил двух животных: одно называлось бегемотом, а другое левиафаном» (3 Езд. 6:49).

лось — как мужчины ласкают хорошие машины.

Он в форме Хранителя, но фуражка лихо заломлена, рукава закатаны по локоть: руки загорелые, размеченные пунктирами темной поросли. В углу рта торчит сигарета — значит, ему тоже есть что обменять на черном рынке.

Я знаю, как этого человека зовут: *Ник*. Я знаю, потому что слышала, как о нем болтали Рита с Корой, а однажды с ним заговорил Командор: Ник, машина мне не понадобится.

Живет он тут же, при доме, над гаражом. Статус низкий: ему не выделили женщины, даже одной. Он не котируется: какой-то дефект, недостаток связей. Но ведет себя так, будто не в курсе или ему плевать. Слишком легкомыслен, недостаточно подобострастен. Может, глуп, но что-то я сомневаюсь. Пахнет жареным, говорили раньше; или: чую запах паленого. Непригодность как аромат. Я невольно представляю, как он пахнет. Не жареным и не паленым: загорелая кожа, влажная на солнце, подернутая дымом. Я вздыхаю, вдыхаю.

Он смотрит на меня, видит, что я смотрю. У него французское лицо, узкое, капризное, сплошь углы и плоскости, складки вокруг рта, где он улыбается. Он в последний раз затягивается, роняет сигарету на дорожку, давит каблуком. Насвисты-

вает. Затем подмигивает.

Я опускаю голову, отворачиваюсь — белые крылышки прячут мое лицо — и шагаю дальше. Он рискнул — но для чего? А если бы я настучала?

Может, это он просто из любезности. Может, увидел мое лицо и решил, что я думаю не о том. Вообще-то я хотела сигарету.

Может, это была проверка — посмотреть, что я сделаю.

Может, он Око[7].

Я открываю ворота и затворяю за собой, глядя в землю, не назад. Тротуар — из красного кирпича. На этом пейзаже я и сосредоточиваюсь — поле прямоугольников, еле волнистое там, где земля вздыбилась после десятилетий зимних морозов. Цвет кирпичей древен, но свеж и ясен. Тротуары ныне чистят гораздо лучше, чем прежде.

Я останавливаюсь на углу и жду. Я раньше не умела ждать. Не меньше служит тот Высокой воле, кто стоит и ждет, говорила Тетка Лидия. Она заставила нас это вызубрить. Еще она говорила: не все из вас дойдут до конца. Некоторые падут на сухую землю или в терние. Некоторые не имеют

[7] Примечания: 7

«Ибо очи Господа обозревают всю землю» (2 Пар. 16:9). «На всяком месте очи Господни: они видят злых и добрых» (Притчи 15:3).

корня[8]. У нее была родинка на подбородке, эта родинка скакала, когда Тетка Лидия открывала рот. Говорила: считайте, что вы семена, — и голос ее заговорщицки ластился, как у женщин, что преподавали детям балет, они еще говорили: а теперь поднимите руки; вообразим, что мы деревья.

Я стою на углу, воображая, что я дерево.

Силуэт, красный с белыми крылышками вокруг лица, такой же, как мой силуэт, неопределимая женщина в красном, с корзинкой, шагает ко мне по кирпичному тротуару. Подходит, и мы глядим друг другу в лицо, в белые тканые тоннели, что обрамляют нас. Да, это она.

— Благословен плод[9], — говорит она. Так у нас принято здороваться.

— Да разверзнет Господь, — говорю я. Так у

---

[8] Примечания: 8

«Вот, вышел сеятель сеять; и, когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока; когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло, и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, и иное сто» (Мк. 4:3–8).

[9] Примечания: 9

«Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих» (Втор. 28:4).

нас принято отвечать. Мы вместе идем мимо больших домов к центру. Нам разрешается туда ходить только парами. Якобы ради нашей безопасности, хотя это абсурд: мы и так прекрасно защищены. Правда же такова: она шпионит за мной, а я за ней. Если одна ускользнет из сетей из-за того, что случится в одну из наших ежедневных прогулок, расплачиваться будет другая.

Эта женщина — моя спутница последние две недели. Не знаю, что случилось с предыдущей. В один прекрасный день она просто не появилась, а на ее месте возникла эта. О таких вещах не спрашиваешь, поскольку возможного ответа обычно не хочешь знать. Да и не будет никакого ответа.

Она чуть пухлее меня. Кареглазая. Ее зовут Гленова, и больше я о ней почти ничего не знаю. Ходит скромно, опустив голову, стиснув руки в красных перчатках, крошечными шажками, словно дрессированная свинья на задних ногах. В наши прогулки я не слышала от нее ни единого неортодоксального слова — но и она от меня ничего такого не слышала. Может, она и впрямь правоверная, Служанка до мозга костей. Я не могу рисковать.

— Я слышала, война протекает хорошо, — говорит она.

— Хвала, — отвечаю я.

— Нам ниспослана хорошая погода.

— И я с радостью ее принимаю[10].

— День прошел, и вновь поразили мятежников.

— Хвала. — Я не спрашиваю, откуда она знает. — Кто они были?

— Баптисты. У них была цитадель в Синих холмах. Выкурили их оттуда.

— Хвала.

Порой мне хочется, чтоб она заткнулась наконец и дала мне мирно прогуляться. Но я жажду новостей, любых новостей; даже вранье наверняка что-то значит.

Мы подходим к первой заставе — вроде ограды вокруг дорожных ремонтников или раскопанной канализации: деревянная полосатая крестовина, черно-желтая, красный шестиугольник, означающий «Стоп». У ворот фонари — не горят, потому что не ночь. Я знаю: над нами прожекторы на телефонных столбах, на случай ЧП, а по обочинам люди с автоматами в дотах. Я не вижу прожекторов и дотов, у меня на лице шоры. Я просто знаю,

---

[10] Примечания: 10

«…А упавшее на камень [семя], это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают» (Лк. 8:13).

что они там.

Позади заставы подле узких ворот нас ждут двое в зеленой форме Хранителей Веры, с гербами на плечах и беретах: два скрещенных меча над белым треугольником. Хранители — не настоящие солдаты. Их отряжают на полицейские задания и прочую лакейскую работу — перекапывать сад Жены Командора, например, — и они глупы, либо стары, либо покалечены, либо слишком молоды, не считая тех, которые тайные Очи.

Эти двое очень молоды: у одного усы еле пробиваются, у другого все лицо в прыщах. Их юность трогательна, но нельзя поддаться на обман, я знаю. Молодые, как правило, всех опаснее, фанатичнее, дерганее с оружием. Еще не научились жить ползком сквозь время. С ними нужно медленно.

На той неделе где-то здесь застрелили женщину. Марфу. Она шарила в карманах, искала пропуск, а они решили, что она сейчас вынет бомбу. Думали, она переодетый мужчина. Случались такие инциденты.

Рита и Кора ее знали. Я слышала, как они разговаривали в кухне.

Работают, чего уж, сказала Кора. Ради нашей безопасности.

Что уж безопаснее мертвяка, огрызнулась Рита. Она никуда не лезла. Нечего было в нее палить.

Это ж нечаянно вышло, сказала Кора.

Нечаянно не бывает, сказала Рита. Все нарочно. Я слышала, как она грохочет кастрюлями в раковине.

Зато кто-нибудь еще дважды подумает, стоит ли этот дом взрывать, сказала Кора.

Все равно, сказала Рита. Она трудилась как пчелка. Нехорошая смерть.

Бывает и похуже, ответила Кора. Эта хоть быстрая.

На вкус и цвет, сказала Рита. Мне бы лучше чуточку времени до того. Чтобы все уладить.

Два молодых Хранителя отдают нам честь — три пальца к берету. Нам полагаются эти знаки внимания. Вроде как уважение — такова природа нашей службы.

Мы извлекаем бумаги из карманов на «молниях» в широких рукавах, наши пропуска изучаются и штампуются. Один Хранитель отправляется в дот направо вбить наши номера в Комптроль.

Возвращая мне пропуск, Хранитель — тот, который с персиковыми усами, — склоняется, пытаясь заглянуть мне в лицо. Я поднимаю голову, помогаю ему, и он видит мои глаза, а я его, и

он вспыхивает. Длинная скорбная физиономия, будто овечья, но с большими собачьими глазами — спаниеля, не терьера. Кожа бледная, на вид нездорово нежная, будто под струпьями. И все равно я думаю, как прикоснулась бы ладонью к нему, к этому оголенному лицу. Первым отворачивается он.

Это событие, крохотное ослушание, такое крохотное, что неразличимо, но подобные мгновения — моя награда, я храню их, будто конфеты, что копила в детстве в глубине ящика стола. Каждое мгновение — шанс, малюсенький глазок.

А если б я пришла ночью, когда он один на дежурстве, — хотя никто не позволит такого одиночества, — и допустила бы его за белые свои крылышки? Если б содрала с себя красный саван, показалась ему — им — в неверном свете фонарей? Вот, наверное, о чем они думают порой, беспрерывно торча на заставе, где никто не появляется, лишь Командоры Праведников в черных шелестящих авто или их голубые Жены и дочери под белыми вуалями, что послушно устремились на Избавление или Молитвонаду, или их унылые зеленые Марфы, или изредка Родомобиль, или их красные Служанки пешком. А иногда черный фургон с белым крылатым глазом на боку. Окна

фургонов затемнены, а мужчины на передних сиденьях носят черные очки: двойная тьма.

Фургоны, конечно, беззвучнее других машин. Когда они проезжают, мы отводим глаза. Если изнутри доносится шум, мы стараемся не слышать. Ничье сердце не предано вполне[11].

Пропускной пункт фургоны пролетают без остановки, по единому взмаху руки. Хранители не захотят рисковать — заглядывать внутрь, обыскивать, сомневаться. Что бы они там ни думали.

Если они думают; по их виду не поймешь.

Но скорее всего, они не представляют одежду, что валяется на лужайке. Если они думают: поцелуй, то за ним тут же включается прожектор и щелкают выстрелы. Вместо этого они думают о долге, о повышении до Ангелов, о том, что, может, им позволят жениться, а потом, если они добьются власти и проживут достаточно долго, им назначат собственную Служанку.

Усатый открывает нам калитку для пешеходов и отступает подальше, а мы идем. Мы уходим, и я знаю: они смотрят нам вслед, эти двое, которым пока запрещено прикасаться к женщине. Они

---

[11] Примечания: 11

«Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему» (2 Пар. 16:9).

касаются глазами, и я чуть повожу бедрами, и колышется широкая красная юбка. Будто показывать нос из-за забора или соблазнять пса костью, до которой ему не дотянуться, и мне стыдно, потому что они ни в чем не виноваты, они слишком молоды.

Затем я понимаю, что вообще-то мне не стыдно. Мне нравится власть; власть собачьей кости, эта власть пассивна, однако она есть. Надеюсь, при виде нас у них встает и они исподтишка трутся о крашеные заборы. Они будут страдать — позже, ночью, в уставных койках. У них нет отдушин, кроме них самих, а это святотатство. Больше нет журналов, нет фильмов, нет суррогатов; только я и моя тень, что уходит от двух мужчин, и те стоят по стойке «смирно», окаменели возле КПП и смотрят, как удаляются наши силуэты.

Глава 5

Я, удвоенная, иду по улице. Мы уже не в Командорском районе, но здесь тоже большие дома. Перед одним Хранитель косит газон. Газоны причесаны, фасады элегантны, неплохо залатаны; точно красивые фотографии из старых журналов про сад, дом и интерьер. То же безлюдье, то же сонное забытье. Улица — почти как музей или макет города: вот, мол, как люди жили прежде. Как и на фотографиях, в музеях, на макетах городов, детей тут нет.

Вот оно, сердце Галаада[12], куда война вторгается только с телеэкранов. Где окраины, мы точно не знаем, они плавают согласно атакам и контратакам, но здесь — центр, где ничто не движется. Республика Галаад, говорила Тетка Лидия, не знает границ. Галаад — у вас в душе.

Здесь когда-то жили врачи, адвокаты, препода-

---

[12] Примечания: 12

[Га]лаад — гора, а также гористая страна за Иорданом, которая славилась богатством и плодородием. «И взял Иаков камень и поставил его памятником. И сказал Иаков родственникам своим: наберите камней. Они взяли камни, и сделали холм, и ели [и пили] там на холме. [И сказал ему Лаван: холм сей свидетель сегодня между мною и тобою.] И назвал его Лаван: Иегар-Сагадуфа; а Иаков назвал его Галаадом» (Быт. 31:45–47). «Галаад — город нечестивцев, запятнанный кровью» (Ос. 6:8).

ватели из университета. Адвокатов больше нет, а университет закрыли.

Мы с Люком иногда гуляли тут, по этим улицам. Рассуждали, как купим вот такой примерно дом, старый большой дом, починим его. У нас будет сад, качели для детей. У нас будут дети. Мы знали: маловероятно, что мы сможем себе такое позволить, но то была тема для разговора, воскресная игра. Ныне такая свобода мнится почти невесомой.

Мы сворачиваем на главную улицу, где движение живее. Мимо едут машины — в основном черные, еще серые и коричневые. Женщины с корзинками, одни в красном, другие в тускло-зеленом — Марфы, третьи в полосатых платьях, красных, синих, зеленых, дешевых, убогих — опознавательный признак бедняцких женщин. Называются Экономжены. Этих женщин не разделяют по функциям. Им приходится делать все; если могут. Иногда попадается женщина в черном — вдова. Раньше их было больше, но, по-моему, они сокращаются.

Жен Командоров на тротуаре не увидишь. Только в машинах.

Здесь тротуары цементные. Я, как маленькая, стараюсь не ступать на трещины. Я помню свои

ноги на этих тротуарах, помню, что я тогда носила. Иногда кроссовки, с пружинящей подошвой и вентиляцией, с блестящими тряпочными звездами, что отражали свет в темноте. Правда, я никогда не бегала по ночам; а днем — только вдоль оживленных дорог.

Женщин тогда не защищали.

Я помню правила — неписаные, но их заучивала любая: никогда не открывай дверь незнакомцу, даже если он утверждает, что из полиции. Пусть подсунет удостоверение под дверь. Не тормози на дороге, чтобы помочь водителю, у которого якобы неполадки. Не открывай замки, жми вперед. Если кто-то свистит, не оборачивайся. Не ходи одна в прачечные самообслуживания по ночам.

Я думаю о прачечных. Что я туда надевала: шорты, джинсы, треники. Что я туда загружала: собственную одежду, собственное мыло, собственные деньги — деньги, которые сама заработала. Я думаю о том, каково иметь такую власть.

Теперь мы красными парами ходим по той же улице, и ни один мужчина не орет нам непристойностей, не заговаривает, не касается. Никто не свистит.

Свобода бывает разная, говорила Тетка Лидия.

Свобода для и свобода от. Во времена анархии была свобода для. Теперь вам дарована свобода от. Не стоит ее недооценивать.

Справа перед нами — магазин, где мы заказываем платья. Некоторые называют их *одеяниями* — подходящее слово. О деяниях рук Его не помышляют[13]. Над магазином громадная деревянная вывеска в форме золотой лилии: магазин называется «Полевые лилии»[14]. Видно, где под лилией закрасили буквы, — решили, что даже названия магазинов для нас чересчур искусительны. Теперь такие заведения различаются только символами.

В прежние времена «Лилии» были кинотеатром. Туда толпами бегали школьницы; каждую весну шел фестиваль Хамфри Богарта; Лорен Баколл или Кэтрин Хепбёрн[15], женщины сами по

---

[13] Примечания: 13

Ис. 5:12.

[14] Примечания: 14

«Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут…» (Матф. 6:28)

[15] Примечания: 15

Хамфри Богарт (1899–1957) — американский киноактер. Лорен Баколл (Бетти Джоан Перске, р. 1924) и Кэтрин Хепбёрн (1907–2003) — американские киноактрисы, партнерши Богарта в кино: Лорен Баколл — в «Иметь и не иметь» (1944), «Большой сон» (1946), «Мрачный коридор» (1947) и «Ки-Ларго» (1948), Кэтрин Хепбёрн — в «Африканской королеве» (1951).

себе, принимали решения и раскрывали души. Носили блузки на пуговицах, что намекало на возможность слова обнаженный. Эти женщины могли обнажаться — или нет. Казалось, у них был выбор. Казалось, у нас тогда был выбор. Мы — общество, говорила Тетка Лидия, подыхающее от избытка выбора.

Не знаю, когда закрыли фестиваль. Наверное, я уже выросла. Поэтому не заметила.

Мы идем не в «Лилии», а через дорогу и в переулок. Первая остановка, тоже под деревянной вывеской: три яйца, пчела, корова. «Молоко и мед»[16]. Здесь очередь, и мы ждем парами. Я вижу, у них сегодня апельсины. С тех пор как Центральная Америка с боями отошла Либертеосу, апельсинов не достать: то они есть, то их нет. Война пагубна для калифорнийских апельсинов, и даже на Флориду особой надежды нет, когда повсюду КПП и взрываются железные дороги. Я смотрю на апельсины — мне хочется апельсин. Но я не взяла талонов на апельсины. Наверное, вернусь и скажу про апельсины Рите. Ей будет

---

[16] Примечания: 16

«И сказал Господь [Моисею]: Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей [и ввести его] в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед…» (Исх. 3:7–8) См. также Числ. 16:13–14; Втор.26:9; Ис. 7:15; Иез. 20:15 и т.д.

приятно. Уже кое-что, чуточное достижение — вызвать к жизни апельсины.

Те, чья очередь подошла, через прилавок отдают талоны двум мужчинам в хранительской форме. Почти никто не разговаривает, но слышно шуршание, и женские головы украдкой поворачиваются: здесь, в магазинах, можно встретить знакомых — по прежним временам или по Красному Центру. Увидеть лицо — уже радость. Если б я могла увидеть Мойру, просто увидеть, знать, что она по-прежнему существует. Теперь сложно представить, каково это — дружить.

Но Гленова подле меня головой не крутит. Может, у нее не осталось знакомых. Может, все они исчезли, все женщины, которых она знала. А может, не хочет, чтобы ее видели. Стоит безмолвно, очи долу.

Мы стоим в этой нашей двойной очереди, дверь открывается, и входят две женщины, обе в красном, обе с белыми крылышками Служанок. Одна весьма беременна; под свободным платьем победоносно разбух живот. В магазине шевеление, шепотки, хоровой выдох; мы невольно оборачиваемся, чтобы лучше видеть, не прячем глаз; в пальцах зуд — нам хочется ее коснуться. Она для нас — явление волшебства, объект зависти

и желания, мы жаждем ее. Она — флаг на башне, она показывает нам, что еще можно сделать: мы тоже можем спастись.

Женщины шепчутся почти вслух, до того разволновались.

— Кто это? — слышится рядом.

— Уэйнова. Нет. Уорренова.

— Пижонка, — шипит голос — и это правда. Настолько беременная не обязана выходить, не обязана отправляться по магазинам. Ей больше не полагаются ежедневные прогулки, чтобы мышцы живота работали как следует. Ей нужны только упражнения на полу, дыхательная муштра. Она могла бы остаться дома. И к тому же ей опасно выходить, ее за дверью должен ждать Хранитель. Она теперь — носительница жизни, а значит, ближе к смерти, ей нужна особая защита. Ревность доконает, например, — такое случалось. Теперь желанны все дети — только не всем желанны.

Но может, прогулка — ее каприз, а капризам потакают, если дело зашло так далеко и выкидыша не случилось. А может, она из этих, *Давай грузи, я справлюсь*, — мученица. Я мельком вижу ее лицо, когда она озирается. Голос был прав. Она пришла похвастаться. Она сияет, она цветет,

наслаждается каждой секундой.

— Тихо, — говорит Хранитель за прилавком, и мы умолкаем, будто школьницы.

Мы с Гленовой уже у прилавка. Отдаем талоны, и один Хранитель вбивает их номера в Компостер, а другой выдает нам покупки — молоко, яйца. Мы складываем их в корзинки и выходим мимо беременной и ее компаньонки, которая в сравнении кажется тощей, усохшей, как и все мы. Живот у беременной — точно гигантский фрукт. *Великанский,* слово из детства. Ее руки лежат на животе, будто защищая его или что-то из него вбирая — тепло и силу.

Когда я прохожу, она смотрит мне в лицо, в глаза, и я ее узнаю. Мы вместе были в Красном Центре, она выкормыш Тетки Лидии. Мне она никогда не нравилась. В прежние времена ее звали Джанин.

В общем, Джанин смотрит на меня, и в уголках ее рта прячется ухмылка. Она переводит взгляд на мой живот, плоский под красной тканью, и крылышки закрывают ее лицо. Мне виден лишь кусочек лба и розоватый кончик носа.

Потом мы идем во «Всякую плоть»[17], помеченную большой деревянной свиной котлетой, болтающейся на двух цепях. Здесь очередь поменьше: мясо дорого, и даже Командоры едят его не каждый день. Гленова, однако, берет стейк — второй раз за неделю. Расскажу Марфам: они любят такие новости. Им очень любопытно, как ведутся дела в других домах; эти мелочные слухи дают им повод для гордости или недовольства.

Я беру цыпленка, завернутого в вощенку и стянутого бечевкой.

Пластика теперь мало. Помню эти нескончаемые целлофановые пакеты из супермаркетов; мне было неприятно их выбрасывать, и я совала пакеты под раковину, а затем наставал день, когда у них случалось перенаселение, я открывала дверцу, и они выпирали, скользили по полу. Люк жаловался. Периодически сгребал пакеты и выбрасывал все скопом.

---

[17] Примечания: 17

«И воззрел [Господь] Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал [Господь] Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли… И вот, Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами; все, что есть на земле, лишится жизни… Введи также в ковчег [из всякого скота, и из всех гадов, и] из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою в живых; мужеского пола и женского пусть они будут» (Быт. 6:12–13, 17, 19). См. также Быт. 7:15–16, 21; Ис. 40:5–6; Иер. 45:5; Иез. 21:4–5 и т.д.

А вдруг она пакет на голову наденет, говорил он. Сама знаешь, как дети играют. Не наденет, возражала я. Она слишком большая. (Или слишком умная, или слишком везучая.) Но меня холодом скручивал страх, а потом — вина за мою беспечность. Это правда, я слишком многое принимала как должное; в те времена я доверяла судьбе. Я их положу в буфете повыше. Да выброси ты их, говорил он, мы все равно ими не пользуемся. Мешки для мусора, говорила я. А он отвечал…

Не здесь и не сейчас. Люди смотрят. Я поворачиваюсь, вижу свои очертания в зеркальной витрине. Значит, мы вышли, мы на улице.

К нам приближается группа. Туристы — похоже, из Японии, какая-нибудь торговая делегация на экскурсии по историческим местам или в поисках местного колорита. Миниатюрные, опрятные; у каждого или каждой камера, каждый или каждая улыбается. Они озираются, глаза горят, головы набок склонили, точно дрозды, сама их бодрость агрессивна, и я не могу отвести глаз. Я давным-давно не видела на женщинах таких коротких юбок. Чуть ниже колена, и ноги под ними почти голы в тонких чулках, вопиющи, и высокие каблуки, ремешками привязанные к ступням, — будто изящные орудия пыток. Жен-

щины пошатываются на этих шипах, как на ходулях, теряя равновесие; спины выгнуты, выпячены ягодицы. Головы непокрыты, и волосы тоже на виду, во всей своей черноте и сексуальности. Красная помада очерчивает влажные провалы ртов, словно каракули на стене в туалете былых времен.

Я замираю. Гленова останавливается рядом, и я знаю: она тоже не может оторвать от женщин глаз. Мы зачарованы, и еще нам противно. Они будто голые. Как мало времени понадобилось, чтоб изменить наши взгляды на такие вещи.

Потом я думаю: я сама так одевалась. И то была свобода.

Европеизированные, вот нас как называли.

Японские туристы приближаются к нам, щебечут, и мы не успеваем вовремя отвернуться: они видят наши лица.

При них переводчик в шаблонном синем костюме и красном узорчатом галстуке с булавкой: булавочная головка — крылатый глаз. Переводчик отделяется от группы, выступает вперед, к нам, загораживая дорогу. Туристы толпятся у него за спиной; один нацеливает камеру.

— Простите, — говорит он нам обеим довольно вежливо, — они спрашивают, нельзя ли вас сфо-

тографировать.

Я вперяю взгляд в тротуар, качаю головой: нет. Им полагается видеть только крылышки, клочок лица, подбородок и кусочек губ. Не глаза. Мне хватает ума не глядеть переводчику в лицо. Большинство переводчиков — Очи; во всяком случае, так говорят.

Мне также хватает ума не отвечать «да». Скромность — это невидимость, говорила Тетка Лидия. Не забывайте об этом. Если вас увидели — вас *увидели,* — значит, — ее голос вздрагивал, — в вас проникли. А вы, девочки, должны быть непроницаемы. Она звала нас девочками.

Гленова тоже безмолвствует. Засунула руки в красных перчатках в рукава, спрятала.

Переводчик оборачивается к группе, выдает иноязычное стаккато. Я знаю, что он скажет, я знаю текст. Он сообщит им, что у женщин здесь иные обычаи, что для них взгляд через объектив камеры — насилие.

Я гляжу вниз, на тротуар, зачарованная женскими ногами. Одна японка — в босоножках с открытым мыском, ногти выкрашены розовым. Я помню запах лака для ногтей, и как он морщился, если наложить второй слой чересчур быстро, и атласный мазок прозрачных колготок по коже, и

как ощущались пальцы, всем весом тела вдавленные в отверстие мыска. Женщина с крашеными ногтями переминается на месте. Я ощущаю ее туфли на собственных ногах. От запаха лака меня стискивает голод.

— Простите, — снова обращается к нам переводчик. Я киваю — мол, слышу.

— Он спрашивает, счастливы ли вы, — говорит переводчик. Я представляю себе их любопытство: *Они счастливы? Как они могут быть счастливы?* Я ощущаю, как скользят по нам блестящие черные глаза, как японцы чуточку наклонились вперед, чтобы расслышать ответы, — особенно женщины, хотя мужчины тоже: мы — тайна, мы запретны, мы их волнуем.

Гленова ни слова не говорит. Пауза. Но иногда и промолчать опасно.

— Да, мы очень счастливы, — шепчу я. Надо же было что-то сказать. А что тут скажешь?

Глава 6

В квартале от «Всякой плоти» Гленова мнется, будто не уверена, куда свернуть. Выбор есть. Можно пойти прямо или долгим кругом. Мы уже знаем, куда свернем, потому что всякий раз туда сворачиваем.

— Я хочу мимо церкви пройти, — говорит Гленова якобы благочестиво.

— Хорошо, — говорю я, хотя знаю не хуже ее, зачем ей туда на самом деле.

Мы вышагиваем степенно. Вылезло солнышко, в небе пухлые белые облачка, похожие на безголовых овец. С нашими крылышками, нашими шорами, трудно взглянуть вверх, трудно видеть целиком — небо, что угодно. Но мы умеем — по чуть-чуть, резко дернуть головой, вверх-вниз, в сторону и обратно. Мы научились впитывать мир вздохами.

Справа улица, которая привела бы к реке, если б можно было пройти. Там лодочный сарай, где когда-то хранили весла, и еще там мосты; деревья, зеленые берега, где можно было сидеть и смотреть на воду и на юношей с голыми плечами — их весла взлетали на солнце, ребята играли

на победу. По пути к реке — старые общаги, их теперь используют для другого: сказочные башенки, разукрашенные белым, синим и золотым. Думая о прошлом, мы выбираем красоту. Хотим верить, что красивым было все.

Еще там футбольное поле, где проводят Мужские Избавления. И футбольные матчи. Футбол оставили.

Я больше не хожу на реку или по мостам. Или в метро, хотя поблизости есть станция. Нас не допускают, там теперь Хранители, у нас нет никаких формальных поводов спускаться по этим ступенькам, под рекой ехать на поезде в центр. С чего это нам вздумалось туда податься? Уж наверняка мы что-то замышляем, и они это понимают.

Церковь маленькая, одна из первых, что возвели здесь сотни лет назад. Ее больше не используют — там только музей. Внутри живопись: дамы в длинных темных платьях, волосы убраны в белые чепцы, и неулыбчивые, кол проглотившие мужчины в темных костюмах. Наши предки. Вход бесплатный.

Но мы не заходим, мы стоим на дорожке, глядя на церковный двор. Древние надгробия на месте — выветренные, разъеденные, с черепами и

скрещенными костями, memento mori[18]; с пухлолицыми ангелочками; с крылатыми песочными часами, дабы напомнить нам, что смертное время проходит; с ивами и урнами из позднейших времен, дабы скорбеть.

Надгробий не тронули, и церковь тоже. Их оскорбляет только новейшая история.

Гленова склонила голову, будто молится. Она ежедневно так делает. Может, думаю я, у нее тоже кто-то умер, кто-то конкретный — мужчина, ребенок. Но верится не вполне. Мне кажется, она женщина, у которой всякий жест — напоказ, всякий жест — действо, но не действие. Благочестие изображает, думаю я. Желает получше устроиться.

Но ведь и я, наверное, так выгляжу. А как иначе?

Мы отворачиваемся от церкви, и вот оно — то, ради чего мы взаправду сюда пришли: Стена.

Стене тоже сотни лет; по крайней мере, больше сотни. Как и тротуары, она из красного кирпича и когда-то, вероятно, была проста, но красива. Теперь на воротах часовые, над стеной взгромоздились уродливые новые прожекторы на

[18] Примечания: 18

По́мни о смерти *(лат.)* — форма приветствия, которым обменивались при встрече монахи ордена траппистов (осн. в 1664 г.).

железных столбах, и колючая проволока понизу, и битое стекло вросло в цемент поверху.

По своей воле в эти ворота никто не заходит. Меры предосторожности — ради тех, кто попытается выйти, хотя изнутри добраться до самой Стены, мимо электронной сигнализации, почти невозможно.

Возле главных ворот болтаются шесть новых тел — повешенные, руки связаны спереди, головы в белых мешках склонены на плечи. Видимо, с утра пораньше проводили Мужское Избавление. Я не слышала колоколов. Наверное, привыкаю.

Мы останавливаемся разом, будто по сигналу, и смотрим на трупы. И ничего, что смотрим. Нам и полагается смотреть, они затем и висят на Стене. Чтоб их увидело как можно больше народу, они порой висят по несколько дней, пока не появится новая партия.

Висят они на крюках. Для этого крюки и вмонтированы в кирпичную кладку. Не все крюки заняты. Они похожи на инструменты для безруких. Или на стальные вопросительные знаки, перевернутые и опрокинутые набок.

Хуже всего — мешки на головах, хуже, чем были бы лица. Из-за них мужчины — будто куклы, которых еще не раскрасили, будто пугала — в

некотором роде они и есть пугала, их задача — пугать. Или будто их головы — мешки, набитые однородной массой, мукой или тестом. Потому что головы явно тяжелы, явно инертны, гравитация тянет их к земле, и больше нет жизни, что их выпрямит. Эти головы — нули.

Правда, если смотреть долго-долго, как мы сейчас, под белой тканью разглядишь контуры черт, словно серые тени. Головы снеговиков, угольки глаз и морковные носы выпали. Головы тают.

Но на одном мешке кровь, просочилась сквозь белую ткань там, где полагалось быть рту. Получается другой рот, маленький, красный — словно толстой кисточкой нарисовал малыш в детском саду. Так малыши представляют себе улыбку. И эта кровавая улыбка в итоге приковывает взгляд. Все-таки не снеговики.

Мужчины — в белых халатах, как ученые и врачи из прошлого. Ученые и врачи — не единственные, есть и другие, но утром, видимо, сцапали их. У каждого на шее плакат — надпись, за что казнены: изъятие человеческого зародыша. Значит, врачи из прежних времен, когда такие вещи были законны. Творцы ангелов, вот как их называли: или иначе как-то? Их нашли, перерыв больничные архивы или — вероятнее,

потому, что больницы принялись уничтожать картотеки, едва стало ясно, к чему дело идет, — по доносу: может, бывшие медсестры или скорее пара медсестер, потому что свидетельства одной женщины более недостаточно; или другой врач понадеялся уберечь свою шкуру; или тот, кого уже обвинили, напоследок лягнул врага или ненароком попал в отчаянном рывке к спасению. Хотя доносчиков прощают не всегда.

Эти люди, говорят нам, были все равно что военные преступники. Их не оправдывает то, что их занятия были тогда законны: их преступления ретроактивны. Они творили зверства, они будут назиданием для остальных. Хотя вряд ли это необходимо. Сейчас ни одна женщина в здравом уме не станет предотвращать рождение, раз уж ей повезло зачать.

Нам полагается презирать и ненавидеть эти трупы. Но я чувствую иное. Тела, что болтаются на Стене, — путешественники во времени, анахронизмы. Пришельцы из прошлого.

Во мне только пустота. Я чувствую, что не должна чувствовать, — больше ничего. Отчасти облегчение, потому что среди них нет Люка. Люк не работал врачом. Не работает.

Я гляжу на эту красную улыбку. Краснота

улыбки та же, что краснота тюльпанов в саду у Яснорады, около стеблей, где тюльпаны заживают. Та же краснота, но связи никакой. Тюльпаны — не кровавые тюльпаны, красные улыбки — не цветы, они друг друга не объясняют. Тюльпан — не причина не верить в повешенного, и наоборот. И тот и другой подлинны и существуют взаправду. И в поле этих подлинных объектов я изо дня в день нащупываю дорогу, каждый день понемногу, приближаясь к итогу. Я так стараюсь различать. Я должна различать. Мне нужна ясность — в мозгу.

Я чувствую, как женщина подле меня содрогается. Плачет? А как же благочестие? Мне это знать недопустимо. У меня сжаты кулаки, замечаю я, стиснуты на ручке корзинки. Я ничего не выдам.

Обычное дело, говорила Тетка Лидия, — это то, к чему привык. Может, сейчас вам не кажется, что это обычно, но со временем все изменится. Станет обычным делом.

III. Ночь

Глава 7

Ночь — моя, мое время, что хочу, то и делаю, если не шумлю. Если не двигаюсь. Если ложусь и не шевелюсь. Разница между *ложиться* и *лежать*. Лежать — всегда пассивно. Даже мужчины раньше говорили: я б уложил ее в койку. Хотя порой говорили: если б она под меня легла. Чистые догадки. Вообще-то я не знаю, как говорили мужчины. Только с их слов.

И вот, значит, я лежу в комнате. Под штукатурным глазом в потолке, за белыми занавесками, между простынями, аккуратно, как и они, и делаю шаг прочь из своего времени. В безвременье. Хотя время — вот оно, и я — не вне времени.

Однако ночью времени нет. Куда я отправлюсь?

Туда, где хорошо.

Мойра сидит на краешке моей кровати, нога на ногу, лодыжка на колене, в лиловом комбинезоне, в ухе одинокая висюлька, золотые ногти — эксцентричности ради, в коротких пожелтевших пальцах сигарета. Пошли пива выпьем.

Ты мне пепел в кровать сыплешь, сказала я.

А ты ее чаще заправляй, ответила Мойра.

Через полчаса, сказала я. Назавтра мне сдавать реферат. Что это было? Психология, английский, экономика. Тогда мы такое учили. На полу в комнате обложками вверх валялись раскрытые книги, тут и там, этак затейливо.

Сию секунду, сказала Мойра. Тебе не надо лицо разукрашивать — тут же одна я. О чем реферат? Я только что закончила о брачном изнасиловании.

Брачное, сказала я. Как это типично. Даже изнасилование, и то с браком.

Ха-ха, сказала Мойра. Пальто бери.

Взяла его сама и кинула мне. Я у тебя займу пятерку, ладно?

Или где-нибудь в парке с мамой. Сколько мне было? Холод, наше дыхание летело впереди нас; безлистые деревья, серое небо, две безутешные утки в пруду. Хлебные крошки под пальцами в кармане. Точно: она сказала, мы пойдем кормить уток.

Но какие-то женщины жгли книги — вот зачем она туда на самом деле пошла. Повидаться с подругами; она соврала: субботы полагались мне одной. Я надулась, отвернулась к уткам, но огонь меня притягивал.

Вместе с женщинами были и мужчины, а книги

были журналами. Их, наверное, полили бензином, потому что пламя выстрелило ввысь, а они вываливали журналы из коробок, понемногу, не все сразу. Кое-кто скандировал; собирались зеваки.

В лицах — счастье, почти экстаз. Костры это умеют. Даже мамино лицо, обычно бледное, истончившееся, казалось румяным и веселым, как с рождественской открытки; и там еще была одна женщина в оранжевой вязаной шапочке — дородная, щеки вымазаны сажей, я помню.

Хочешь сама бросить, детка? спросила она. Сколько же мне было? Скатертью дорожка такому мусору, хихикнула она. Можно, да? спросила она маму.

Если хочет, сказала мама; она всегда говорила обо мне с посторонними так, будто я не слышу.

Вязаная шапочка протянула мне журнал. На нем была красивая голая женщина, запястья обмотаны цепью — женщина висела под потолком. Мне было любопытно. Я не испугалась. Я решила, она качается, как Тарзан на лиане по телевизору.

А вот *видеть* ей не стоит, сказала мама. Давай, сказала она мне, кидай скорее.

Я швырнула журнал в огонь. Он зашелестел, раскрываясь, в вихре своего пламени, большие

бумажные хлопья отделялись, плыли в воздух, еще горя, куски женских тел у меня на глазах на лету превращались в черную золу.

А потом, что же было потом? Я знаю, я потеряла время.

Наверное, иглы, таблетки, что-то такое. Я бы не потеряла столько времени самостоятельно. У тебя был шок, сказали мне.

Я вырывалась из рева и морока, точно из кипящего прибоя. Помню, я была относительно спокойна. Помню крик, ощущалось как крик, но, может, то был просто шепот: *Где она? Что вы с ней сделали?*

Не было ночи, не было дня; только вспышки. Вскоре вновь появились стулья и кровать, а потом окно.

Она в надежных руках, говорили они. С пригодными людьми. Ты непригодна, но ведь ты хочешь ей добра. Правда?

Мне показали ее фотографию: она стояла на газоне, лицо — замкнутый овал. Светлые волосы туго оттянуты к затылку. Ее держала за руку незнакомая женщина. Она еле доставала головой женщине до локтя.

Вы ее убили, сказала я. Она была точно ангел — серьезная, маленькая, воздушная.

Она была в платье, которого я никогда не видела: белом, до самой земли.

Я бы хотела верить, что это я рассказываю историю. Мне нужно верить. Я должна верить. У тех, кто верит, что такие истории — всего лишь истории, шансов больше.

Если это я рассказываю историю, значит, финал мне подвластен. Значит, будет финал этой истории, а за ним — взаправдашняя жизнь. И я продолжу там, где остановилась.

Это не я рассказываю историю.

И еще это я рассказываю историю мысленно, по ходу жизни.

Рассказываю, а не записываю, поскольку писать нечем и не на чем, к тому же писать запрещено. Но если это история, пусть даже мысленная, значит, я ее рассказываю кому-то. Самому себе истории не расскажешь. Всегда найдется кто-то еще.

Даже если никого нет.

История — как письмо. *Здравствуйте, вы,* скажу я. Просто вы, без имени. Если прицепить имя, прицепишь *вас* к миру фактов, а это рискованнее, это пагубнее: кто знает, каковы шансы выжить, ваши шансы?

Я скажу *вы, вы,* как в старом романсе. Может, *вы*

— больше одного.

Может, *вы* — тысячи.

Опасность мне пока не грозит, скажу я вам.

Сделаю вид, что вы меня слышите.

Но тщетно, ибо я знаю — вы не слышите меня.

IV. Комната ожидания

Глава 8

Погода держится. Почти как будто июнь: мы бы вытащили сарафаны и босоножки и ели бы мороженое. На Стене — три новых трупа. Один — священник, так и висит в черной сутане. Его одели в сутану для суда, хотя сутаны перестали носить много лет назад, когда только начались сектантские войны; в сутанах священники слишком выделялись. У двух других на шеях плакаты: Гендерная Измена. Тела в формах Хранителей. Наверняка пойманы вместе, только где? В бараке, в душе? Трудно сказать. Снеговик с красной улыбкой исчез.

— Пора назад, — говорю я Гленовой. Это всегда говорю я. Иногда мне кажется, что она бы стояла тут вечно, если б я этого не говорила. Скорбит она или злорадствует? Я так и не разобралась.

Ни слова не говоря, она враз поворачивается, будто управляется голосом, будто ездит на смазанных колесиках, будто стоит на музыкальной шкатулке. Меня бесит эта ее грация. Бесит смиренная голова, склоненная, будто на сильном ветру. Нет ведь никакого ветра.

Мы уходим от Стены, возвращаемся той же

дорогой под теплым солнцем.

— Славный выдался май. Сегодня любимый мой день, — говорит Гленова. Я скорее чувствую, чем вижу, как ее голова поворачивается ко мне, ждет ответа.

— Да, — говорю я. И, запоздало: — Хвала. — Мой день. Похоже на «Мэйдэй» — был такой сигнал бедствия, давным-давно, в одну из этих войн, которые мы изучали в школе. Я их все время путала, но они различались по самолетам, если приглядеться. А про «Мэйдэй» мне рассказал Люк. «Мэйдэй, мэйдэй» — для пилотов, чей самолет задели, и для кораблей — для кораблей тоже? — в море. Может, для кораблей был SOS. Жалко, что нельзя проверить. И еще в одной из этих войн в начале победы — что-то из Бетховена[19].

Знаешь, откуда это? спросил Люк. «Мэйдэй»? Нет, сказала я. Странное слово для таких случаев, нет? Газеты и кофе утром по воскресеньям, до того как она родилась. Тогда еще были газеты. Мы их читали в постели. Французское, сказал он. От *M'aidez.* Помогите.

К нам приближается небольшая процессия

---

[19] Примечания: 19

Во время Второй мировой войны первый такт Пятой симфонии Людвига ван Бетховена интерпретировался как буква «V» в азбуке Морзе (точка — точка — точка — тире) и обозначал «victory» (т.е. победу).

— похороны: три женщины, все в черных прозрачных вуалях, накинутых на головные уборы. Эконожена и еще две, плакальщицы, тоже Эконожены — подруги ее, наверное. Поношенные полосатые платья, и лица тоже поношенные. Однажды, когда жизнь станет получше, говорила Тетка Лидия, никому не надо будет становиться Эконоженой.

Первая — скорбящая, мать; она несет черную баночку. По размеру баночки можно понять, в каком возрасте он утонул внутри ее, захлебнулся. Два-три месяца, слишком маленький, не поймешь, Нечадо или нет. Тех, кто постарше, и тех, что умирают при рождении, хоронят в ящиках.

Из почтения мы замираем, а они идут мимо. Чувствует ли Гленова то же, что и я, — боль, точно удар в живот. Мы прижимаем ладони к сердцу, показываем этим незнакомым женщинам, что сопереживаем их горю. Первая хмурится нам из-под вуали. Вторая отворачивается, сплевывает на тротуар. Эконожены нас не любят.

Минуем магазины, вновь приближаемся к заставе, проходим ее. Шагаем дальше меж больших, пустых на вид домов, мимо газонов без сорняков. На углу возле дома, куда меня назначили, Гленова останавливается.

— Пред Его Очами, — говорит она. Прощается как надо.

— Пред Его Очами, — откликаюсь я, и она слегка кивает. Медлит, будто хочет что-то добавить, но потом разворачивается и уходит по улице. Я смотрю ей в спину. Она — будто мое отражение в зеркале, от которого я ухожу.

На дорожке Ник снова полирует «бурю». Уже добрался до хрома на капоте. Я кладу на щеколду руку в перчатке, открываю, толкаю. Калитка щелкает позади меня. Тюльпаны вдоль бордюра краснее красного, раскрываются — уже не винные бокалы, но потиры; они рвутся вверх — к чему? Они же все равно пустые. В старости выворачиваются наизнанку, потом медленно взрываются, и лепестки разлетаются осколками.

Ник поднимает голову и принимается насвистывать. Потом говорит:

— Хорошо погуляла?

Я киваю, но голоса не подаю. Ему не полагается со мной разговаривать. Конечно, некоторые будут пытаться, говорила Тетка Лидия. Всякая плоть немощна[20]. Всякая плоть — трава[21], мысленно

---

[20] Примечания: 20
МФ. 26:41.

[21] Примечания: 21
Ис. 40:6.

поправляла я. Они не виноваты, Господь сотворил их такими, но вас Он такими не сотворил. Он сотворил вас иными. И вы сами проводите черту. Позже вам воздастся.

В саду за домом сидит на стуле Жена Командора. Яснорада — на редкость дурацкое имя. Название того, что в иные времена, в позапрошлые, лили бы себе на волосы, чтоб их осветлить. «Яснорада» — значилось бы на флаконе, и женская головка, бумажный силуэт на розовом овале с золотыми фестонами по краю. Столько на свете имен — почему она выбрала это? Ее и тогда Яснорадой на самом деле не звали. По-настоящему ее звали Пэм. Я это прочла в журнальном очерке спустя много лет после того, как впервые увидела ее, когда мама отсыпалась в воскресенье. К тому времени Яснорада стала достойна очерка: в «Тайм», кажется, или в «Ньюсуик», наверняка что-то такое. Она больше не пела — она толкала речи. Это у нее выходило блестяще. О святости жилища, о том, что женщинам следует сидеть дома. Сама она так не поступала — она толкала речи, но этот свой ляп выставляла жертвой, которую приносит ради общего блага.

Примерно тогда кто-то попытался ее пристрелить и промахнулся; вместо нее погибла

секретарша, которая стояла рядом. Еще кто-то подложил бомбу в ее машину, но бомба взорвалась слишком рано. Правда, ходили слухи, что бомбу подложила она сама — на жалость давила. Вот до чего накалились страсти.

Мы с Люком иногда видели ее в ночных новостях. Домашние халаты, стаканчики на ночь. Мы смотрели, как она машет волосами, наблюдали ее истерики и ее слезы, которые она все еще умела вызывать усилием воли, и тушь чернила ей щеки. Она тогда сильнее красилась. Мы считали, что она забавна. Ну, Люк считал, что она забавна. Я только притворялась, что согласна. Вообще-то она чуточку пугала. Она была серьезна.

Она больше не толкает речей. Потеряла дар речи. Сидит дома, но, похоже, ей это не по душе. Как она, должно быть, неистовствует теперь, когда ее поймали на слове.

Она глядит на тюльпаны. Трость подле нее на траве. Сидит ко мне боком, я поглядываю искоса, шагая мимо, и мельком вижу профиль. Пялиться не годится. Уже не безупречный бумажный профиль, ее лицо проваливается в себя, и я представляю города, возведенные поверх подземных рек, где дома и целые улицы исчезают мгновенно во внезапных трясинах, или угольные поселки,

что рушатся в шахты под ними. Видимо, примерно это с ней и произошло, когда она различила истинный облик грядущего[22].

Она не поворачивает головы. Никак не дает понять, что заметила меня, хотя знает, что я здесь. Я вижу, что знает: ее знание — будто вонь, что-то прокисло, как старое молоко.

Не с мужьями вам надо быть начеку, говорила Тетка Лидия, а с Женами. Всегда старайтесь вообразить, каково им. Разумеется, они вас не выносят. Это же естественно. Старайтесь им сочувствовать. Тетка Лидия полагала, что прекрасно умеет сочувствовать. Старайтесь их жалеть. Простите им, ибо не знают, что делают[23]. И вновь эта дрожащая улыбка нищенки, подслеповатое моргание, очи горе за круглыми очками в стальной оправе, вот она устремилась к последним партам, будто закрашенная зеленью штукатурка на потолке разверзлась, и сквозь провода и пульверизаторы противопожарной системы на облаке пудры «Розовая жемчужина» спускается Господь. Поймите, эти женщины раз-

---

[22] Примечания: 22

«Облик грядущего» (1933, 1935) — киносценарий, а затем роман английского писателя и публициста Герберта Уэллса (1866–1946).

[23] Примечания: 23

Лук. 23:34.

громлены. Они не способны…

Тут голос надламывался, и следовала пауза — и тогда я слышала вздох, общий вздох вокруг. Шуршать или возиться в этих паузах нежелательно: Тетка Лидия, пусть якобы и витает в облаках, ловит каждое шевеление. Поэтому вокруг — только вздох.

Будущее — в ваших руках, продолжала она. Протягивала к нам ладони — древний жест подношения, приглашения выступить вперед, пасть на грудь, — древний жест приятия. В ваших руках, повторяла она, глядя на собственные руки, будто они натолкнули ее на эту мысль. Но в них ничего не было. Пустые. Это наши руки должны быть полны будущим; кое, может, и удержишь, но не разглядишь.

Я огибаю дом к черному ходу, открываю, вхожу, ставлю корзинку на кухонный стол. Стол отскоблили, отмыли от муки; на решетке остывает сегодняшний хлеб, свежеиспеченный. Кухня пахнет закваской — ностальгический аромат. Напоминает мне другие кухни, кухни, что были моими. Запах матерей; хотя мама не пекла хлеб. Мой собственный запах из прошлого, когда я была матерью.

Это предательский запах, и я знаю, что должна

от него отмахнуться.

В кухне за столом Рита чистит и режет морковь. Старые морковки, толстые, перемороженные, в погребах отпустившие усы. Молодые, нежные и бледные, появятся лишь через несколько недель. Нож у Риты в руках острый, блестящий, соблазнительный. Я хочу такой нож.

Рита бросает морковь, встает, чуть ли не жадно выхватывает свертки из корзинки. Она предвкушает разбор моих покупок, хотя всегда морщится, их разворачивая; что бы я ни принесла, она всегда чем-нибудь недовольна. Считает, что сама бы справилась лучше. Она бы сама ходила по магазинам, покупала бы ровно то, что хочет; она завидует моим прогулкам. В этом доме все друг другу почему-нибудь завидуют.

— Были апельсины, — говорю я. — В «Молоке и меде». Еще остались. — Я предлагаю ей эту мысль как дар. Хочу подольститься. Апельсины я видела еще вчера, но Рите не сказала; вчера она была чересчур сварлива. — Я могу завтра принести, если вы дадите мне талоны. — Я протягиваю ей цыпленка. Она сегодня хотела стейк, но стейков не было.

Рита ворчит, не выдавая ни радости, ни согласия. Она поразмыслит над этим, говорит

ворчание, когда ее душеньке будет угодно. Она развязывает цыпленка, разворачивает бумагу. Тычет в цыпленка, дергает за крыло, сует палец в дырку, выуживает потроха. Цыпленок лежит на столе, безголовый и безногий, покрытый гусиной кожей, будто мерзнет.

— Банный день, — сообщает Рита, не глядя на меня.

Из буфетной в глубине, где хранят тряпки и швабры, выходит Кора.

— Цыпленок, — говорит она почти в восторге.

— Тощий, — отвечает Рита, — но уж какой есть.

— Там больше почти ничего не было, — говорю я. Рита как будто не слышит.

— По-моему, довольно здоровый, — говорит Кора. Меня защищает? Я смотрю на нее — не надо ли улыбнуться? — но нет, она думает только о еде. Она моложе Риты; солнце, косящее через западное окно, падает на ее волосы, оттянутые назад и расчесанные на прямой пробор. Наверное, она совсем недавно была красивая. На ушах отметинки, точно ямочки, там, где заросли дырки для серег.

— Высокий, — говорит Рита, — зато костлявый. Надо было им сказать, — прибавляет она,

впервые глядя мне в лицо. — Чай, не простолюдины. — Она имеет в виду ранг Командора. Но в ином смысле, ее собственном смысле, она считает простолюдинкой меня. Ей за шестьдесят, ее не разубедишь.

Она отходит к раковине, поспешно сует руки под струю из крана, вытирает посудным полотенцем. Посудное полотенце — белое с синими полосами. Посудные полотенца ни капли не изменились. Порой эти вспышки нормальности напрыгивают на меня, точно из засады. Обыкновенность, привычность, напоминание — пинком. Я вижу полотенце вне контекста, и у меня перехватывает дыхание. Для некоторых, в некотором смысле, особо ничего не изменилось.

— Кто моет ванну? — спрашивает Рита — Кору, не меня. — Мне надо птичку вымачивать.

— Я вымою потом, — говорит Кора. — Только пыль вытру.

— Ты главное вымой, — говорит Рита.

Они говорят обо мне так, будто я не слышу. Для них я — очередная работа по дому, одна из множества.

Меня отпустили. Я забираю корзинку, выхожу из кухни, шагаю по коридору к напольным часам. Дверь в покои закрыта. Солнце пронзило витраж,

распалось на осколки на полу: красные и синие, фиолетовые. Я на секунду ступаю туда, протягиваю руки; они полны цветами света. Поднимаюсь по лестнице; мое далекое, белое, искаженное лицо обрамлено зеркалом, что выпячивается, будто глаз под давлением. Я бреду по грязно-розовой дорожке вдоль длинного коридора на втором этаже — в комнату.

Кто-то стоит возле комнаты, куда меня поселили. В коридоре сумрачно; это мужчина, спиной ко мне; он смотрит в комнату, темный в комнатном свете. Я теперь вижу — это Командор, ему тут быть не полагается. Он слышит шаги, поворачивается, мнется, идет. Ко мне. Он нарушил обычай, что мне теперь делать?

Я останавливаюсь, он замирает, я не вижу его лица, он на меня смотрит, что ему нужно? Но потом он вновь шагает, отстраняется, чтобы не коснуться меня, наклоняет голову, исчез.

Мне что-то показали, но что это было? Точно стяг неизвестной державы на мгновение возник над изгибом холма — быть может, атака, быть может, переговоры, быть может, какая-то граница, граница территории. Сигналы, что передают друг другу животные: опущенные синие веки, прижатые уши, взъерошенный гребень. Промельк

оскаленных зубов, он что, рехнулся, за каким чертом его сюда понесло? Больше его никто не видел. Надеюсь. Это вторжение? Он заходил в мою комнату?

Я сказала про нее — *моя.*

Глава 9

Значит, МОЯ комната. Должно же появиться наконец пространство, которое я объявлю своим, даже во времена, угодные им.

Я жду в моей комнате, которая в данную секунду — комната ожидания. Когда я ложусь спать, она спальня. Занавески еще колышутся на ветерке, солнце снаружи по-прежнему сияет, хоть и не лупит прямо в окно. Сдвинулось к западу. Я стараюсь не рассказывать историй — во всяком случае, не эту.

Кто-то жил до меня в этой комнате. Кто-то мне подобный — или просто мне нравится в это верить.

Я узнала об этом через три дня после того, как сюда въехала.

Времени было полно. Я решила исследовать комнату. Неторопливо, как исследуешь номер в гостинице, не ожидая сюрпризов, открывая и закрывая ящики стола, дверцы шкафа, разворачивая брусочки мыла в обертках, тыча в подушки. Окажусь ли я вновь в гостинице? Как я их транжирила, эти комнаты, эту свободу от

чужих глаз.

Арендованную привилегию.

Днем, когда Люк еще бежал от жены, когда я еще оставалась его фантазией. До того как мы поженились и я затвердела. Я всегда приезжала первой, снимала номер. Не так уж часто, но теперь кажется — десятилетия, эпоха; я помню, что надевала, каждую блузку, каждый шарф. Я вышагивала по номеру, ждала его, включала и выключала телевизор, касалась парфюмом за ушами — «Опиум», да. В китайских флаконах, красных с золотом.

Я нервничала. Откуда мне было знать, что он меня любит? Может, просто интрижка. Отчего мы вечно говорили «просто»? С другой стороны, в те времена мужчины и женщины примеряли друг друга небрежно, точно костюмы, и отбрасывали все, что не подходит.

Стук в дверь; я открывала, меня переполняло облегчение, желание. Он был такой моментальный, такой сгущенный. И все равно казалось, что ему нет предела. Потом мы лежали в этих кроватях под вечер, касались друг друга, разговаривали. Возможно, невозможно. Как поступить? Мы думали, у нас такие серьезные проблемы. Откуда нам было знать, что мы счастливы?

Но теперь я скучаю и по самим гостиничным номерам, даже по кошмарным картинкам на стенах, пейзажам с листопадами или тающим снегом на древесине, или женщинам в старинных костюмах, с личиками китайских кукол, с турнюрами и парасольками, или грустноглазым клоунам, или чашам с фруктами, мертвенными и жесткими. Свежие полотенца, готовые к порче, мусорные корзины гостеприимно разинули рты, заманивают беспечный мусор. Беспечный. В этих номерах я была беспечна. Я могла поднять телефонную трубку, и на подносе появлялась еда — еда, которую я сама выбрала. Вредная еда, без сомнения, да еще алкоголь. В ящиках шкафов валялись Библии, их сунуло туда какое-нибудь благотворительное общество, хотя, наверное, их почти никто не читал. И были открытки с видами гостиницы, можно было написать на открытке слова и послать кому захочется. Сейчас все это кажется нереальным; как будто сочиняешь.

Так вот. Я обследовала эту комнату — неторопливо, значит, как гостиничный номер, не транжиря. Я не хотела обследовать ее за раз, я хотела, чтоб это продлилось. Про себя разделила ее на секторы; разрешала себе один сектор в день. И этот сектор я изучала с предельным тщанием:

неровности штукатурки под обоями, царапины под верхним слоем краски на плинтусе и подоконнике, пятна на матрасе, ибо я далеко зашла: я даже поднимала покрывала и простыни с кровати, складывала их, по чуть-чуть, чтобы успеть разложить, если кто зайдет.

Пятна на матрасе. Точно высохшие лепестки. Давние. Старая любовь; в этой комнате не бывает иной.

Увидев это, эти улики, оставленные двумя людьми, улики любви или чего-то похожего, хотя бы желания, хотя бы касания двух людей, что ныне, должно быть, одряхлели или мертвы, я вновь застелила постель и легла. Я глядела в слепой штукатурный глаз потолка. Хотела почувствовать, как рядом лежит Люк. Эти приступы прошлого наваливаются, точно обмороки, в голове прокатывается волна. Порой они еле выносимы. Что же делать, что же делать, думала я. Ничего не сделаешь. Не меньше служит тот Высокой воле, кто стоит и ждет. Или лежит и ждет. Я знаю, отчего стекло в окне противоударное и почему убрали люстру. Я хотела почувствовать, как рядом лежит Люк, но не хватало места.

Шкаф я оставила до третьего дня. Сначала внимательно оглядела дверцы, снаружи и внутри,

потом стенки с латунными крючками — как же это они проглядели крючки? Почему не сняли? Слишком близко к полу? Но все равно, один чулок — и готово. И трубка с пластиковыми вешалками, на них висят мои платья, красная шерстяная накидка для холодов, шаль. Я встала на колени, чтобы рассмотреть дно, и нашла: крохотные буковки, вроде довольно свежие, нацарапаны булавкой или, может, просто ногтем, в углу, куда падала самая густая тень: *Nolite te bastardes carborundorum.*

Я понятия не имела, что это означает или хотя бы на каком языке. Я подумала, может, латынь, но латыни я совсем не знала. И все же это послание, написанное и уже потому запрещенное, и его еще никто не нашел. Только я, кому оно адресовано. Оно адресовано той, которая придет следом.

Мне приятно раздумывать о послании. Приятно думать, что я общаюсь с ней, с этой неизвестной женщиной. Ибо она неизвестна, а если известна, мне о ней никогда не говорили. Мне приятно знать, что ее запретное послание пробилось хотя бы к одному человеку, прибилось к стене моего шкафа, было открыто мною и прочитано. Порой я повторяю про себя слова. Маленькая радость. Я представляю себе ту, кто их написала; мне

кажется, она мне ровесница — может, чуть помоложе. Я превратила ее в Мойру, Мойру, какой та была в колледже, за стенкой: ловкая, веселая, сильная, одно время на велосипеде и с походным рюкзаком. Веснушки, думаю; находчива, непочтительна.

Интересно, кто она была или есть и что с ней стало.

Я подкатила к Рите в тот день, когда нашла послание.

А что за женщина жила в той комнате? спросила я. До меня? Спроси я иначе, спроси я: а до меня в той комнате жила женщина? — я бы, может, и не получила ответа.

Которая? спросила она; ворчливо, подозрительно, но, с другой стороны, она всегда со мной так разговаривает.

Значит, было несколько. Кто-то не прожил тут весь срок службы, все два года. Кого-то отослали по той или иной причине. А может, не отосланы; умерли?

Бойкая такая. Я просто гадала. С веснушками.

Знакомая, что ль? спросила Рита, просто исходя подозрениями.

Я ее знала прежде, солгала я. Я слыхала, она тут была. Это ее успокоило. Она понимала, что

должно где-то быть тайное сарафанное радио, подполье своего рода. У нее не вышло, сказала она.

Что именно? спросила я, стараясь, чтоб прозвучало как можно нейтральнее.

Но Рита поджала губы. Я тут как ребенок: есть вещи, которые мне рассказывать не полагается. Много будешь знать — скоро состаришься, вот и все, что она мне ответила.

Глава 10

Иногда я пою про себя, мысленно; что-нибудь горестное, скорбное, пресвитерианское:

Дивная милость, дар благосклонный,
Пела несчастному: верь.
Прежде заблудший, ныне спасенный,
Я свободен теперь[24].

Не уверена, что слова правильные. Не помню. Таких песен больше не поют прилюдно, особенно тех, в которых есть слово *свободен.* Считается, что они слишком опасны. Удел противозаконных сект.

Я так одинок, малышка,
Я так одинок, малышка,
Я просто готов умереть[25].

Эта тоже противозаконна. Я ее слышала на

---

[24] Примечания: 24

«Дивная милость» («Amazing Grace», 1779) — христианский гимн Джеймса П. Каррелла и Дэвида С. Клейтона на слова Джона Ньютона. В канонической версии строчка о свободе отсутствует.

[25] Примечания: 25

«Отель разбитых сердец» («Heartbreak Hotel», 1956) — песня Томми Дёрдена и Мэй Борен Экстон, записанная Элвисом Пресли.

старой маминой кассете; у мамы был скрипучий и ненадежный механизм, еще умевший такое играть. Мама ставила пленку, когда к ней приходили подруги и они выпивали.

Я нечасто так пою. У меня от этого горло саднит.

Музыки в этом доме почти нет, разве та, что по телевизору. Иногда Рита мурлычет, когда месит тесто или лущит горох; бессловесный гул, немелодичный, невнятный. А временами из парадных покоев доносится тоненький голосок Яснорады — с пластинки, записанной сто лет назад; теперь она крутит пластинку потихоньку, чтоб не застукали, и сидит, вяжет, вспоминает прежнюю, отнятую славу: *Аллилуйя.*

На удивление тепло. Такие дома прогреваются на солнце — у них слабая изоляция. Вокруг меня воздух застаивается, невзирая на слабое течение, на дыхание из окна через занавески. Я бы хотела распахнуть окно до упора. Еще чуть-чуть, и нам разрешат переодеться в летние платья.

Летние платья распакованы и висят в шкафу, две штуки, чистый хлопок, лучше синтетических, которые подешевле, но все равно в духоту, в июле и августе, мы в них потеем. Зато на солнце не сгорите, говорила Тетка Лидия. Как женщины

раньше выставляли себя напоказ. Мазали себя жиром, точно мясо на шампуре, голые плечи, спины, на улице, на людях; и ноги, даже без чулок, — неудивительно, что случались такие вещи. *Вещи* — вот как называла она все до того безвкусное, грязное или ужасное, что и с губ сорваться не могло. Для нее жить благополучно — значит жить, избегая *вещей,* исключая *вещи.* Эти *вещи* с приличными женщинами не случаются. И *вещи* так вредны для лица, очень вредны, вся сморщиваешься, как сушеное яблоко. Только она забыла: нам теперь не полагается заботиться о лице.

В парке, говорила Тетка Лидия, валялись на одеялах, иногда вместе мужчины и женщины, — и тут она принималась рыдать, стояла перед нами и рыдала у нас на глазах.

Я так стараюсь, говорила она. Я стараюсь дать вам шанс, какой только можно. Она помаргивала: слишком яркий свет, тряслись губы — рамка для передних зубов, которые чуть выдавались вперед, длинные и желтоватые, — и я вспоминала дохлых мышек; мы находили их на пороге, когда жили в доме, все втроем — вчетвером, если считать кошку, которая и оставляла нам эти подношения.

Тетка Лидия прижимала ладонь ко рту дохлого грызуна. Через минуту опускала руку. Мне тоже захотелось плакать — она мне напомнила. Если б только она сама их не жевала, говорила я Люку.

Вы что думаете, мне легко? спрашивала Тетка Лидия.

Мойра — ворвалась ко мне в комнату, уронила джинсовую куртку на пол. Сиги есть?

В сумке, ответила я. Только спичек нету.

Она роется в сумочке. Выкинула бы ты весь этот мусор, говорит она. Хочу закатить шлюховерную вечеринку.

Что закатить? спрашиваю я. Бесполезно пытаться работать, Мойра не даст, она — будто кошка, что прокрадывается на страницу, которую читаешь.

Ну, знаешь, как «Таппервер»[26], только с нижним бельем. Шлюшьи фиговины. Кружевные промежности, подвязки на застежках. Лифчики, которые сиськи подпирают. Она выуживает мою зажигалку, прикуривает сигарету, обнаруженную в сумочке. Будешь? Кидает мне пачку — поразительная щедрость, если учесть, что

[26] Примечания: 26

"Таппервер» — пластиковые контейнеры для хранения пищи, производятся одноименной корпорацией и продаются на «тапперверовских вечеринках», которые корпорация организует в домах клиентов.

сигареты мои.

Большое тебе спасибо, кисло говорю я. Ты чокнулась. Где ты вообще мысли такие берешь?

Подрабатывала, отвечает Мойра. У меня связи. Матушкины подруги. Большое дело в пригородах. Как только покрываются старческими пятнами, тут же решают, что пора давить конкурентов. «Порномарты» и чего только душа пожелает.

Я смеюсь. Она всегда меня смешила.

Но здесь-то? говорю я. Кто придет? Кому это надо?

Учиться никогда не рано, отвечает она. Пошли, будет круто. От смеха описаемся.

И вот так мы тогда жили? Но мы жили обычно. Как правило, все так живут. Что ни происходит, все обычно. Даже вот это теперь — обычно.

Как обычно, жили мы легкомысленно. Легкомыслие — не то же, что легкость мысли; над ним не надо трудиться.

Мгновенно ничто не меняется: в постепенно закипающей ванне сваришься заживо и не заметишь. Конечно, были репортажи в газетах, трупы в канавах или в лесах, забитые до смерти или изувеченные, жертвы насилия, как тогда выражались, но то были другие женщины, и мужчины, сотворившие такое, были другие мужчины. Мы

таких не знали. Газетные репортажи казались дурными снами, что приснились не нам. Какой кошмар, говорили мы, — и впрямь кошмар, но кошмар, лишенный правдоподобия. Слишком мелодраматичный — в том измерении, которое не пересекалось с нашими жизнями.

Мы не попадали в газеты. Мы жили вдоль кромки шрифта на пустых белых полях. Там было свободнее.

Мы жили в пробелах между историями.

Внизу, на дорожке, взрыкивает заведенный двигатель. В округе тихо, машин мало, такие звуки слышишь очень ясно: автомобильный мотор, газонокосилка, щелчки секатора, хлопок двери. Вопль был бы отчетлив, и выстрел тоже, если б они здесь прозвучали. Порой вдали воют сирены.

Я подхожу к окну, сажусь на канапе — слишком узкое, неудобно. На нем жесткая подушечка с вышитой наволочкой: печатные буквы ВЕРА, вокруг венок из лилий. ВЕРА — увядшая голубизна, листья лилий — тусклая зелень. Эту подушку где-то использовали, потрепали, но недостаточно, чтобы выбросить. Как-то ее проглядели.

Долгие минуты, десятки минут я могу сидеть, взглядом скользя по буквам: ВЕРА. Вот и все, что

мне дали почитать. А если б меня застукали, это бы считалось? Это же не я положила сюда подушку.

Мотор урчит, и я наклоняюсь, закрывая лицо белой занавеской, точно вуалью. Занавеска тонкая, мне сквозь нее видно. Если прижаться лбом к стеклу и посмотреть вниз, я вижу заднюю половину «бури». Снаружи ни души, но под моим взглядом появляется Ник, подходит к задней дверце, открывает, стоит навытяжку. Фуражка нахлобучена прямо, рукава опущены и застегнуты. Лица не видно, потому что я гляжу сверху.

Вот выходит Командор. Его я вижу мельком, укороченного, — он идет к машине. Без шляпы — значит, не на официальное торжество. Седые волосы. Если хочется быть любезной, можно сказать — серебристые. Что-то не хочется мне быть любезной. Предыдущий был лыс, так что, видимо, дела налаживаются.

Если б я могла плюнуть из окна или чем-нибудь кинуть — подушкой, например, — я бы, наверное, в него попала.

Мы с Мойрой, у нас бумажные пакеты с водой. Водяные бомбочки, вот как их называли. Высунулись из окна моей спальни в общаге, швыряем вниз парням на головы. Это Мойра придумала.

Что они такое делали? По лестнице зачем-то лезли. За нашим нижним бельем.

Общага прежде была совместная, в одном туалете до сих пор писсуары. Но когда я там поселилась, мужчин и женщин снова развели.

Командор горбится, забирается внутрь, пропадает, и Ник закрывает дверцу. Секунду спустя машина пятится по дорожке на улицу и исчезает за изгородью.

Мне бы надо ненавидеть этого человека. Я знаю, что должна ненавидеть, но чувствую иное. То, что я чувствую, гораздо сложнее. Не знаю, как назвать. Не любовь.

Глава 11

Вчера утром я ездила к врачу. Меня возили — возил Хранитель с красной нарукавной повязкой, один из тех, которые за это отвечают. Мы ехали в красной машине, он спереди, я сзади. Близняшка со мной не ездила; в таких случаях я одиночка.

Меня возят к врачу раз в месяц на анализы: моча, гормоны, мазок на онкологию, анализ крови; все как прежде, только теперь это обязательно.

Кабинет врача — в модерновом конторском здании. Мы едем в лифте молча, Хранитель — ко мне лицом. В черной зеркальной стене я вижу его затылок. В кабинет я захожу одна; он ждет в коридоре с другими Хранителями, на стуле — там для того стулья и выставили.

В комнате ожидания еще три женщины в красном; этот врач — специалист. Мы исподтишка разглядываем друг друга, оцениваем животы: повезло кому-нибудь? Медбрат вбивает наши имена и номера пропусков в Компидент — проверяет, те ли мы, кем нам полагается быть. Он ростом футов, наверное, шесть, лет под сорок, шрам наискось через щеку; медбрат сидит, печатает, руки великоваты для клавиатуры, в наплечной

кобуре пистолет.

Меня вызывают, и я вхожу во внутренний кабинет. Белый, безликий, как и внешний, только ширма стоит, на раме натянута красная ткань, на ткани рисунок — золотой глаз, а под ним две змеи оплели вертикальный меч — рукоятка для ока. Меч и змеи, осколки разбитых символов прежних времен.

Я наполняю бутылочку, которую мне припасли в крохотном туалете, раздеваюсь за ширмой, складываю одежду на стул. Нагишом ложусь на смотровой стол, на одноразовую простыню из холодной хрустящей бумаги. Натягиваю вторую простыню, тряпочную. Еще одна простыня свешивается с потолка над шеей. Делит меня так, чтобы врач ни за что не увидел лица. Он работает лишь с торсом.

Устроившись, нащупываю рычажок справа на столе, оттягиваю. Где-то звенит колокольчик — я его не слышу. Через минуту открывается дверь, шаги, дыхание. Ему не полагается говорить со мной — только если без этого никак. Но этот врач разговорчивый.

— Ну, как мы себя чувствуем? — спрашивает он — какая-то речевая судорога из давних времен. Простыня с тела убрана, от сквозняка мурашки.

Холодный палец, обрезиненный и смазанный, проскальзывает в меня, меня тычут и щупают. Палец убирается, входит иначе, отступает. — С вами все в порядке, — говорит врач, будто себе самому. — Что-то болит, сладкая? — Он называет меня *сладкая.*

— Нет, — говорю я.

В свой черед мне щупают груди, ищут спелость, гниль. Дыхание приближается, я чую застарелый дым, лосьон после бритья, табачную пыль на волосах. Потом голос, очень тихий, почти в ухо: его голова выпячивает простыню.

— Я могу помочь, — говорит он. Шепчет.

— Что?

— Ш-ш, — говорит он. — Я могу помочь. Я и другим помогал.

— Помочь? — спрашиваю я так же тихо. — Как? — Может, он что-то знает, может, видел Люка, нашел, поможет вернуть?

— А ты как думаешь? — спрашивает он, еле выдыхая слова. Это что — его рука скользит по моей ноге? Перчатку он снял. — Дверь заперта. Никто не войдет. И не узнают, что не от него.

Он поднимает простыню. Пол-лица закрыто белой марлей — таково правило. Два карих глаза, нос, голова, на ней каштановые волосы. Его паль-

цы у меня между ног.

— Большинство этих стариков уже не могут, — говорит он. — Или стерильны.

Я чуть не ахаю: он сказал запретное слово. *Стерильны.* Не бывает стерильных мужчин — во всяком случае, официально. Бывают только женщины, что плодоносны, и женщины, что бесплодны; таков закон.

— Многие женщины так делают, — продолжает он. — Ты же хочешь ребенка?

— Да, — отвечаю я. Это правда, и я не спрашиваю почему, ибо знаю и так. *Дай мне детей, а если не так, я умираю.* Можно по-разному понимать.

— Ты мягкая, — говорит он. — Пора. Сегодня или завтра в самый раз, к чему время терять? Всего минута, сладкая. — Так он называл когда-то жену; может, по сей день называет, но в принципе это обобщение. Все мы *сладкие.*

Я колеблюсь. Он предлагает мне себя, свои услуги, с риском для него самого.

— Мне тоскливо смотреть, на что они вас обрекают, — шепчет он. Искренне, он искренне сочувствует, и все же наслаждается — сочувствием и всем остальным. Его глаза увлажнило сострадание, по мне скользит рука, нервно, нетерпеливо.

— Слишком опасно, — говорю я. — Нет. Я не могу. — Наказание — смерть. Но вас для этого должны застать два свидетеля[27]. Каковы шансы, прослушивается ли кабинет, кто ждет прямо под дверью?

Его рука останавливается.

— Подумай, — советует он. — Я видел твою медкарту. У тебя мало времени. Но тебе жить.

— Спасибо, — говорю я. Надо притвориться, что я не обижена, что предложение в силе. Он убирает руку почти лениво, медлит, он думает — разговор не окончен. Он может подделать анализы, сообщить, что у меня рак, бесплодие, сослать меня в Колонии к Неженщинам. Ничто не говорится вслух, но сознание его власти все равно повисает в воздухе, когда он похлопывает меня по бедру и пятится за простыню.

— Через месяц, — говорит он.

Я одеваюсь за ширмой. Руки трясутся. Почему я испугалась? Я не преступила границ, никому не доверилась, не рискнула, угрозы нет. Меня ужасает выбор. Выход, спасение.

---

[27] Примечания: 27

«По словам двух свидетелей, или трех свидетелей, должен умереть осуждаемый на смерть: не должно предавать смерти по словам одного свидетеля» (Втор. 17:6).

Глава 12

Ванная — возле спальни. Оклеена голубыми цветочками, незабудками, и шторы такие же. Голубой коврик, голубая покрышка из искусственного меха на унитаз; в этой ванной из прошлого не хватает лишь куклы, у которой под юбкой прячется лишний рулон туалетной бумаги. Только вот зеркало над раковиной сняли, заменили жестяным прямоугольником, и нет замка на двери, и нет, разумеется, лезвий. Поначалу случались инциденты в ванных; резались, топились. Пока не устранили все дефекты. Кора сидит на стуле в коридоре, следит, чтобы никто больше не вошел. В ванной, в ванне, вы ранимы, говорила Тетка Лидия. Чем — не говорила.

Ванна — предписание, но она же и роскошь. Просто снять тяжелые белые крылья и вуаль, просто пощупать собственные волосы — уже роскошь. Волосы у меня теперь длинные, нестриженые. Волосам полагается быть длинными, но покрытыми. Тетка Лидия говорила: святой Павел

требовал либо так, либо налысо[28]. И смеялась, гнусаво ржала, как она это умеет, словно удачно пошутила.

Кора наполнила ванну. Ванна дымится, точно супница. Я снимаю остальную одежду — платье, белую сорочку, нижнюю юбку, красные чулки, свободные хлопковые панталоны. От колготок писька сгниет, говорила Мойра. Тетка Лидия ни за что бы не произнесла «писька сгниет». *Негигиенично,* вот что она говорила. Хотела, чтобы все было очень гигиенично.

Моя нагота мне уже странна. Тело будто устарелое. Неужто я носила купальники на пляже? Носила и не задумывалась, и при мужчинах, и не переживала, что мои ноги, мои руки, спина и бедра на виду, выставляются напоказ. *Постыдно, нескромно.* Я стараюсь не смотреть на свое тело — не потому, что оно постыдно или нескромно, но потому, что не хочу его видеть. Не хочу смотреть на то, что так всецело меня обозначает.

Я ступаю в воду, ложусь, отдаюсь ей. Вода нежная, будто ладошки. Закрываю глаза, и вдруг она со мной, внезапно, без предупреждения

---

[28] Примечания: 28

«Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается» (1 Кор. 11:6).

— наверное, потому что здесь мылом пахнет. Я прижимаюсь лицом к мягким волосам у нее на затылке, вдыхаю ее — детскую пудру, дитячью вымытую плоть, шампунь, и отдушкой — слабый запах мочи. Вот в каком она возрасте, пока я в ванне. Она возвращается ко мне в разных возрастах. Потому я и знаю, что она не призрак. Будь она призрак, возраст был бы один навсегда.

Как-то раз, когда ей было одиннадцать месяцев, незадолго до того, как она пошла, какая-то женщина украла ее из тележки в супермаркете. Суббота, мы с Люком ходили в магазины по субботам, потому что оба работали. Она сидела в детском креслице — тогда в тележках были такие, с дырками для ног. Она была довольна, и я отвернулась — за кошачьей едой, что ли; Люк был далеко, в углу, у мясного прилавка. Ему нравилось выбирать, какое мясо мы будем есть всю неделю. Он говорил, мужчинам требуется больше мяса, чем женщинам, и это не предрассудок, а он не шовинист, исследования же проводились. Есть некоторая разница, говорил он. Он с таким удовольствием это повторял, будто я доказывала, что разницы нет. Но в основном он это говорил, когда приезжала моя мама. Он любил ее дразнить.

Я услышала, как она заплакала. Я разверну-

лась, а она исчезала в проходе на руках какой-то незнакомой женщины. Я закричала, женщину остановили. Лет тридцати пяти. Женщина рыдала, говорила, что это ее ребенок, Господь дал его ей, послал ей знак. Мне было ее жалко. Менеджер извинился, и ее держали, пока не явилась полиция.

Да она просто свихнутая, сказал Люк.

Тогда я думала, что это единичный случай.

Она тускнеет, я не могу ее удержать, она истаяла. Может, я и считаю ее призраком, призраком мертвой девочки, маленькой девочки, которая в пять лет умерла. Помню, у меня были наши фотографии, я ее обнимала, шаблонные позы, мать и ребенок, замкнутые в рамке, безопасности ради. Под зажмуренными веками я вижу себя теперешнюю, как я сижу в подвале возле открытого комода или сундука, туда сложена детская одежда, локон в конверте, отрезанный, когда ей было два, светлый, белый. Потом волосы потемнели.

Всего этого у меня больше нет. Интересно, куда делись наши вещи. Разграблены, выброшены, растащены. Конфискованы.

Я научилась без многого обходиться. Если у вас много вещей, говорила Тетка Лидия, вы слишком привязываетесь к этому материальному миру и

забываете о духовных ценностях. Нужно воспитывать нищету духа. Блаженны кроткие. Она не закончила, не сказала ничего про наследование земли[29].

Я лежу, меня лижет вода, я возле открытого комода, которого не существует, думаю о девочке — она в пять лет не умерла; она существует, я надеюсь, по сей день, только не для меня. Существую ли я для нее? Может, я картинка во мраке, в глубине ее сознания?

Должно быть, ей сказали, что умерла я. Это на них похоже — такое удумать. Сказали, что ей проще смириться.

Восемь, ей сейчас должно быть восемь. Я восстановила все время, что потеряла, я знаю, сколько его было. Они правы, так проще — думать, что она умерла. Не нужно надеяться, напрягаться понапрасну. Зачем, говорила Тетка Лидия, биться головой об стену? Порой она красочно выражалась.

— У меня, знаешь ли, не целый день впереди, — говорит из-за двери Кора. И впрямь не целый. У нее нет ничего целого. Не стоит лишать ее вре-

[29] Примечания: 29

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное… Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5:3, 5).

мени. Я намыливаюсь, тру себя щеткой и пемзой — сдираю мертвую кожу. Вот такой пуританский инструментарий. Я хочу быть абсолютно чистой, продезинфицированной, без бактерий, как поверхность Луны. Я не смогу помыться вечером и потом еще целый день. Говорят, это мешает, к чему рисковать?

Я бы рада не видеть, но не могу — на лодыжке маленькая татуировка. Четыре цифры и глаз, паспорт наоборот. Дабы гарантировать, что я не смогу в конце концов раствориться — в ином пейзаже. Я слишком важна, слишком дефицитна. Я — достояние нации.

Я выдергиваю затычку, вытираюсь, надеваю красный махровый халат. Сегодняшнее платье я оставлю тут, Кора заберет и постирает. В комнате я снова одеваюсь. Белая конструкция на голову не нужна вечером — я из дома не выйду. Тут все знают, каково мое лицо. Но красная вуаль опускается, закрывает влажные волосы, необритую голову. Где же я видела этот фильм — женщины стояли на коленях на городской площади, их держали, их волосы падали клочьями? Что они натворили? Наверное, это было давно, потому что я не помню.

Кора приносит мне ужин — закрытый, на под-

носе. Стучит в дверь, лишь затем входит. За это она мне нравится. Это значит, она думает, будто у меня еще остались крохи личной, как это прежде называлось, жизни.

— Спасибо, — говорю я, забирая поднос, и она взаправду улыбается, но отворачивается, ничего не сказав. Когда мы с ней вдвоем, она меня опасается.

Я ставлю поднос на белый крашеный столик и подтаскиваю стул. Снимаю крышку. Бедрышко цыпленка пережарено. Уж лучше так, чем с кровью, — с кровью она тоже готовит. Рита умеет показать неприязнь. Запеченная картошка, зеленые бобы, салат. Груши из банки на десерт. Приличная еда, хоть и безвкусная. Здоровая пища. Вам необходимы витамины и минералы, жеманно говорила Тетка Лидия. Вы должны быть достойным сосудом. Кофе нельзя, чай нельзя, алкоголь тоже. Проводились исследования. Бумажная салфетка, будто в кафетерии.

Я думаю о других, о тех, у которых нет. Тут сердце страны, меня балуют, да внушит нам Господь подлинную благодарность, говорила Тетка Лидия, — или, может, признательность, и я начинаю поглощать еду. Сегодня я не голодна. Меня подташнивает. Но еду некуда деть, нет горшков с

цветами, а в туалет я не рискну. Я ужасно нервничаю, вот в чем дело. Может, оставить на тарелке, попросить Кору не доносить? Я жую и глотаю, жую и глотаю, выступает пот. Еда в животе сбивается в ком, жатую груду волглого картона.

Внизу, в столовой, будут свечи на огромном столе красного дерева, белая скатерть, серебро, цветы, винные бокалы, а в них вино. Бряцание ножей о фарфор, звяк — это она с еле уловимым вздохом отложит вилку, половину порции оставив на тарелке. Может, скажет, что аппетита нет. Может, ничего не скажет. Если она что-нибудь говорит, отвечает ли он? Если ничего не говорит — замечает? Как она добивается, чтоб ее заметили? Наверное, это тяжко.

На краю тарелки — плюха масла. Я отрываю уголок салфетки, заворачиваю масло, отношу в шкаф и прячу в мысок правой туфли из второй пары, я так прежде уже делала. Комкаю салфетку — никто не станет расправлять, выяснять, цела ли. Масло я использую ночью. Сегодня вечером не годится пахнуть маслом.

Я жду. Я настраиваюсь. Я должна настроить себя, как настраивают фортепьяно. Я должна звучать в тональности сотворенного, не рож-

денного.

V. Дрема

Глава 13

Еще осталось время. То, к чему я не была готова, одно из многих, — количество незаполненного времени, долгие парентезы пустоты. Время как белый шум. Если бы я могла вышивать. Ткать, вязать, хоть чем-то занимать руки. Я хочу сигарету. Помню, как я бродила по выставкам, по девятнадцатому веку: они же были одержимы гаремами. Гаремы на десятки картин, жирные женщины в тюрбанах или бархатных тюбетейках валяются на диванах, обмахиваются павлиньими перьями, за спиной на страже — евнух. Этюды недвижной плоти, воссозданной мужчинами, которые никогда там не бывали. Предполагалось, что картины эротичны — мне тогда казалось, они и были эротичны; но теперь я понимаю, о чем они в действительности. На картинах этих застылая живость; ожидание, предметы, которыми не пользуются. На картинах этих скука.

Но, может, скука эротична, когда женщины скучают для мужчин.

Я жду — вымытая, причесанная, накормленная, как призовая свинья. Где-то в восьмидесятых

изобрели свинячьи мячи — для свиней, что жирели в загонах. Большие разноцветные мячи; свиньи гоняли их пятачками. Свиноводы говорили, это повышает мышечный тонус; свиньям было любопытно, они радовались, что есть о чем подумать.

Я читала об этом во «Введении в психологию»; об этом, и еще главу про запертых крыс, которые били себя электрошоком, лишь бы чем-нибудь заняться. И про голубей, которых учили клевать кнопку, чтобы появилось кукурузное зернышко. Три группы голубей: первая получала одно зернышко на клевок, вторая — одно зернышко через клевок, а третья — случайным образом. Когда экспериментаторы прекратили подавать зерно, первая группа сдалась довольно быстро, вторая — чуть позже. Третья же так и не сдалась. Они уклевывались до смерти, но клевать не переставали. Кто знает, что сработает?

Мне бы не помешал свинячий мяч.

Я ложусь на плетеный коврик. Тренироваться можно когда угодно, говорила Тетка Лидия. Несколько сеансов в день, согласно вашему режиму. Руки вдоль тела, колени согнуты, поднять таз, выгнуть позвоночник. Сгруппироваться. Еще раз. Вдохнуть на счет пять, задержать дыхание,

выдохнуть. Мы это делали в бывшем классе домоводства, откуда убрали швейные и посудомоечные машины; в унисон, лежа на японских циновках, под музыку — «Сильфиды»[30]. Она и звучит у меня в голове, когда я поднимаюсь, наклоняюсь, дышу. Под веками тоненькие белые танцовщицы грациозно порхают меж деревьев, ноги трепещут, словно крылья плененных птиц.

Днем мы по часу лежали в койках в спортзале, с трех до четырех. Это называлось время отдыха и размышлений. Я тогда подозревала, это устраивалось, потому что им тоже нужно отдохнуть от учебы, и я знаю, что Тетки, которые не дежурили, отправлялись в учительскую и пили кофе или что там они называли этим словом. Но сейчас мне кажется, что отдых тоже был тренировкой. Дабы мы приучались к провалам времени.

Вздремните, по обыкновению жеманилась Тетка Лидия.

Как ни странно, мы нуждались в отдыхе. Многие отключались. Мы, как правило, уставали. Нас

[30] Примечания: 30

"Сильфиды» (первоначальное название — «Шопениана», 1909) — балет на музыку польского композитора и пианиста Фредерика Шопена (1810–1849), поставленный хореографом Михаилом Фокиным в парижском театре Сергея Дягилева (1872–1929). Балет не имеет сюжета; в каждом фрагменте несколько сильфид танцуют с единственным мужским персонажем.

кормили какими-то таблетками, наркотиками — я думаю, подсыпали в еду, чтоб мы не нервничали. А может, и нет. Может, обстановка была такая. После первого шока, когда попривыкнешь, лучше впасть в летаргию. Говорить себе, что бережешь силы.

Я жила там уже недели три, когда появилась Мойра. Две Тетки, как водится, привели ее в спортзал, пока мы дремали. По-прежнему в своей одежде, джинсы и синяя фуфайка, волосы острижены, Мойра плевала на моду, как всегда, — и я узнала ее мгновенно. Она тоже меня увидела, но отвернулась — уже понимала, как не подставляться. На левой щеке лиловел синяк. Тетки отвели ее к пустой койке, где уже разложили красное платье. Мойра разделась, в тишине снова принялась одеваться, Тетки стояли в изножье, а мы все наблюдали сквозь щелочки глаз. Когда Мойра наклонилась, я увидела узелки позвонков.

Несколько дней мы не могли поговорить, только смотрели по чуть-чуть, словно из бокала отпивали. Дружбы подозрительны, мы это знали, мы избегали друг друга в очереди за едой в кафетерии, в коридорах между уроками. Но на четвертый день она оказалась рядом на прогулке

парами вокруг футбольного поля. До окончания учебы нам не выдавали белых крылышек, одни вуали; и мы могли поговорить, только тихо и не глядя друг на друга. Тетки шагали в голове колонны и в хвосте, так что единственная опасность — те, кто рядом. Некоторые были правоверные, могли настучать.

Это дурдом какой-то, сказала Мойра.

Я так тебе рада, сказала я.

Где можно поговорить?

В туалете, сказала я. Смотри на часы. Последняя кабинка, два тридцать.

Больше мы ничего не сказали.

Теперь, когда появилась Мойра, мне стало спокойнее. Можно выйти в туалет, если поднять руку, хотя есть ограничения, сколько раз в день, — они записывают в табличку. Я слежу за круглыми часами, электрическими, впереди над зеленой доской. Два тридцать приходится на Свидетельства. Вместе с Теткой Лидией на уроке Тетка Хелена: Свидетельства — особый урок. Тетка Хелена толстая, когда-то возглавляла франшизу «Следи за весом» в Айове. Свидетельства — ее конек.

Сейчас Джанин рассказывает, как ее в четырнадцать лет изнасиловала банда, пришлось сделать

аборт. Ту же историю она излагала неделю назад. Едва ли не гордится этим эпизодом. Может, это вообще вранье. На Свидетельствах безопаснее выдумывать, чем говорить, что нечем поделиться. Но это Джанин, так что, вполне вероятно, это более или менее правда.

Но чья в том вина? вопрошает Тетка Хелена, воздев пухлый пальчик.

Ее вина, *ее* вина, *ее* вина, хором скандируем мы. Кто их подстрекал? Тетка Хелена сияет, мы ее порадовали.

Она подстрекала. *Она* подстрекала. *Она* подстрекала.

Почему Господь допустил, чтобы с ней случилась такая ужасная вещь?

Преподать ей *урок.* Преподать ей *урок.* Преподать ей *урок.*

На той неделе Джанин разрыдалась. Тетка Хелена заставила ее встать на колени перед классом, руки за спиной, чтобы мы все видели багровое лицо и текущие сопли. Тусклые светлые волосы, ресницы белые, как будто их вообще нет, исчезнувшие ресницы погорельца. Выгоревшие глаза. Она была отвратительна: слабая, скорченная, пятнистая, розовая, будто новорожденная мышь. Ни одна из нас не желала так выглядеть, никогда

в жизни. Секунду, даже зная, что с ней делают, мы презирали ее.

Плакса. Плакса. Плакса.

Мы были искренни, что хуже всего.

Когда-то я себе нравилась. Тогда — нет.

То было неделю назад. Сегодня Джанин не ждет, когда мы начнем глумиться. Это моя вина, говорит она. Я сама виновата. Я их подстрекала. Я заслужила боль.

Очень хорошо, Джанин, говорит Тетка Лидия. Берите пример.

Пришлось ждать, когда это закончится, и лишь затем поднять руку. Иногда, если попроситься в неудачный момент, они говорят «нет». Это критично, если выйти по правде нужно. Вчера Долорес описалась на пол. Две Тетки выволокли ее под мышки. Она не появилась на дневной прогулке, однако ночью оказалась в своей койке. До утра мы слышали, как она то стонет, то затихает.

Что с ней сделали? шептали мы с койки на койку.

Не знаю.

От незнания только хуже.

Я поднимаю руку, Тетка Лидия кивает. Я встаю и выхожу в коридор, как можно незаметнее. Возле туалета стоит на посту Тетка Элизабет. Она

кивает — можешь проходить.

Прежде тут был мужской туалет. Зеркала заменили двумя прямоугольниками тускло-серого металла, но писсуары на стене остались — белая эмаль с желтыми пятнами. Странно похожи на детские гробики. Я вновь поражаюсь наготе мужской жизни: душ у всех на виду, тело выставлено для изучения и сравнения, публичная демонстрация интимных органов. Зачем это? Ради уверенности в чем? Блеснуть значком — глядите, у меня все как полагается, я тут свой. Почему женщинам не нужно друг другу доказывать, что они женщины? Так же невзначай расстегиваться, вскрывать ширинку. Собачье обнюхивание.

Школа старая, кабинки деревянные — из ДСП, что ли. Я захожу во вторую от конца, прикрываю дверь. Замков, разумеется, больше нет. Сзади у стены в дереве дырочка где-то на уровне талии — сувенир от вредителя из прошлого или наследие древнего вуайериста. Про эту дырочку в дереве знают в Центре все; все, кроме Теток.

Я боюсь, что опоздала, что Свидетельства Джанин слишком меня задержали: может, Мойра уже была тут, может, ей пришлось вернуться. Много времени не дают. Я осторожно гляжу вниз, наискось, под стенку, и вижу пару красных туфель.

Откуда мне знать, кто это?

Я прижимаюсь губами к дырочке. Мойра? шепчу я.

Это ты? отвечает она.

Да, говорю я. Какое облегчение.

Господи, сигарету бы, говорит Мойра.

И мне бы, отвечаю я. Я по-дурацки счастлива.

Я утопаю в своем теле, как в болоте, в трясине, где я одна знаю тропу. Коварная почва, моя личная территория. Я становлюсь землей, к которой прижимаюсь ухом, ловлю слухи о будущем. Каждое покалывание, каждый шепоток боли, рябь сброшенной материи, распухла или съежилась ткань, истекает плоть, — все это знаки, обо всем я должна знать. Каждый месяц я в страхе жду крови, ибо если она приходит, это значит, я потерпела неудачу. Снова подвела, не оправдала чужих ожиданий, которые стали моими.

Когда-то я считала, что тело мое — инструмент наслаждения, или средство передвижения, или орудие исполнения моей воли. Я им бежала, нажимала на кнопки, те или иные, вызывала события. Тело имело свои пределы, но все же было гибко, отдельно, плотно, едино со мной.

Теперь плоть устроилась иначе. Я — облако, сгустилось вокруг центра, он грушевидный, плот-

ный, он реальнее меня, он багрово светится в прозрачных обертках. Внутри его пустота — громадная, как ночное небо, и темная, и скругленная, только черно-красная, не черная. Крошки света распухают, вспыхивают, взрываются и сморщиваются в нем, бесчисленные, как звезды. Каждый месяц встает луна, гигантская, круглая, тяжкая — знамением. Она катится, замирает, катится дальше и скрывается из виду, и я вижу, как мором накатывает отчаяние. Я так пуста — снова, снова. Я прислушиваюсь к сердцу, что волна за волной, соленой и красной, опять и опять размечает время.

Я в нашей первой квартире, в спальне. Стою перед шкафом, у него раздвижные деревянные дверцы. Вокруг пусто, я знаю, вся мебель исчезла, пол голый, даже ковра нет; однако в шкафу полно одежды. Я думаю, это моя одежда, но на мою не похожа, я такой никогда не видела. Может, это одежда Люковой жены, которую я тоже никогда не видела — только фотографии и голос в телефоне за полночь, когда она звонила нам, плакала, упрекала, еще до развода. Но нет, одежда точно моя. Мне нужно платье, нужно одеться. Я вынимаю платья, черные, синие, лиловые, жакеты, юбки, все не то, ни одно даже не подходит, мало

или велико.

Люк здесь, за спиной, я оборачиваюсь. Он не смотрит на меня, смотрит в пол, кошка трется о его ноги, мяучит жалобно, все мяучит и мяучит. Хочет есть, но откуда взяться еде, раз квартира так пуста?

Люк, говорю я. Он не отвечает. Наверное, не слышит. Я понимаю, что, может, он больше не живой.

Я бегу с ней, держу ее за руку, тащу, волоку меж папоротников, она полусонная, потому что я дала ей таблетку, чтоб она не заплакала, не сказала ничего такого, что выдаст нас, она не понимает, куда попала. Земля в колдобинах, камни, мертвые ветки, запах влажной почвы, палая листва, она не может бежать так быстро, я бы одна бежала быстрее, я хорошо бегаю. Вот она плачет, ей страшно, я хочу взять ее на руки, но она слишком тяжелая. Я в походных ботинках, думаю: когда прибежим к воде, придется их сбросить, наверное, холодно будет, доплывет ли она, далеко же, а течение, мы такого не ожидали. *Тихо,* рявкаю я. Представляю себе, как она тонет, и это меня тормозит. Потом выстрелы за спиной, негромкие, не как хлопушки, но резкие — хруст, будто треснула сухая ветка. Странный какой-то

звук, и вообще все звучит не как полагается, и я слышу голос: *Ложись,* — настоящий голос, или у меня в голове, или мой собственный, вслух?

Я тяну ее к земле, ложусь сверху, чтобы прикрыть ее, защитить ее. *Тихо,* повторяю я, лицо у меня мокрое, в поту или в слезах, я спокойна, я уплываю, словно меня больше нет в моем теле, прямо перед глазами — лист, красный, рано покраснел, я вижу яркие жилки, все до одной. Ничего красивее в жизни не видела. Я отодвигаюсь, не хочу ее задушить, сворачиваюсь вокруг нее, рукой зажимая ей рот. Дыхание, стук моего сердца, будто среди ночи грохот в дверь дома, где ты, казалось, нашла спасение. *Все в порядке, я здесь,* говорю я, шепчу, *пожалуйста, тихо,* но как ей справиться? Она слишком мала, слишком поздно, нас растаскивают, держат меня за руки, и по краям темнеет, и ничего не осталось, лишь крохотное окошко, совсем крохотное окошко, будто смотришь в телескоп с другой стороны, будто окошко на старой рождественской открытке, снаружи лед и ночь, а внутри свеча, семья, искрится елка, я даже слышу колокольчики, бубенчики, радио, старые песенки, но в окошко я вижу ее, крошечную, но такую отчетливую, я вижу, она уходит от меня меж деревьев, которые

уже опадают, красные, желтые, она тянет ко мне руки, ее уводят.

Меня будит колокол; а затем Кора стучится в дверь. Я сажусь на коврике, рукавом вытираю мокрое лицо. Из всех снов этот самый кошмарный.

VI. Домочадцы

Глава 14

Когда колокол умолкает, я спускаюсь по лестнице, беспризорно мелькаю в стеклянном глазу, что висит на стене над ступеньками. Часы машут маятником, блюдут время; ноги мои в опрятных красных туфлях отсчитывают путь вниз.

Дверь в покои распахнута. Я вхожу: здесь пока никого. Не сажусь, но занимаю свое место — на коленях возле кресла с пуфиком, где кратко воцарится Яснорада, погрузится в кресло, опираясь на трость. Может, обопрется на мое плечо, словно я мебель. Она прежде так делала.

Покои когда-то называли будуаром; затем салоном. А может, просто гостиной, такой, с пауком и мухами[31]. Но теперь здесь официально покои, ибо это и происходит — некоторые спокойно сидят. Другие же только стоят. Поза тут важна: мелкие неудобства поучительны.

Покои приглушенны, симметричны; одна из личин, что нацепляют, застывая, деньги. Годами деньги сочились через эту комнату, словно через

---

[31] Примечания: 31

«Заходи ко мне скорее», — муху приглашал паук» — цитата из стихотворения «Паук и муха» английской поэтессы Мэри Хауитт (1799–1888).

подземную пещеру, наслаивались, затвердевали в этих формах сталактитами. Немо выставляются разнообразные плоскости: сумрачно розовый бархат опущенных портьер, блеск одинаковых стульев восемнадцатого века, шорохом коровьего языка — стеганый китайский ковер на полу с грушево-розовыми пионами, элегантная кожа Командорова кресла, рядом мерцание латуни на шкатулке.

Ковер подлинный. Что-то в этой комнате подлинное, что-то нет. К примеру, два портрета, оба женские, по бокам от камина. Обе дамы в темных платьях, как те, что в старой церкви, только написаны позже. Наверное, подлинники. Я подозреваю, Яснорада, приобретя их, когда стало очевидно, что ей придется направить свою энергию на неопровержимо домашние дела, собиралась выдать этих дам за своих прародительниц. А может, они уже были в доме, когда его купил Командор. Наверняка не выяснишь. Так или иначе, вот они висят — спины и рты жесткие, груди стянуты, лица съежились, капоры накрахмалены, кожа посерела, — и, сощурившись, охраняют покои.

Между ними над каминной полкой — овальное зеркало, с каждой стороны — пара серебряных

подсвечников, а между ними — белый фарфоровый купидон рукой обхватил за шею ягненка. Вкусы Яснорады — дикое месиво: жесткая страсть к качеству, нежная жажда сентиментальности. По углам каминной полки — два засушенных букета, на полированном инкрустированном столике у дивана — ваза, и в ней настоящие нарциссы.

В комнате пахнет лимонным маслом, плотной тканью, увядающими нарциссами, да еще остаточный запах стряпни, что пробрался из кухни или столовой, и еще Яснорадины духи — «Лилия долин»[32]. Духи — роскошь, у нее наверняка есть где-то свой человек. Я вдыхаю, думаю: я должна быть благодарна. Это аромат незрелых девочек, подарков, которые маленькие дети дарят мамам на День матери; запах белых хлопковых носочков и белых хлопковых нижних юбок, запах пудры, невинности женской плоти, еще не отдавшейся на милость волосяной поросли и крови. Мне слегка нехорошо, будто меня в душный сырой день заперли в машине со старухой, которая злоупотребляет пудрой. Таковы эти покои, несмотря на изящество.

---

[32] Примечания: 32
Песн. 2:1.

Хорошо бы что-нибудь отсюда украсть. Взять какую-нибудь мелочь, резную пепельницу или, может, серебряную коробочку с каминной полки, или сухой цветок; спрятать в складках платья, в рукаве на «молнии», держать там, пока вечер не закончится, спрятать в комнате под кроватью, или в туфле, или в прорези на жесткой вышитой подушке с надписью ВЕРА. Время от времени буду вытаскивать, разглядывать. И чувствовать, что у меня есть власть.

Но чувство это — иллюзия, и вообще слишком рискованно. Руки мои не движутся, так и лежат на коленях. Бедра вместе, пятки упрятаны, тычут мое тело снизу. Голова склонена. Во рту вкус зубной пасты: химическая мята и замазка.

Я жду, когда соберутся домочадцы. *Домочадцы* — вот мы кто. Командор главенствует над домочадцами. В доме все мы — его чада. Жилище домочадцев — его доминион. В доме и в миру, пока смерть не разлучит нас.

В море чадящая матка. Бесчадная.

Первой входит Кора, за ней Рита, вытирает руки о фартук. Их тоже призвал колокол, они недовольны, им есть чем заняться — скажем, посуду вымыть. Но они должны быть здесь, все должны быть здесь, этого требует Церемония.

Мы все обязаны спокойно это пережить, так или иначе.

Рита хмурится на меня, встает у меня за спиной. Сия трата времени — моя вина. Не моя, но моего тела, если есть разница. Даже Командор — жертва его капризов.

Входит Ник, кивает нам троим, озирается. Тоже занимает место у меня за спиной — стоя. Он так близко, что носок его сапога касается моей ступни. Он это нарочно? Нарочно или нет, но мы касаемся друг друга, два предмета из кожи. Моя туфля размягчается, кровь мчится в нее, она теплеет, становится мембраной. Я отодвигаю ногу, чуть-чуть.

— Поспешил бы он, что ли, — говорит Кора.

— Поспешишь — людей насмешишь, — говорит Ник. Смеется, придвигает ногу, она снова касается моей. Под складками расправленной юбки никому не видно. Я ерзаю, тут слишком жарко, от аромата застоявшихся духов подташнивает. Я отодвигаю ногу.

Мы слышим, как Яснорада идет по лестнице, по коридору, приглушенно грохочет трость по ковру, стучит здоровая нога. Яснорада ковыляет в двери, косится на нас, пересчитывает, но не видит. Кивает Нику, но ни слова не произносит. Она

в одном из лучших своих платьев, небесно-голубом с белой вышивкой по краю вуали — цветы и ажурная вязь. Даже в таком возрасте ей потребно оплетать себя цветами. Тебе не впрок, думаю я ей, и лицо мое неподвижно, тебе от них ни грана проку, ты засохла. Они — половые органы растений. Я когда-то об этом читала.

Она добредает до кресла с пуфиком, поворачивается, опускается, приземляется неэлегантно. Закидывает левую ногу на пуфик, роется в нарукавном кармане. Шорох, щелчок зажигалки. Жаркий ожог дыма, я вдыхаю его.

— Как всегда, опаздывает, — говорит она. Мы не отвечаем. Громыхание — она шарит на тумбочке, — затем щелчок, и гудит, нагреваясь, телевизор.

Мужской хор, желтая кожа с прозеленью, настроить бы цвета; они поют «В церковь приди, ту, что в чаще»[33]. *Приди, приди,* поют басы. Яснорада переключает канал. Волны, разноцветные зигзаги, звуковая мешанина: Монреальский спутниковый канал заблокирован. Затем проповедник, серьезный, черные глаза горят, он

[33] Примечания: 33

«Церковь в чаще» («Church in the Wildwood», 1857) — религиозный гимн американского композитора, учителя музыки Уильяма С. Питтса (1830–1918).

склоняется к нам с кафедры. Проповедники теперь похожи на бизнесменов. Яснорада уделяет ему несколько секунд, затем снова жмет кнопку.

Несколько пустых каналов, потом новости. Их-то она и искала. Откидывается в кресле, глубоко затягивается. Я, наоборот, наклоняюсь вперед — ребенок, которому разрешили посидеть за полночь со взрослыми. Вот единственное, что хорошего есть в этих вечерах, вечерах Церемонии: мне позволено смотреть новости. Это будто неписаное правило дома: мы всегда приходим вовремя, он всегда опаздывает, Яснорада всегда разрешает нам смотреть новости.

Какие уж есть: кто разберет, правдивы ли они? Может, это старые клипы, может, подделка. Но я все равно смотрю, надеюсь прочесть между строк. Теперь любые новости лучше никаких.

Для начала сообщения с линии фронта. Вообще-то она не линия — похоже, война происходит повсюду разом.

Лесистые холмы, вид сверху, деревья болезненно желтые. Настроила бы она цвета. Аппалачи, поясняет голос за кадром, откуда Четвертая дивизия Ангелов Апокалипсиса выкуривает горстку баптистских партизан. С воздуха дивизию поддерживает Двадцать второй батальон Ангелов

Света. Нам демонстрируют два черных вертолета с нарисованными серебряными крыльями на боках. Под вертолетами взрывается рощица.

Крупным планом военнопленный — лицо грязное, заросшее, по бокам два Ангела в опрятных черных мундирах. Пленный берет у Ангела сигарету, скованными руками неловко сует в рот. Криво и скупо улыбается. Ведущий что-то говорит, но я не слышу: я смотрю этому человеку в глаза, пытаюсь понять, о чем он думает. Он знает, что в кадре: эта ухмылка — презрительная или покорная? Ему стыдно, что его поймали?

Нам показывают только победы, поражения — никогда. Кому нужны дурные вести?

Может быть, он актер.

Появляется ведущий. Любезен, покровительствен, он глядит на нас с экрана — загорелый, седой, глаза честные, вокруг них мудрые морщинки, всеобщий идеальный дедушка. Все это я вам говорю, намекает его ровная улыбка, для вашего же блага. Скоро все будет хорошо. Будет мир. Верьте. Отправляйтесь в постельку, как паиньки.

Он говорит нам то, во что мы жаждем верить. Он очень убедителен.

Я ему сопротивляюсь. Он — как звезда старого

кино, говорю я себе, фальшивые зубы и лицевые подтяжки. И в то же время подаюсь к нему, точно под гипнозом. Если бы он говорил правду. Если бы я могла верить.

Вот он рассказывает нам, что подразделение Очей на основании сведений, полученных от информатора, раскрыло подпольную шпионскую шайку. Шпионы контрабандой переправляли драгоценное достояние нации через границу в Канаду.

— Пять членов еретической секты квакеров[34] были арестованы, — ласково улыбается он. — Ожидаются дальнейшие аресты.

На экране появляются два квакера, мужчина и женщина. Они перепуганы, но перед камерой стараются сохранить остатки достоинства. У мужчины темнеет большая отметина на лбу; с женщины сорвана вуаль, волосы прядями падают на лицо. Обоим лет по пятьдесят.

Вот мы видим город, опять с воздуха. Раньше это был Детройт. Голос ведущего на фоне грома артиллерии. На горизонте столбами поднима-

---

[34] Примечания: 34

[К]вакеры — христианская религиозная община, основанная в XVII в. в Англии сапожником Джорджем Фоксом (1624–1690); пацифисты, принимают основные догматы протестантизма, однако отвергают институт священников и церковные таинства, а также роскошь и развлечения.

ется дым.

— Переселение Сынов Хамовых[35] протекает по расписанию, — сообщает ободряющее розовое лицо, вернувшись на экран. — На этой неделе три тысячи прибыли в Первую Землю Предков[36], еще две тысячи находятся в пути. — Как они перевозят такие толпы народа? Поездами, автобусами? Кадров нам не показывают. Первая Земля Предков — это в Северной Дакоте. Господь ведает, к чему их там приспособят, когда переселят. Теоретически — к фермерству.

Яснорада сыта новостями. Нетерпеливо тычет в кнопку, меняет канал, обнаруживает стареющий глубокий баритон, щеки у него — как опустелое вымя.

«Шепчет надежда»[37] — вот что он поет. Ясно-

---

[35] Примечания: 35

Хам — младший сын Ноя, виновный в неуважении к отцу, когда тот, опьянев, обнаженным лежал в шатре (Быт. 9:21–22). Сторонники белого господства доказывали рабское предназначение чернокожих, ссылаясь на следующий пассаж из Книги Бытия, где Ной проклинает сына Хама: «Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему; да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему» (Быт. 9:24–27).

[36] Примечания: 36

Возвращение негритянского населения в землю предков изначально пропагандировалось Всемирной ассоциацией по улучшению положения негров, в 1914 г. основанной журналистом и общественным деятелем Маркусом Мозайей Гарви (1887–1940), а затем массовым

движением «Назад в Африку».

[37] Примечания: 37

«Шепчет надежда» («Whispering Hope», 1868) — религиозный гимн американского композитора Септимуса Уиннера (1827–1902), выступавшего под псевдонимом Элис Готорн.

рада его выключает.

Мы ждем, тикают часы в коридоре, Яснорада закуривает новую сигарету, я залезаю в машину. Субботнее утро, сентябрь, у нас еще есть машина. Многим свои пришлось продать. Меня зовут не Фредова, у меня другое имя, которым меня теперь никто не зовет: запрещено. Я говорю себе, что это не важно, имя — как телефонный номер, полезно только окружающим; но то, что я себе говорю, — неверно, имя важно. Я храню знание этого имени, точно клад, точно сокровище, и когда-нибудь я вернусь и его откопаю. Я считаю, оно похоронено. У этого имени есть аура, как у амулета, заклятие, что хранится с невообразимо далекого прошлого. Я лежу по ночам на узкой кровати, зажмурившись, и это имя, не совсем недосягаемое, трепещет перед глазами, сияет в темноте.

Субботнее утро, сентябрь, я зовусь своим сияющим именем. На заднем сиденье — маленькая девочка, она теперь мертва, с двумя любимыми куклами, с мягким кроликом, шелудивым от старости и любви. Я помню все до мелочей. Сентиментальные мелочи, но ничего не поделаешь. Нельзя долго раздумывать про кролика, нельзя разрыдаться здесь, на китайском ковре, вдыхая

дым, что побывал в теле Яснорады. Не здесь, не сейчас, это можно отложить.

Она думала, мы едем на пикник, и на заднем сиденье подле нее и впрямь корзинка для пикника с настоящей едой, вареными яйцами, термосом и всем прочим. Мы не хотели, чтобы она знала, куда мы на самом деле едем, не хотели, чтоб она выдала по ошибке, рассказала что-нибудь, если нас остановят. Не хотели возлагать на нее бремя нашей истины.

Я в походных ботинках, она в кедах. На шнурках кед — сердечки, красные, лиловые, розовые и желтые. Тепло, как не бывает в сентябре, уже листья желтели — некоторые; Люк вел машину, я сидела рядом, светило солнце, голубело небо, дома, которые мы проезжали, казались уютными и обычными, и каждый исчезал в прошлом, когда мы его миновали, мгновенно гибнул, будто его и не было никогда, потому что я его больше не увижу, — так я думала.

Мы почти ничего с собой не взяли, не хотели выглядеть так, будто собрались куда-то далеко или навсегда. Поддельные паспорта, с гарантией, стоили того, что мы заплатили. Мы, конечно, не могли расплатиться деньгами или списать их с Компусчета: мы отдали другое — драгоценности

моей бабушки, коллекцию марок, которую Люк унаследовал от дяди. Такие вещи можно обменять на деньги в других странах. Мы доберемся до границы, притворимся, что едем на денек, фальшивые визы — всего на день. Перед этим я дам ей снотворное, чтоб она спала, когда мы пересечем границу. Так она не выдаст нас. Нельзя от ребенка ждать убедительной лжи.

И я не хочу, чтоб она испугалась, уловила страх, который теперь стискивает мои мускулы, натягивает мой позвоночник, скручивает меня так туго, что я непременно сломаюсь, если меня коснуться. Каждый светофор — пытка. Мы переночуем в мотеле, а еще лучше — в машине на съезде с дороги, тогда обойдемся без подозрительных вопросов. Пересечем границу утром, переедем мост; легко и просто, как сгонять в супермаркет.

Мы сворачиваем на шоссе к северу в ручейке машин. С начала войны бензин подорожал и дефицитен. На окраине города минуем первую заставу. Им нужно только взглянуть на права, Люк отлично справляется. Права и паспорт на одно имя: мы об этом позаботились.

На шоссе он сжимает мою руку, смотрит на меня. Ты белая как полотно, говорит он.

Так я себя и чувствую: белой, плоской, тонкой.

Прозрачной. Они же все разглядят сквозь меня. Хуже того: как мне цепляться за Люка, за нее, раз я такая плоская, такая белая? От меня словно почти ничего не осталось; они оба ускользнут из рук, точно я — из дыма, точно я мираж, что у них на глазах расплывается. *Не думай об этом,* сказала бы Мойра. *Если будешь об этом думать, оно случится.*

Держись, говорит Люк. Он теперь гонит чуть быстрее, чем надо. Адреналин в голову ударил. Вот он поет. О, что за чудесное утро[38], поет он.

Меня тревожит даже его пение. Нас предупреждали, что не надо выглядеть уж очень счастливыми.

[38] Примечания: 38

«О, что за чудесное утро» («Oh What a Beautiful Morning») — песня Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна II из мюзикла «Оклахома!» (1943).

Глава 15

Командор стучит в дверь. Стучать полагается: покои — территория Яснорады, он должен просить разрешения войти. Ей нравится заставлять его ждать. Мелочь, но мелочи для домочадцев многое значат. А сегодня она даже этого не получает, потому что не успевает открыть рот, как Командор входит. Может, просто забыл протокол, а может, нарочно. Кто знает, что она ему сказала за высеребренным обеденным столом? Или не сказала.

Командор в черной форме, он в ней похож на музейного хранителя. Полупенсионер, веселый, но бдительный, убивает время. Это лишь на первый взгляд. Потом он похож на президента банка со Среднего Запада — эти прямые, старательно причесанные седые волосы, эта строгость, чуть ссутуленные плечи. А затем его усы, тоже седые, а затем подбородок, который невозможно упустить. Едва добираешься до подбородка, он начинает походить на водочную рекламу в глянцевом журнале прошедших времен.

Повадка мягкая, большие руки, пальцы толстые, а большие пальцы загребущие, голубые

глаза скрытны, обманчиво безобидны. Он оглядывает нас, будто составляет опись. Одна женщина в красном на коленях, одна женщина в голубом сидит, две в зеленом, стоят, одинокий тонколицый мужчина на заднем плане. Командор умудряется притвориться озадаченным, словно толком не помнит, откуда мы все тут взялись. Будто он нас унаследовал, как викторианскую фисгармонию, и пока не понял, что с нами делать. Чего мы стоим.

Он кивает в общем направлении Яснорады, та не произносит ни звука. Он идет к своему личному большому кожаному креслу, выуживает из кармана ключи, тычет в разукрашенную — кожа и латунь — шкатулку на столике возле кресла. Вставляет ключ, открывает шкатулку, вынимает Библию — обычная Библия, черная обложка и золотой обрез. Библию держат под замком, как раньше держали под замком чай, чтобы прислуга не растащила. Библия — подрывное устройство: кто знает, что мы оттуда почерпнем, если до нее доберемся? Нам можно зачитывать из нее — зачитывает Командор, — но нам нельзя читать. Наши головы поворачиваются к нему, мы замерли в ожидании: а вот и наша сказка на ночь.

Командор садится, кладет ногу на ногу; мы наблюдаем. Закладки на месте. Он открывает

книгу. Слегка откашливается, будто смущен.

— Можно мне воды? — спрашивает он в пространство. — Пожалуйста, — прибавляет он.

У меня за спиной кто-то — Рита или Кора — оставляет свое место в живой картине и шлепает в кухню. Командор сидит, смотрит в пол. Командор вздыхает, из внутреннего кармана кителя вынимает очки для чтения, в золотой оправе, надевает. Теперь он похож на сапожника из старой книжки сказок. Есть ли предел его личинам, его доброжелательности?

Мы наблюдаем за ним: каждый дюйм, любую дрожь.

Быть мужчиной, за которым наблюдают женщины. Как это, наверное, странно. Когда они безотрывно смотрят. Спрашивают себя: как он поступит дальше? Как они вздрагивают, едва он шевелится, пусть шевеление вполне безвредно — пепельницу взять, например. Как они его оценивают. Думают: он не может так поступить, не поступит, так не пойдет, будто он — одежка, устарелая или убогая, но все равно придется надеть, потому что больше ничего нет.

Как они примеряют его, примериваются, примиряются, и он примеривает их, как носок на ногу, на свой отросток, лишний, чувствительный

палец, щупальце, нежный слизняковый глаз на стебельке, он выталкивается, увеличивается, содрогается и съеживается вновь, если коснуться его неправильно, вновь вырастает, на кончике чуть раздувается, ползет, словно по листу, в глубь них, алчет видеть. Прозреть вот так, на этой дороге во тьму, что состоит из женщин, женщины, которая видит в темноте, а сам он слепо тянется вперед.

Она наблюдает за ним изнутри. Мы все за ним наблюдаем. Вот и все, что мы взаправду можем, и не просто так: если он оступится, упадет, умрет — что будет с нами? Неудивительно, что он — будто сапог, жесткий снаружи, формует мякоть подъема. Это лишь мои мечты. Я давно за ним наблюдаю, и он ни разу не дал слабину.

Но берегись, Командор, говорю я ему про себя. Я с тебя глаз не спущу. Один ложный шаг — и я мертва.

И все же какой ад — вот так быть мужчиной.

Какая нормальность.

Какой ад.

Какое безмолвие.

Появляется вода, Командор пьет.

— Спасибо, — говорит он. Кора шуршит на место.

Командор замирает, очи долу, проглядывает страницу. Не торопится, словно позабыл о нас. Как человек, что вилкой возит стейк по тарелке у ресторанного окна, притворяется, будто не видит глаз, что наблюдают из голодного мрака футах в трех от его локтя. Мы чуть клонимся к нему — железная стружка к его магниту. У него есть то, чего нет у нас, — у него есть слово. Как мы его транжирили когда-то.

Командор вроде бы неохотно принимается читать. Читает он неважно. Может, ему просто скучно.

Обычная история, обычные истории. Господь — Адаму, Господь — Ною. *Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю.* Затем басня о заплесневелых престарелых Рахили и Лии[39], нам это втюхивали в Центре. *Дай мне детей, а если не так, я умираю. Разве я Бог, Который не дал тебе плода чрева? Вот служанка моя Валла; войди к ней; пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее.* И так далее и тому подоб-

---

[39] Примечания: 39

См. эпиграф, а также: «Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою Зелфу, и дала ее Иакову в жены [и он вошел к ней]. И Зелфа, служанка Лиина, [зачала и] родила Иакову сына. И сказала Лия: прибавилось. И нарекла ему имя: Гад. И [еще зачала] Зелфа, служанка Лии, [и] родила другого сына Иакову. И сказала Лия: к благу моему, ибо блаженною будут называть меня женщины. И нарекла ему имя: Асир» (Быт. 30:9–13).

ное. Нам это каждый день читали за завтраком, мы сидели в школьном кафетерии, ели овсянку со сливками и коричневым сахаром. Вам, знаете ли, достается лучшее, говорила Тетка Лидия. Идет война, все по талонам. Избаловали вас, блестела она глазом, точно укоряла котят. Плохая киска.

На обед полагались Блаженства. Блаженны эти, блаженны те. Крутили на диске, мужской голос. *Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны милостивые. Блаженны кроткие. Блаженны безмолвные.* Я знала, что это они сочинили, я знала, что это неправильно и они многое опускают, но никак не проверишь. *Блаженны плачущие, ибо они утешатся.*

Когда — не говорили.

Я гляжу на часы за десертом — консервированные груши с корицей, как всегда на обед, — ищу Мойру через два стола от меня. Уже ушла. Я поднимаю руку, мне разрешают выйти. Мы это делаем нечасто и всегда в разное время суток.

В туалете, как всегда, иду во вторую от конца кабинку.

Ты тут? шепчу я.

Большая и страшная, как моя жизнь, шепчет Мойра. Что слышно? спрашиваю я.

Особо ничего. Мне надо отсюда сматываться, у

меня крыша едет.

Накатывает паника. Нет, Мойра, нет, говорю я, даже не пытайся. В одиночку — ни в коем случае.

Притворюсь больной. Пришлют «неотложку», я видела.

Доберешься только до больницы.

Хоть какое-то разнообразие. Там эти старые хрычовки не гастролируют.

Тебя вычислят.

Не боись, я талант. Я в школе не ела витамин С, у меня цинга была. На ранних стадиях не распознают. Потом заново, и ты в шоколаде. Витаминки спрячу.

Мойра, не надо.

Невыносима одна мысль, что ее не будет тут, со мной. Для меня.

В «неотложке» двух парней посылают. Ты подумай. Они же, наверное, оголодали, им даже руки в карманы не дают совать, все шансы…

Эй вы, там. Время вышло, произносит от дверей голос Тетки Элизабет. Я встаю, спускаю воду. Из дырки в стене появляются два Мойриных пальца. Только на два пальца дырки и хватает. Я торопливо касаюсь их, сжимаю. Отпускаю.

— И сказала Лия: Бог дал возмездие мне за то,

что я отдала служанку мою мужу моему[40], — говорит Командор. Роняет книгу, она захлопывается — изнуренно, точно вдалеке сама по себе захлопнулась обитая дверь: фыркает воздух. Это фырканье — намек на мягкость тонкой луковой шелухи страниц, как они шуршат под пальцами. Мягкие, сухие, крошатся, точно розовая *papier poudre* из былых времен, чтоб носик не блестел, ее вкладывали в буклеты в магазинах, где торговали свечами и мылом разных форм — как ракушки, как грибы. Точно сигаретная бумага. Точно лепестки.

Командор сидит, на миг прикрыл глаза, словно утомился. Он работает по много часов. На нем большая ответственность.

Яснорада принимается плакать. Я слышу ее за спиной. Это не впервые. Она всегда так делает по вечерам Церемонии. Старается не шуметь. Старается сохранить перед нами достоинство. Ковры и обивка заглушают плач, но мы все равно ясно слышим. Натяжение между ее потерей самообладания и попыткой его сохранить кошмарно. Как пердеж в церкви. Мне, как всегда, хочется смеяться, но не потому, что это смешно. Запах

---

[40] Примечания: 40
Быт. 30:18.

ее слез окутывает нас, и мы делаем вид, что не обращаем внимания.

Командор поднимает веки, замечает, хмурится, перестает замечать.

— А теперь мы молча помолимся, — говорит Командор. — Попросим благословения и успеха во всех наших начинаниях.

Я склоняю голову, закрываю глаза. Слушаю перехваченное дыхание, почти неслышные всхлипы, содрогания за спиной. Думаю: как она, должно быть, ненавидит меня.

Я молюсь безмолвно: *Nolite te bastardes carborundorum.* Не знаю, что это значит, но звучит уместно, пойдет, ибо я не знаю, что еще сказать Господу. По крайней мере, сейчас. На этом, как прежде выражались, перепутье. Предо мною плывут письмена с моего шкафа, нацарапанные неизвестной женщиной с лицом Мойры. Я видела, как ее увезли на «Скорой», носилки тащили два Ангела.

Что случилось? одними губами спросила я женщину рядом; такой вопрос невинен для всех, кроме фанатиков.

Жар, сложила она губами. Говорят, аппендицит.

В тот вечер я ужинала — тефтели и картофель-

ные оладьи. Стол у окна; я видела, что творится снаружи, до самых центральных ворот. Я видела, как вернулась «Скорая» — на сей раз никаких сирен. Выпрыгнул Ангел, поговорил с охранником. Охранник пошел в здание; «Скорая» так и стояла; Ангел замер к нам спиной, как учили.

Из здания вышли две Тетки с охранником. Подошли к «Скорой» с тыла. Выволокли Мойру, потащили под руки в ворота и вверх по ступенькам. Мойра еле шла. Я перестала есть, я не могла есть; все с моей стороны стола уже смотрели в окно. Зеленоватое, с такой проволочной сеткой, которую запаивали в стекло. Тетка Лидия сказала: ешьте. Подошла и опустила жалюзи.

Ее отвели в комнату, где раньше была научная лаборатория. В эту комнату никто из нас не заходил по доброй воле. Потом она неделю не могла ходить, ноги так распухли, что не влезали в туфли. Они всегда начинали с ног — за первый проступок. Стальными проводами, разлохмаченными на концах. Потом руки. Им плевать, что будет с твоими руками и ногами, пускай даже и навсегда. Не забывайте, говорила Тетка Лидия. Для наших целей ваши руки и ноги не важны.

Мойра лежала на койке — в назидание. Зря пыталась, тем более с Ангелами, сказала Альма

с соседней койки. Нам приходилось нести ее на занятия. Мы крали для нее из кафетерия пакетики с сахаром, передавали ей по ночам с койки на койку. Может, сахар ей и не требовался, но мы больше ничего не могли украсть. Дать.

Я по-прежнему молюсь, но вижу Мойрины ноги, какие они были, когда ее привели назад. Ее ноги вообще не походили на ноги. Они были словно утонувшие ноги, распухшие и бескостные, только цвет другой. Они были как человечьи легкие.

О Господи, молюсь я. *Nolite te bastardes carborundorum.*

Ты это задумывал?

Командор откашливается. Так он дает нам понять, что, по его мнению, с молитвой пора закругляться.

— Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему, — говорит он.

Занавес. Он встает. Мы свободны.

Глава 16

Церемония протекает как обычно.

Я лежу на спине, целиком одетая, не считая здоровых белых хлопковых панталон. Если б я открыла глаза, я бы увидела громадный белый полог гигантской Яснорадиной постели — колониальный стиль, полог опускается провисшим облаком — облаком, что пускает побеги крошечных капелек серебряного дождя, которые, если приглядеться, обратятся в цветочки с четырьмя лепестками. Я не увижу ковра, который тоже бел, или покрытых тканными побегами занавесей, или туалетного столика в оборках, где щетка для волос, серебряная сзади, и еще зеркало; я увижу лишь полог, который воздушностью ткани и тяжелым изгибом воплощает разом эфир и материю.

Или плавание судна-матки. Толстобрюхие корабли, говорили раньше в стихах. Обрюхаченные матки. Их движет вперед распухшее брюхо.

Дымка «Лилии долин» окружает нас — холодная, почти хрустящая. В этой комнате нет тепла.

Надо мной, ближе к изголовью, расположилась, раскинулась Яснорада. Ее ноги раздвинуты, я

лежу между ними головой у нее на животе, ее лобковая кость тычет в основание моего черепа, ее бедра по бокам от меня. Она тоже целиком одета.

Руки мои подняты; она обеими руками держит за руки меня. Это должно символизировать единство нашей плоти, нашего бытия. На самом же деле это означает, что она контролирует и процесс, и, соответственно, продукт. Если будет продукт. Кольца на ее левой руке вгрызаются в мои пальцы. Может, месть, а может, нет.

Моя красная юбка задрана до пояса — не выше. Ниже ебет Командор. Ебет он нижнюю половину моего тела. Я не говорю, что он занимается любовью, ибо он ею не занимается. «Совокупление» тоже будет неточно, поскольку оно подразумевает двух людей, а участвует только один. И изнасилование не описывает процесс: все, что здесь творится, я приняла добровольно. Особого выбора не было, но некий был, и я выбрала это.

И потому я лежу недвижно и воображаю невидимый полог над головой. Я вспоминаю, что посоветовала дочери королева Виктория. *Закрой глаза и думай об Англии.* Однако здесь не Англия. Поспешил бы он, что ли.

Может, я сошла с ума, а это какая-то новая те-

рапия.

Хорошо бы это была правда; тогда я излечусь, и все это исчезнет.

Яснорада стискивает мои руки, словно ебут ее, а не меня, словно ей приятно или больно, а Командор ебет себе, размеренная маршевая отмашка на два-четыре, все ебет и ебет, будто из крана капает. Он отрешен, как человек, который мурлычет под нос в душе, не сознавая, что мурлычет; как человек, который думает о своем. Как будто он не здесь, ждет, когда сам же кончит, в ожидании барабаня пальцами по столу. Теперь в его ритме — нетерпение. Но ведь это же всеобщая голубая мечта, две женщины разом, нет? Так прежде говорили. Это так возбуждает, говорили прежде.

То, что происходит в этой комнате под серебристым пологом Яснорады, никого не возбуждает. Здесь ни при чем страсть, любовь, романтика, любые понятия, которыми когда-то мы щекотали себе нервы. Ни при чем желание — во всяком случае, для меня, и для Яснорады явно тоже. Возбуждение и оргазм более не считаются обязательными; они будут просто симптомом несерьезности, как фривольные подвязки или мушки: они — излишний повод отвлечься для легкомысленных. Устарели. Странно, что когда-

то женщины столько времени и сил тратили на чтение о таких вещах, думали о них, переживали, писали. Все это столь очевидно развлекательно.

А вот это — не развлечение, даже для Командора. Серьезное дело. Командор тоже исполняет долг.

Если бы я чуточку приоткрыла глаза, я бы увидела его, это не отталкивающее лицо, нависшее над моим торсом; может, несколько серебряных прядей упали Командору на лоб, Командор устремлен к цели внутреннего своего путешествия, туда, куда он так спешит, и цель отступает, точно во сне, с той же скоростью, с которой движется к ней Командор. Я увижу его открытые глаза.

Будь он привлекательнее, я бы наслаждалась больше?

Он хотя бы — шаг вперед по сравнению с предыдущим, который пах, как церковный гардероб в дождь; как рот, когда стоматолог начинает ковыряться у тебя в зубах; как ноздря. Командор же пахнет нафталином — или это какая-то карательная разновидность лосьона после бритья? Зачем ему носить эту дурацкую форму? Но разве больше бы мне понравилось его белое, взъерошенное сырое тело?

Целоваться нам запрещено. Так что вытерпеть можно.

Отстраняешься. Описываешь.

В итоге он кончает, о чем полузадушенным стоном, будто облегчения, объявляет Яснорада, затаившая дыхание. Командор, опираясь на локти, подальше от наших слившихся тел, не позволяет себе рухнуть на нас. Минуту отдыхает, отодвигается, отступает, застегивается. Кивает, затем разворачивается и выходит из комнаты, с преувеличенной осторожностью прикрывая за собой дверь, словно мы обе — его болящая мать. Есть в этом нечто комичное, но я не смею хихикнуть.

Яснорада отпускает мои руки.

— Можешь встать, — говорит она. — Вставай и убирайся. — Мне предписан отдых — десять минут лежа, задрав ноги на подушку, чтоб увеличить шансы. Ей в это время полагается молча медитировать, но она не в настроении. В голосе ее отвращение, словно одно касание моей плоти тошнотворно, заразно. Я выпутываюсь из ее тела, встаю; соки Командора текут по ногам. Я отворачиваюсь, но успеваю заметить, как она расправляет голубую юбку, сжимает ноги; она так и лежит на постели, глядя на полог вверху,

окаменелая и прямая, словно чучело.

Кому из нас хуже, ей или мне?

Глава 17

Вот что я делаю, вернувшись в свою комнату:

Раздеваюсь и натягиваю ночнушку.

Нащупываю в носке правой туфли плюху масла, которую спрятала после ужина. В шкафу слишком тепло, масло полужидкое. В основном впиталось в салфетку, которой я его обернула. Теперь у меня в туфле масло. Не впервые, потому что всякий раз, когда дают масло или маргарин, я его припрятываю таким вот образом. Большую часть я сотру с подкладки мочалкой или туалетной бумагой из ванной — завтра.

Я натираю маслом лицо, втираю в руки. Крема для рук или для лица больше не бывает — по крайней мере, для нас. Кремы объявлены тщетой. Мы — контейнеры, важны только наши внутренности. Наружность может задубеть и сморщиться, как ореховая скорлупка, — им наплевать. Это указ Жен — отсутствие крема для рук. Они не хотят, чтобы мы были привлекательны. Им и без того тяжко.

Масло — трюк, которому я научилась в Центре Рахили и Лии. Красный Центр, называли его мы, потому что красного там было полно. Моя

предшественница в этой комнате, моя подруга с веснушками и веселым хохотком, наверное, тоже так делала, умасливалась. Мы все так делаем.

Пока мы так делаем, пока масло смягчает нашу кожу, мы в состоянии верить, что однажды выйдем на волю, что нас вновь коснутся в любви или желании. У нас будут свои церемонии, личные.

Масло жирное, оно протухнет, я буду вонять засохшим сыром, но это хотя бы, как выражались прежде, органика.

Вот до каких ухищрений мы докатились.

Намаслившись, я ложусь на кровать, плоская, точно гренок. Спать не могу. В полутьме гляжу в слепое штукатурное око посреди потолка, и оно смотрит на меня, хоть и не видит. Ни ветерка, белые занавески безвольно обвисли, точно марлевые бинты, они тускло сияют в нимбе прожектора, что освещает этот дом в ночи, — или снаружи луна?

Я откидываю простыню, осторожно встаю на бесшумные босые ноги, в ночнушке подхожу к окну, точно ребенок, — хочу посмотреть. И жалась луна к груди первого снега[41]. Небо чисто,

[41] Примечания: 41

Цитата из стихотворения Клемента Кларка Мура «Ночь перед Рождеством, или Визит св. Николаса» (1823).

но из-за прожекторов не разглядишь; и все-таки да, в смутном небе плывет луна, новорожденный месяц для желаний, осколок древней скалы, богиня, смешок. Луна — камень, и небеса полны смертельных железяк, но, Господи, как все же красиво.

Я так хочу, чтобы здесь был Люк. Я хочу, чтоб меня обняли и назвали по имени. Я хочу, чтоб меня ценили, как не ценят; я хочу быть не просто ценной. Я повторяю мое прошлое имя, напоминаю себе о том, что когда-то умела, о том, что во мне видели остальные. Я хочу что-нибудь украсть.

В коридоре горят ночники, длинная пустота светится нежно-розовым; я иду, сначала одну ногу осторожно вперед, затем другую, ни единого скрипа, по ковровой дорожке, я крадусь по ночному дому, точно по лесу, колотится сердце. Я не на месте. Это решительно противозаконно.

Вниз мимо рыбьего глаза на стене — я вижу белый силуэт, тело как палатка, волосы по спине гривой, глаза блестят. Мне нравится. Я что-то делаю сама по себе. Активный — это спряжение? Напряжение. Я бы хотела украсть нож из кухни, но пока не готова.

Вот и покои, дверь приоткрыта, я проскальзываю внутрь, не закрываю дверь до конца.

Деревянный скрип, но кто здесь расслышит? Стою, жду, когда зрачки расширятся, словно у кошки или совы. Старые духи, тряпочная пыль наполняет ноздри. В комнате легкая дымка света — из щелей вокруг задернутых портьер, от прожектора снаружи, где, несомненно, патрулем ходят двое, я видела их сверху из-за моих занавесок, темные формы, силуэты. Теперь я вижу наброски, проблески: зеркало, основания ламп, вазы, облаком в сумерках маячит диван.

Что мне взять? То, чего никто не хватится. В лесной чаще, в ночи, волшебный цветок. Увядший нарцисс, не из сухой икебаны. Нарциссы скоро выбросят, они уже пахнут. Вместе с Яснорадиными застоявшимися духами, вонью ее вязанья.

Я нашариваю тумбочку, щупаю. Звяк — наверное, я что-то уронила. Нахожу нарциссы, хрусткие по краям, где высохли, обмякшие ближе к стеблю, отщипываю пальцами. Где-нибудь засушу. Под матрасом. Оставлю там следующей женщине, той, что придет за мной, она его найдет.

Но в комнате кто-то есть, у меня за спиной.

Шаг, тихий, как и мой, скрип той же половицы. Дверь закрывается с тишайшим щелчком, отрезает свет. Я застываю: белое — это ошибка. Я — снег в лунном свете, даже во тьме.

Затем шепот:

— Не кричи. Все в порядке.

Можно подумать, я закричу, можно подумать, все в порядке. Я поворачиваюсь: только очертания, тусклый обесцвеченный промельк скулы.

Он шагает ко мне. Ник.

— Ты что тут делаешь?

Я не отвечаю. Он тоже нарушает закон, вместе со мной, он меня не выдаст. И я его тоже; на мгновение мы — отражение друг друга. Он сжимает мой локоть, притягивает меня к себе, его рот накрывает мои губы, а что еще родится из такой нужды? Без единого слова. Нас обоих трясет; как бы я хотела. В гостиной Яснорады среди сушеных цветов на китайском ковре его худое тело. Совершенный незнакомец. Это будет как закричать, это будет как застрелить кого-нибудь. Моя рука ползет вниз, а что на это скажешь, я могла бы расстегнуть, и тогда. Но слишком опасно, он это знает, мы отталкиваем друг друга, несильно. Чересчур доверия, чересчур риска, уже чересчур.

— Я тебя искал, — говорит он, выдыхает почти мне в ухо. Я хочу встать на цыпочки, лизнуть его кожу, он будит во мне голод. Его пальцы движутся, нащупывают плечо под рукавом ночнушки, будто не слушают голоса разума. Так хорошо,

когда тебя кто-то касается, когда трогает жадно, когда трогает жадность. Люк, ты увидишь, ты поймешь. Это ты, в ином теле. Херня.

— Зачем? — спрашиваю я. Неужто ему так тяжело, что он рискнул прийти ко мне в комнату среди ночи? Я думаю о повешенных на крюках, на Стене. Я еле держусь на ногах. Надо уходить, назад, к лестнице, пока я совсем не исчезла. Его рука у меня на плече, крепко держит, тяжелая, давит теплым свинцом. И за это я умру? Я трусиха, я не переношу мысли о боли.

— Он велел, — отвечает Ник. — Он хочет тебя видеть. У себя в кабинете.

— О чем ты? — спрашиваю я. Очевидно, о Командоре. Видеть меня? Что значит — *видеть?* Ему что — мало?

— Завтра, — говорит он еле слышно. В темной гостиной мы отодвигаемся друг от друга, медленно, будто сцеплены силой, течением, разорваны столь же сильными руками.

Я нахожу дверь, поворачиваю ручку — пальцы на прохладном фаянсе, — открываю. Вот и все, что я могу.

VII. Ночь

Глава 18

Я лежу в постели, еще дрожу. Можно смочить ободок бокала, провести по нему пальцем, и бокал издаст звук. Вот так я себя и чувствую: звуком стекла. Словом *дребезг.* Я хочу быть с кем-нибудь.

Лежу в постели с Люком, его рука на моем округлившемся животе. Мы втроем в постели, она брыкается, ворочается внутри меня. За окном гроза, потому она и проснулась, они слышат, они спят, они пугаются даже там, где уютный плеск сердца — точно пульс волн на берегу вокруг. Вспышка молнии, довольно близко, Люковы глаза на долю секунды белеют.

Я не боюсь. Сна ни в одном глазу, зарядил дождь, мы будем неторопливы и осторожны.

Если б я думала, что это никогда не повторится, я бы умерла.

Но это чушь, от недостатка секса никто не умирает. Умирают от недостатка любви. Мне здесь некого любить; все, кого я могла любить, умерли или ушли. Кто знает, где они сейчас или как их теперь зовут? Они вполне могут быть нигде, как

и я для них. Я тоже без вести пропавшая.

Временами я вижу их лица во мраке, они мерцают, точно лики святых в древнем иностранном соборе, в огоньках сквозистых свечей; свечей, которые зажигаешь, чтобы помолиться на коленях, лбом на деревянном парапете, в надежде на ответ. Я могу вызвать их, но они лишь мираж, они ненадолго. Виновна ли я, что хочу реальное тело, хочу кого-то обнять? Без этого я тоже бестелесна. Можно слушать, как сердце стучит о пружины кровати, можно гладить себя под сухими белыми простынями в темноте, но я сама слишком суха, и бела, и жестка, зерниста; все равно что вести пальцами по тарелке высушенного риса; по снегу. В этом нечто от смерти, нечто от пустыни. Я — словно комната, где прежде что-то случалось, а теперь не случается ничего, лишь пыльца сорняков, что растут за окном, носится по полу, будто пыль.

Вот во что я верю.

Я верю, что Люк ничком лежит в чаще, в сплетенье папоротников, среди бурых разлапистых листьев прошлого года, под зеленью, только пробудившейся, или, может, под канадским тисом, хотя для красных ягод рановато. Все, что от него осталось: волосы, кости, клетчатая шерстяная

рубашка, черно-зеленая, кожаный ремень, тяжелые ботинки. Я точно знаю, во что он был одет. Я вижу его одежду отчетливо, как на литографии или в полноцветной рекламе из древнего журнала, а его лицо — нет, не так четко. Его лицо уже расплывается — может, потому, что всегда было разным: у лица различны выражения, у одежды выражений нет.

Я молюсь, чтобы отверстие, или два, или три — выстрел был не один, стреляли подряд, — я молюсь, чтобы хоть одно отверстие было аккуратно, быстро и окончательно в черепе, там, где возникали все картинки, чтобы одна только вспышка тьмы или боли, тупой, я надеюсь, как слово *бух,* только одна, а затем молчание.

Я в это верю.

Еще я верю, что Люк сидит в прямоугольнике серого бетона на выступе или на краю чего-нибудь, кровати или стула. Бог знает, что на нем надето. Бог знает, куда его загнали. Бог — не единственный, кто знает, так что, может, есть способы выяснить. Он год не брился, хотя его коротко стригут, когда им охота, говорят — чтоб не было вшей. Тут мне надо обдумать: если из-за вшей стригут волосы, бороду тоже должны стричь. Казалось бы.

В общем, стригут они плохо, волосы клочьями, загривок порезан, и это еще не самый ужас, он выглядит на десять лет старше, на двадцать, он согбен, как старик, мешки под глазами, лиловые сосудики просвечивают на щеках, шрам, нет, рана, еще не зажила, она цвета тюльпанов ближе к стеблю, слева на лице, где недавно рассекли плоть. Тело так просто повредить, от него так просто избавиться, вода и химикалии, кроме этого ничего и нет, немногим больше, чем медуза, что сохнет на песке.

Ему больно двигать руками, больно двигаться. Он понятия не имеет, в чем его обвиняют. Проблема. Должно быть что-то, какое-то обвинение. Иначе зачем его держат, почему он еще не мертв? Он, наверное, знает то, что хотят знать они. Невообразимо. Невообразимо, что он до сих пор им не сказал, о чем бы ни шла речь. Я бы сказала.

Его обволакивает его собственная вонь, вонь запертого зверя в грязной клетке. Я представляю, как он отдыхает, потому что невыносимо представлять его в любой другой момент, как невозможно представить то, что ниже воротника, выше наручников. Не хочу думать, что они сделали с его телом. Есть ли у него обувь? Нет, а пол холодный и сырой. Знает ли он, что я здесь,

я жива, я о нем думаю? Мне приходится в это верить. В стесненном положении волей-неволей веришь всему на свете. Я теперь верю в телепатию, в вибрации эфира, всякую такую муру. Прежде не верила.

Я также верю, что его не поймали, его все-таки не догнали, не загнали, что он справился, добрался до берега, переплыл реку, пересек границу, выволок себя на дальний пляж, на остров, стуча зубами, добрел до ближайшей фермы, его впустили, сначала не без подозрений, но затем, когда поняли, кто он, стали дружелюбны, не из тех, кто доносит, может, квакеры, они тайком переправили его в глубь страны, из дома в дом, женщина приготовила ему горячего кофе, дала мужнину одежду. Я воображаю одежду. В утешение себе одеваю его потеплее.

Он связался с остальными, наверняка существует сопротивление, правительство в изгнании. Должен же там кто-нибудь заниматься делом. Я верю в сопротивление, как верю, что не бывает света без тени; или, скорее, не бывает тени, если нет света. Должно быть сопротивление, иначе откуда берутся преступники по телевизору?

Может, вот-вот от него передадут весточку. Самым неожиданным образом, через самого

неожиданного человека, которого я бы и не заподозрила. Под тарелкой на обеденном подносе? Скользнет мне в руку, едва я протяну талоны через прилавок во «Всякой плоти»?

В послании будет сказано, что надо подождать: рано или поздно он вытащит меня, мы найдем ее, куда бы ее ни запрятали. Она вспомнит нас, и мы будем вместе, втроем. А пока надо потерпеть, надо беречь себя на потом. То, что произошло со мной, что происходит теперь, ни на что не повлияет, он все равно любит меня, он знает, что моей вины нет. Об этом тоже будет в послании. И вот это послание, которое, возможно, никогда не придет, не дает мне умереть. Я верю в послание.

Все мои символы веры не могут быть истинны, но один из них — правдив наверняка. Однако я верю во все это сразу, во все три версии Люка. Эта противоречивая вера кажется мне сейчас единственно возможным путем веры во что бы то ни было. Какова ни есть правда, я буду к ней готова.

В это я тоже верю. Оно тоже может быть ложно.

На одном надгробии на кладбище возле самой первой церкви выбиты якорь, и песочные часы, и слова: *В уповании.*

В уповании. Зачем это написали над мертве-

цом? Это труп уповает или те, кто остался жить? Люк — уповает?

VIII. День Рождения

Глава 19

Мне снится, что я проснулась.

Мне снится, что я вылезаю из постели, иду по комнате, другой комнате, и открываю дверь — не эту. Я дома, в одном из домов, и она бежит мне навстречу босиком, в коротенькой зеленой ночнушке с подсолнухом на груди, и я ее обнимаю, ее руки и ноги обхватывают меня, и я начинаю плакать: я понимаю, что сплю. Я опять в этой кровати, пытаюсь проснуться и просыпаюсь, сижу на краешке постели, и входит моя мать с подносом, спрашивает, получше ли мне. Когда я болела в детстве, ей приходилось сидеть дома, пропускать работу. Но и в этот раз я не проснулась.

После этих снов я просыпаюсь и знаю, что по правде проснулась, потому что на потолке венок, а занавески повисли седыми космами утопленницы. Я словно обдолбана. Может, мне подсыпают наркотики, раздумываю я. Может, я считаю, что так живу, а на самом деле это параноидальная делюзия.

Надежды нет. Я знаю, где я, кто я, какой сегодня день. Такова проверка, и я в здравом рассудке. Здравый рассудок — ценное имущество. Я коплю

его, как прежде копили деньги. Экономлю, чтобы хватило, когда придет время.

Серость вползает сквозь занавески, туманно ясная, маловато сегодня солнца. Я вылезаю из постели, подхожу к окну, коленями становлюсь на канапе, где жесткая подушечка ВЕРА, выглядываю. Смотреть не на что.

Интересно, что стало еще с двумя подушечками. Наверняка прежде было три. НАДЕЖДА и ЛЮБОВЬ[42] — куда их дели? У Яснорады страсть к порядку. Она бы не выбросила, если вещь не износилась. Одну Рите, одну Коре?

Звенит колокол, я встала раньше, загодя. Одеваюсь, не глядя вниз.

Я сижу на стуле и думаю о слове *сидеть.* Восседающий во главе заседания — председатель. Сидеть — отбывать срок в тюрьме. Начало то же, что и в слове *сидр.* Французское слово *ci-dessous* — нижеследующий. Все эти факты абсолютно друг с другом не связаны.

Вот такие литании помогают мне настроиться.

Передо мною поднос, на подносе — стакан яблочного сока, витаминка, ложка, тарелка с

[42] Примечания: 42

"А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» (1 Кор. 13:13).

тремя побуревшими гренками, розетка с медом и еще тарелочка, на которой стоит рюмка для яйца — такая, в форме женского торса в юбке. Второе яйцо — под юбкой, чтоб не остыло. Белая фарфоровая рюмка с синей каймой.

Первое яйцо белое. Я чуть отодвигаю рюмку, и теперь она в водянистом солнечном свете, он плывет в окно, падает на поднос, расцветая, затухая, расцветая снова. Яичная скорлупка гладкая, но зернистая; крупинки кальция высвечены солнцем, точно лунные кратеры. Ландшафт бесплодный, однако совершенный; из тех пустынь, куда удалялись святые, дабы мысли их не отвлекало изобилие. Я думаю, вот так и выглядит Господь: как яйцо. Возможно, на Луне жизнь не на поверхности, а внутри.

Яйцо сияет, будто в нем своя энергия. Острейшее блаженство — смотреть на яйцо.

Солнце прячется, и яйцо блекнет.

Я вынимаю яйцо из рюмки и минуту ощупываю. Оно теплое. Женщины носили яйца между грудями — высиживали. Наверное, приятно.

Минималистская жизнь. Блаженство — это яйцо. Благословения сочтешь по пальцам одной руки. Но возможно, так мне и положено воспринимать. У меня есть яйцо — чего еще мне

хотеть?

В стесненном положении жажда жизни цепляется к удивительным предметам. Хорошо бы зверушку завести: птичку, скажем, или кошку. Домашнего духа. Что угодно домашнее. На крайний случай сойдет и крыса, но шансов ноль. Слишком чистый дом.

Я ложкой отщипываю верхушку яйца и съедаю его нутро.

Доедая второе яйцо, я слышу сирену: поначалу она из далекой дали спиралью вьется ко мне меж больших домов и стриженых газонов, тонкий насекомый писк; затем ближе, раскрывается звуковым соцветьем трубы. Воззвание — вот что такое эта сирена. Я откладываю ложку, сердце колотится, я снова подхожу к окну: голубая, не за мной? Но я вижу, как она выворачивает из-за угла, едет по улице, тормозит перед домом, не приглушая рева, и она — красная. Веселье в миру[43], оно редко теперь случается. Я оставляю второе яйцо недоеденным, бегу к шкафу за на-

[43] Примечания: 43

“Веселье в миру» («Joy to the World») — популярный рождественский гимн. Стихи по мотивам Псалма 97 в 1719 г. написал английский автор церковных гимнов Айзек Уоттс (1674–1748); мелодией гимна в 1836 г. стал фрагмент оратории немецкого композитора Георга-Фридриха Генделя «Мессия» (1742), аранжированный американцем Лоуэллом Мейсоном (1792–1872) и получивший название «Антиох».

кидкой и уже слышу на лестнице голоса, шаги.

— Поторапливайся, — говорит Кора, — я целый день ждать не могу, — и подает мне накидку, и взаправду улыбается.

Я едва не бегу по коридору, лестница — точно лыжня, парадная дверь распахнута, сегодня я могу выйти через нее, и Хранитель стоит, отдает честь. Начинается дождь, морось, и тяжкий аромат земли и травы наполняет воздух.

На дорожке припаркован красный Родомобиль. Сзади открыто, я карабкаюсь внутрь. Коврик на полу красный, окна занавешены красными шторками. Внутри уже три женщины, сидят на боковых скамьях вдоль стенок. Хранитель захлопывает и запирает двойные дверцы, забирается на переднее сиденье к водителю; через застекленную сетку нам видны их затылки. Машина рвет с места, над головой верещит сирена: дорогу, дорогу!

— Кто? — спрашиваю я соседку; прямо ей в ухо — туда, где под белым чепцом должно быть ухо. Так шумно, что приходится почти кричать.

— Уорренова, — кричит она в ответ. Порывисто хватает меня за руку, стискивает, машина прыгает за угол; женщина оборачивается, и я вижу ее лицо, по щекам текут слезы — что за слезы?

Разочарование, зависть? Но нет, она смеется, обхватывает меня руками, я ее впервые вижу, она обнимает меня, у нее большая грудь под красным одеянием, она рукавом обтирает лицо. В такой день мы можем делать, что заблагорассудится.

Поправка: в определенных пределах.

Напротив нас на другой скамье женщина молится, зажмурившись, прижав руки ко рту. А может, не молится. Может, грызет ногти. Возможно, пытается сохранить спокойствие. Третья женщина уже спокойна. Сидит скрестив руки, слегка улыбается. Сирена все воет. Прежде это был вой смерти, «Скорой» или пожарных. Не исключено, что и сегодня это вой смерти. Мы скоро узнаем. Что родит Уорренова? Чадо, как все мы надеемся? Или нечто иное, Нечадо, с булавочной головкой, или песьей мордой, или двумя телами, или дыркой в сердце, или безрукое, или с перепончатыми руками-ногами? Заранее не выяснить. Прежде выясняли, была техника, но теперь это незаконно. Да и что толку знать? Их нельзя вынуть; что бы там внутри ни было, нужно донашивать.

Шансы — один к четырем, мы это выучили в Центре. Когда-то в воздухе оказалось слишком много химикатов, лучей, радиации, вода кишела

токсичными молекулами, на очистку потребны годы, а грязь тем временем просачивается в тело, расселяется по жировым клеткам. Кто знает, а вдруг твоя собственная плоть заражена, замарана, как нефтяной пляж, бесспорная смерть береговых птиц и нерожденных детей. Может, стервятник бы сдох, пообедав тобою. Может, у тебя голова светится в темноте, как старомодные часы. Мертвая голова. Такая бабочка, предвещает смерть.

Я порой не могу вообразить себя, свое тело, не различая скелета: как меня увидит электрон. Костистая колыбель жизни; а внутри — опасности, покоробленные белки, окривевшие кристаллы, зазубренные, как стекло. Женщины глотают препараты, таблетки, мужчины опрыскивают деревья, коровы жуют траву, пришпоренная моча устремляется в реки. Не говоря о взрывах на атомных электростанциях, да еще разлом Сан-Андреас[44], который никто не ломал, и землетрясения, и мутировавший штамм сифилиса, к которому не подступится ни один пенициллин.

---

[44] Примечания: 44

Разлом Сан-Андреас — разлом в земной коре длиной около 960 км, от мыса Мендосино на северо-западе Калифорнии до пустыни Колорадо; сейсмическая активность в нем зачастую вызывает калифорнийские землетрясения.

Некоторые делали это сами, зашивали себя кетгутом, уродовали химикалиями. Как они могли, говорила Тетка Лидия, о, как они могли так поступить? Иезавели![45] Презреть дары Божии! И заламывала руки.

Да, вы рискуете, говорила Тетка Лидия, но вы — ударные батальоны, вы первыми выдвигаетесь на опасную территорию. Чем выше риск, тем больше слава. Она сжимала руки, сияя от нашей дутой отваги. Мы пялились в парты. Пройти через все это и подарить жизнь какому-нибудь дезинтегратору: малоприятная мысль. Мы точно не знали, что делают с детьми, которые не прошли контроля, объявлены Нечадами. Но мы знали, что их куда-то поспешно девают, подальше.

Причин было множество, говорит Тетка Лидия. В платье хаки она стоит в голове класса с указкой в руке. На доску, где прежде висела бы карта, вытянут график, уровень рождаемости на тысячу, годами: скользкий наклон, ниже нулевой отметки возмещения потерь, и все ниже, ниже.

Разумеется, некоторые женщины полагали, что будущее не наступит, считали, что мир разле-

[45] Примечания: 45

Иезавель — жена израильского царя Ахава, способствовала обращению Израиля к идолопоклонству, пропагандировала поклонение Ваалу и уничтожала пророков (3 Цар. 16–21; 4 Цар. 9).

тится на куски. Вот какой они надумали предлог, говорит Тетка Лидия.

Говорили, что нет смысла размножаться. Теткины ноздри почти схлопываются: какая испорченность. Ленивицы, говорит она. Шлюхи.

На моей парте по дереву вырезаны инициалы и даты. Порой инициалы — двумя группами, объединенными словом *любит. Дж. Х. любит Б.П. 1954. О.Р. любит Л.Т.* Словно письмена, о которых я читала, выдолбленные на стенах каменных пещер или нарисованные смесью золы и животного жира. Мне они кажутся невероятно древними. Столешница светлого дерева, наклонная, а справа подлокотник, чтобы опираться, когда пишешь на бумаге авторучкой. В парте можно вещи хранить — книги, блокноты. Эти привычки былых времен ныне кажутся расточительством, почти декадентством; аморальностью, как оргии варварских режимов. *М. любит Дж., 1972.* Эта резьба, карандаш сто тысяч раз вгрызся в ветхую полировку, обладает пафосом всех исчезнувших цивилизаций. Как отпечаток руки на камне. Тот, кто это написал, когда-то жил.

Дат позже середины восьмидесятых нет. Наверное, эту школу, одну из многих, закрыли тогда за недостатком детей.

Они ошибались, говорит Тетка Лидия. Мы не собираемся идти по их стопам. Голос праведный, снисходительный, голос тех, чей долг — ради нашего же блага сообщать нам дурные известия. Я бы ее придушила. Я отбрасываю эту мысль почти сразу, едва она возникает.

Вещь ценна, говорит Тетка Лидия, только если она редка и ее сложно достать. Мы хотим, девочки, чтобы вас ценили. Она щедра на паузы, она смакует их во рту. Считайте себя жемчужинами. Мы сидим рядами, очи долу, от нас у нее морально текут слюнки. Мы отданы ей на определение, мы обречены терпеть ее эпитеты.

Я думаю о жемчужинах. Жемчуг — сгустившаяся устричная слюна. Потом скажу об этом Мойре; если удастся.

Мы займемся вашей огранкой, весело объявляет довольная Тетка Лидия.

Фургон останавливается, задние дверцы открыты, Хранитель выгоняет нас наружу. У парадных дверей стоит другой Хранитель, на плече у него болтается курносый автомат. Мы гуськом идем к дверям, моросит, Хранитель отдает честь. Большой фургон Явления с оборудованием и выездными врачами припаркован чуть дальше на круговой развязке. Я вижу врача, он выглядывает

из окошка. Интересно, чем они там заняты, пока ждут. Наверняка играют в карты или читают; какие-нибудь мужские забавы. Эти врачи по большей части вообще не нужны; их пускают, только если иного выхода нет.

Прежде было иначе, прежде они командовали. Какой стыд, говорила Тетка Лидия. Стыдно. Она только что показала нам фильм, кино про больницу прошедшего времени: беременная женщина, проводами подключенная к машине, у роженицы отовсюду торчат электроды, она похожа на сломанного робота, внутривенная капельница впилась в руку. Какой-то мужчина с фонариком заглядывает ей между ног, где ее обрили, простая безбородая девчонка, целый поднос стерилизованных ножей, все люди в масках. Покладистая пациентка. Когда-то роженицу накачивали лекарствами, провоцировали схватки, разрезали, зашивали. Больше ничего подобного. Даже обезболивания никакого. Тетка Элизабет говорила, что так лучше для ребенка, но кроме того: *Умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей.* Это мы получали за обедом, кукурузный хлеб и сэндвичи с латуком.

Поднимаясь по ступенькам — широкие сту-

пеньки, каменные урны по бокам, Командор Уорреновой, должно быть, рангом выше нашего, — я вновь слышу сирену. Голубой Родомобиль, для Жен. Торжественная доставка Яснорады. Им — не скамьи, у них настоящие кресла с обивкой. Лицом вперед, никаких занавесок. Они знают, куда едут.

Возможно, Яснорада уже бывала в этом доме, приходила к чаю. Возможно, Уорренову, в прошлом — реву-корову Джанин, выводили к Яснораде, к ней и к другим Женам, чтобы полюбовались пузом или даже пощупали, поздравили Жену. Крепкая девочка, сильные мускулы. В роду — ни следа «Оранжевого Агента»[46], мы проверили медкарты, осторожность лишней не бывает. И может, одна из тех, что подоброе: хочешь печенья, милая?

О нет, вы ее избалуете, им вредно много сахара.

Но от одного-то вреда не будет, всего разик, Милдред.

И тошнотворная Джанин: ах, госпожа, ну пожа-

---

[46] Примечания: 46

"Оранжевый Агент» — отравляющее вещество, применявшееся ВВС США во время войны во Вьетнаме в 1964–1973 гг.; его воздействие вызывает ряд тяжелых хронических заболеваний — в частности, жертва «Оранжевого Агента» с немалой вероятностью произведет больного ребенка.

луйста, можно?

Такая… так хорошо себя ведет, не куксится, они вечно куксятся, делают свое дело — и все, привет. Тебе, можно сказать, почти как дочь. Член семьи. Уютные смешки матрон. Ну все, милая, можешь возвращаться к себе.

И после ее ухода: шлюшки, все до единой, но тут уж не попривередничаешь. Бери, что дают, — так, девчонки? Это Жена Командора говорит.

Ах, но тебе так *повезло.* Некоторые, да боже мой, они ведь еще и грязные. Ни улыбочки, хандрят себе в комнате, даже голову не моют, *пахнут.* Я велю Марфам, чуть не силком ее в ванну запихиваешь, можно сказать, подкупаешь ее, чтоб хотя бы помылась, угрожаешь ей — а что делать?

Я-то со своей сурово обошлась, так она теперь почти не ужинает; а что касается остального, так ни капли, а у нас так регулярно было. Но эта твоя — она делает тебе честь. И ведь вот-вот, ах, ты же волнуешься, она прямо как слон, ты, наверное, ждешь не дождешься.

Еще чаю? Скромно меняет тему.

Я-то знаю, что там творится.

А Джанин наверху, у себя в комнате — что она делает? Сидит, во рту сахарный привкус, она облизывается. Смотрит в окно. Вдыхает, выдыхает.

Гладит распухшие груди. Думает ни о чем.

Глава 20

Центральная лестница шире нашей, изгибаются перила. Наверху речитативом распевают женщины, которые прибыли раньше. Мы поднимаемся по лестнице след в след, стараясь не наступать друг другу на волочащиеся подолы. Слева раскрыты двойные двери в столовую, внутри длинный стол под белой скатертью и угощение: ветчина, сыр, апельсины — у них апельсины! — и свежеиспеченный хлеб, и кексы. Мы получим молоко и сэндвичи на подносе, позже. А у них имеется кофейник и винные бутылки, ибо отчего бы Женам не поддать слегка в столь знаменательный день? Сначала они подождут результатов, затем нажрутся. Они собрались в покоях по другую сторону лестницы, подбадривают Жену Командора, Жену Уоррена. Маленькая худенькая женщина в белой ночной рубашке, она лежит на полу, седеющие волосы плесенью расползлись по ковру; Жены массируют ей крошечный животик, как будто она вот-вот родит сама.

Командора, естественно, не видать. Он ушел туда, куда уходят в таких случаях все мужчины, —

прячется в убежище. Может, вычисляет, когда ему объявят о повышении, если все пройдет как надо. Теперь-то его наверняка повысят.

Уорренова — в господской спальне; удачное название. В спальне, где каждый вечер укладываются Командор и его Жена. Уорренова сидит на двуспальной кровати, опираясь на подушки; Джанин, раздутая, но стесненная, из нее выжали прежнее имя. Она в белой хлопковой сорочке, завернутой до бедер; длинные волосы цвета веника оттянуты назад и завязаны на затылке, чтоб не мешались. Веки зажмурены, и в таком виде она мне почти нравится. В конце концов, она одна из нас, чего она хочет в этой жизни — жить пристойнее, насколько возможно, и все. Чего еще хочет любая из нас? *Возможно* — вот в чем загвоздка. В сложившихся условиях она неплохо справляется.

Две незнакомые женщины подпирают ее с флангов, тискают ей руки — или она им. Третья поднимает ее сорочку, льет детское масло на холм живота, втирает ниже. В ногах стоит Тетка Элизабет в платье хаки с армейскими нагрудными карманами; она преподавала нам Родовую Гимнастику. Мне видна лишь ее голова сбоку, профиль, но я знаю, что это она, — этот выда-

ющийся нос и красивый подбородок, суровая. Подле нее — Родильный Стул, двойное сиденье, заднее троном возвышается над передним. До поры Джанин туда не посадят. Одеяла наготове, кадка для мытья, миска с ледышками — для Джанин, пососать.

Остальные женщины по-турецки сидят на полу; здесь толпа, здесь полагается быть всем из нашего района. Человек двадцать пять или тридцать. Не у каждого Командора есть Служанка; некоторые Жены рожали сами. *От каждой,* гласит лозунг, *по способностям; каждому по потребностям.* Мы это декламировали трижды в день после десерта. Это из Библии — ну, так нам говорили. Как водится, Апостол Павел, Деяния.

Вы — переходное поколение, говорила Тетка Лидия. Вам труднее всех. Мы знаем, каких жертв от вас ожидают. Когда тебя оскорбляют мужчины — это тяжко. Тем, кто придет вслед за вами, будет легче. Они с готовностью отдадут свои сердца во имя долга.

Она не сказала: Потому что не будут помнить, каково иначе.

Она сказала: Потому что не возжелают того, чего не смогут обрести.

Раз в неделю нам показывали кино — после

обеда перед дремой. Мы сидели на полу в классе домоводства, на крошечных сереньких циновках, ждали, а Тетка Хелена и Тетка Лидия боролись с проектором. Если повезет, фильм вверх ногами не поставят. Я вспоминала школьные уроки географии тысячи лет назад — нам показывали кино об окружающем мире; женщины в длинных юбках или дешевых ситцевых платьицах таскали вязанки хвороста, или корзины, или пластиковые ведра с водой из такой или сякой реки, к женщинам платками или повязками были приторочены младенцы, и женщины щурились или пугались, глядя на нас с экрана: они знают, что машина с одиноким стеклянным глазом что-то с ними сотворила, только не знают что. Умиротворяющее и смутно скучное кино. Я задремывала, даже когда на экране появлялись голые мускулы мужчин, что примитивными тяпками или лопатами вгрызались в грязь, тягали валуны. Я предпочитала кино с танцами, с песнями, ритуальными масками, резными музыкальными артефактами — перьями, медными пуговицами, раковинами, тамтамами. Мне нравилось наблюдать, как эти люди счастливы, а не как они страдают, голодают, тощают, до смерти тужась над простыми вещами — копая колодец, орошая землю, — над

задачами, которые в цивилизованных странах давным-давно решены. Кто-нибудь, думала я, дайте им технологии — пускай осваивают.

Тетка Лидия такого кино не показывала.

Иногда она ставила древнее порно семидесятых или восьмидесятых. Женщины на коленях, сосут пенисы или пистолеты, женщины связаны, или на цепи, или в собачьих ошейниках, женщины голышом висят на деревьях или вниз головой, раздвинув ноги, женщин насилуют, бьют, убивают. Однажды нам пришлось смотреть, как женщину медленно режут на кусочки, пальцы и груди откромсаны секатором, живот вскрыт, вывалены кишки.

Рассмотрим альтернативы, говорила Тетка Лидия. Видите, каково оно было прежде? Вот как относились к женщинам. Ее голос возмущенно трепыхался.

Мойра потом сказала, что все это снято понарошку с моделями, но кто его знает.

Однако время от времени показывали, как выражалась Тетка Лидия, Неженскую документалку. Вы только представьте, говорила Тетка Лидия, вот так тратить время; могли бы ведь чем-то полезным заняться. Прежде Неженщины вечно тратили время. Их к этому подталкивали.

Правительство затем и давало им денег. Заметьте, некоторые их идеи вполне здравы, продолжала она, а в голосе — самодовольство человека, имеющего право судить. Даже теперь нам приходится мириться с некоторыми их постулатами. Только с некоторыми, заметьте, жеманно прибавляла она, воздевая руку, грозя нам пальчиком. Но они были Безбожны, а ведь в этом вся разница, вы согласны?

Я сижу на циновке, руки сложила, Тетка Лидия отходит к стене подальше от экрана, выключается свет, и я думаю: может, в темноте удастся наклониться вправо, так, чтоб никто не заметил, и прошептать женщине, которая рядом со мной. Что я прошепчу? Я скажу: ты не видела Мойру? Потому что Мойру никто не видел, она не явилась на завтрак. Но комната, почти сумеречная, недостаточно темна, и я переключаюсь в режим мозговых зацепок, что сходит за внимание. В таком кино звуковой дорожки не бывает, хотя ее включают в порно. Хотят, чтобы мы слышали вопли, и стоны, и визги то ли невыносимой боли, то ли невыносимого наслаждения, то ли их смеси, но не дают услышать, что говорят Неженщины.

Сначала титр и какие-то имена, на пленке замазанные карандашом, чтобы мы не прочли, а

потом я вижу маму. Мою молодую маму, моложе, чем я ее помню, — наверное, она была так молода, когда я еще не родилась. На ней экипировка — типичный, как утверждает Тетка Лидия, наряд Неженщин в те дни: джинсовый комбинезон, клетчатая рубаха, сиреневая с зеленью, и кроссовки; так когда-то одевалась Мойра; помнится, я и сама так одевалась во время оно. На маминых волосах — завязанная сзади сиреневая косынка. Лицо так молодо, так серьезно, даже красиво. Я и забыла, что мама когда-то была так красива и искренна. Она в группе женщин, одетых так же; держит палку — нет, это часть транспаранта, ручка. Вертикальная панорама: видны слова — краской по бывшей, кажется, простыне. ВЕРНИТЕ НОЧЬ[47]. Это не замазали, хотя нам не полагается читать. Женщины вокруг меня ахают, в классе возня, точно ветер прошуршал по траве. Неужто они проглядели, неужто нам что-то перепало? Или нам полагается это видеть, помнить былые дни опасностей?

За этим транспарантом — другие, и в них

[47] Примечания: 47

В странах Европы, а затем в США лозунг «Верните ночь» с 1970-х гг. объединяет движение против насилия над женщинами; помимо прочего, был лозунгом ночного женского марша протеста против порнографии в 1978 г. в Сан-Франциско.

урывками целится камера: СВОБОДА ВЫБИРАТЬ. КАЖДЫЙ РЕБЕНОК — ЖЕЛАННЫЙ РЕБЕНОК. ЗАБЕРЕМ НАШИ ТЕЛА. ВЫ ВЕРИТЕ, ЧТО МЕСТО ЖЕНЩИНЫ — НА КУХОННОМ СТОЛЕ? Ниже последнего лозунга — набросок женского тела на столе, капает кровь.

Вот мама пробирается вперед, улыбается, смеется, они все шагают вперед, вот они воздевают кулаки. Камера переводит взгляд на небо, куда взмывают сотни воздушных шариков, следит за ниточками: красные шарики с нарисованным кругом, кругом с черенком, точно яблоко, черенок — крест. А на земле мама слилась с толпой, и я ее больше не вижу.

Я тебя родила в тридцать семь, говорила мама. Рискованно это было, ты могла получиться калекой или еще похлеще. Ты была желанный ребенок, еще какой желанный, а уж наслушалась я от некоторых! Моя старая подруга Триша Формен, сука, меня упрекала, мол, я пронаталка. Обзавидовалась Триша, короче. А другие ничего. Но на седьмом месяце все давай мне статейки слать, про то, как растет уровень врожденных дефектов после тридцати пяти. Беременной такое читать — самое милое дело. И про то, как тяжко матерям-одиночкам. Я им говорю: да на хуй

идите, я в это ввязалась, и я пойду до конца. А в медкарте записали «пожилая первороженица», я их застукала. Это так называют, если у тебя первый ребенок после тридцати, после *тридцати,* господи боже мой. Фигня, говорю, у меня биологический возраст — тридцать два, я вас всех за пояс заткну. Да я тут тройню рожу и смыться успею, пока вы прочухаетесь.

Она высказалась и выпятила подбородок. Вот такой я ее помню: подбородок выпячен, на кухонном столе перед ней — бокал; не молода, не искренна, не красива, как в кино, — жилиста, отважна, из тех старух, что ни одну жопу вперед себя в очереди не пропустят. Она любила заскочить к нам в гости и пропустить стаканчик, пока мы с Люком готовим ужин, поведать нам, как у нее вся жизнь пошла наперекосяк, и неизменно переключалась на косяки в нашей жизни. Она тогда уже, конечно, поседела. Волосы не красила. Зачем, говорила, придуриваться? Да ни к чему это мне, мужик не требуется, что от них толку, кроме десятисекундного полребенка? Мужчина — это просто женский метод делать других женщин. Да нет, твой-то папаша славный был парень, но отцовством не соблазнился. Я, собственно, и не рассчитывала. Сделай дело, говорю, и вали отсю-

да, у меня приличная зарплата, на ясли хватит. Ну, он слинял на побережье, шлет открытки к Рождеству. Вот глаза у него замечательные были, синие, это да. Но чего-то в них все же не хватает, даже в тех, которые славные. Как будто навечно рассеянные, как будто и не помнят, кто они вообще есть. Слишком много ворон считают. В результате ног под собой не чуют. Бабам в подметки не годятся, только машины умеют чинить да в футбол гонять. Нам только этого для улучшения расы и не хватало, а?

Вот так она и говорила, даже при Люке. Он не обижался, дразнил ее — притворялся мачо, втирал ей, что женщины не способны к абстрактному мышлению, а она подливала себе и улыбалась.

Свинячий шовинист, говорила она.

Как она старомодна, говорил мне Люк, и мама глядела лукаво, почти хитро.

Имею право, отвечала она. Я уже старуха, долги раздала, могу и старомодной побыть. У тебя еще молоко на губах не обсохло. Поросенок, вот ты кто. Что касается тебя, говорила она мне, ты — агент реакции. Фиаско. История меня простит.

Но такого она не говорила до третьего бокала.

Молодежь ничего не ценит, разглагольствовала она. Вы понятия не имеете, что мы пережили,

чтоб вы все это имели. Ты глянь на него — морковку режет. Ты вообще представляешь, сколько женских жизней, сколько женских *тел* переехало танками, чтоб хоть этого достигнуть?

Готовка — мое хобби, отвечал Люк. Мне нравится.

Хобби-хуёбби, говорила мама. Можешь мне тут не оправдываться. Было время, когда фиг бы тебе разрешили такое хобби, обзывали бы гомиком.

Ладно, мама, вмешивалась я. Давай не будем на пустом месте ругаться.

На пустом месте, горько повторяла она. Ты считаешь, это пустое место. Ты не понимаешь, да? Ты ни чуточки не понимаешь, о чем я говорю.

Порой она плакала. Мне было так одиноко, говорила она. Ты не представляешь, как мне было одиноко. А ведь у меня друзья были, мне еще повезло, но все равно было одиноко.

В чем-то я восхищалась мамой, хотя гладко между нами не бывало. Я считала, она слишком многого от меня ждет.

Хочет, чтобы я реабилитировала ее жизнь, ее выбор. Я не хотела прожить жизнь на ее условиях. Не хотела стать образцовым отпрыском, воплощением ее идей. Мы из-за этого ссорились. Зря ты думаешь, что я — оправдание твоей жиз-

ни, однажды сказала я.

Я хочу, чтоб она вернулась. Хочу, чтобы все вернулось, все как было. Но проку-то что в этом хотении?

Глава 21

Тут жарко и чересчур шумно. Вокруг гомонят женские голоса, после долгих дней безмолвия даже тихий речитатив слишком громок. В углу брошен ком окровавленной простыни — воды отошли. Я ее только сейчас заметила.

К тому же в комнате воняет, воздух спертый, открыли бы окно. Воняет нашей собственной плотью, органическая вонь; пот, подернутый железом, — это кровь на простыне, и другой запах, более животный, — это, наверное, пахнет Джанин: запах берлог, обитаемых пещер, запах клетчатого одеяла на постели, где однажды родила кошка, до того как ее стерилизовали. Запах матки.

— Вдохни, вдохни, — распеваем мы, как учили. — Задержи, задержи. Выдыхай, выдыхай, выдыхай. — Мы поем на счет «пять». На пять вдох, на пять «задержи», на пять выдох. Джанин, зажмурившись, пытается утихомирить дыхание. Тетка Элизабет щупает ей живот — какие схватки.

Джанин беспокойна, ей хочется походить. Две женщины помогают ей сползти с кровати, под-

держивают с двух сторон, пока Джанин ходит. Накатывает схватка, Джанин сгибается пополам. Одна женщина встает на колени, массирует ей спину. Мы все это умеем, нас обучали. Через две женщины от меня сидит Гленова, моя магазинная спутница. Тихий речитатив мембраной обволакивает нас.

Является Марфа с подносом: кувшин сока — растворимого, из порошка, вроде бы виноградного — и стопка бумажных стаканчиков. Ставит поднос на ковер перед поющими женщинами. Гленова немедля разливает, и стаканчики передаются из рук в руки.

До меня добирается стаканчик, я наклоняюсь вбок, чтобы его передать, и моя соседка тихо шепчет мне на ухо:

— Ищешь кого-то?

— Мойру, — так же тихо отвечаю я. — Брюнетка, веснушки.

— Не видела, — говорит она. Я ее не знаю, мы не были вместе в Центре, но я видела ее в магазинах. — Но я поищу.

— А ты?..

— Альма, — говорит она. — Как тебя по правде зовут?

Я хочу ей сказать, что у нас в Центре была Аль-

ма. Я хочу ей сказать, как меня зовут по правде, но Тетка Элизабет поднимает голову, озирается — наверное, услышала, что речитатив сбился, так что времени нет. Иногда в Дни Рождения кое-что можно разузнать. Однако бесполезно спрашивать про Люка. Там, где эти женщины могут его увидеть, он не появится.

Все звучит речитатив, забирает меня. Это тяжкий труд, надо сосредоточиться. Слейтесь с вашими телами, говорила Тетка Элизабет. Вот уже легкие боли в животе, и груди отяжелели. Джанин кричит — вялый крик, нечто среднее между криком и стоном.

— Начинаются потуги, — говорит Тетка Элизабет. Помощница мокрой тряпкой вытирает Джанин лоб.

Джанин потеет, волосы клоками расползаются из-под резинки, липнут ко лбу и шее. Ее плоть насыщенна, влажна, блестит.

— Дыши! дыши! дыши! — распеваем мы.

— Я хочу наружу, — говорит Джанин. — Хочу погулять. Все в порядке. Мне на горшок надо.

Мы все понимаем, что у нее потуги, она сама не знает, что делает. Которое из этих заявлений правдиво? Очевидно, последнее. Тетка Элизабет делает знак, две женщины встают возле пере-

носного туалета, Джанин медленно опускается на сиденье. К запахам в комнате примешивается новая вонь. Джанин опять стонет, голова опущена, видны только ее волосы. Она скорчилась, она похожа на куклу, старую, выпотрошенную и заброшенную в угол, перекошенную.

Джанин опять встала, ходит.

— Хочу сесть, — говорит она. Сколько мы тут уже? Минуты, часы. Я вспотела, платье под мышками вымокло, верхняя губа соленая, меня скручивают фантомные боли, и остальных тоже — я вижу, как все раскачиваются. Джанин сосет кубик льда. А затем, после этого, в паре дюймов оттуда или за много миль: — Нет, — кричит она, — ох, нет, нет, нет. — Это у нее второй ребенок, у нее когда-то был другой, я знаю по Центру, она плакала о ребенке по ночам, как и все мы, только хлюпала громче. Наверняка она помнит, каково это, что грядет. Но кто помнит боль, когда она прошла? Остается лишь тень, не в сознании даже — во плоти. Боль клеймит тебя, но клеймо глубоко — не увидишь. С глаз долой — из сердца вон.

Кто-то вином разбавил виноградный сок. Кто-то умыкнул снизу бутылку. Не впервые на таких сборищах, но на это смотрят сквозь пальцы. Нам

тоже требуются оргии.

— Приглушите свет, — говорит Тетка Элизабет. — Скажите ей, что пора.

Кто-то встает, идет к стене, свет меркнет до сумрака, голоса наши истончаются до скрипучего хора, до шершавого шепота, будто кузнечики в ночных полях. Две женщины выходят из комнаты, две другие ведут Джанин к Родильному Стулу, и она садится на то сиденье, что ниже. Она теперь спокойнее, легкие ровно всасывают воздух, мы наклоняемся вперед, напрягшись, спины и животы болят от натуги. Вот оно, вот оно, точно горн, призыв к оружию, точно падает стена, тяжкий камень движется вниз, тянется вниз внутри нас, и нам кажется, мы сейчас лопнем. Мы сжимаем друг другу руки, мы больше не одиноки.

Торопливо семенит Жена Командора, из-под нелепой белой сорочки торчат костлявые ноги. Две Жены в голубых платьях и вуалях держат ее под руки, словно ей это необходимо; она скупо улыбается, словно хозяйка бала, который она предпочла бы не давать. Наверняка понимает, что мы о ней думаем. Она карабкается на Родильный Стул, садится за и над Джанин, она для Джанин — точно рамка, ее тощие ноги торчат по бокам от Джанин подлокотниками экстравагант-

ного кресла. Как ни странно, на Жене белые носки и шлепанцы, голубые и мохнатые, как чехол на унитаз. Но мы не различаем Жену, наши взгляды прикованы к Джанин. В сумеречном свете она сияет в белой ночнушке, будто луна в облаках.

Теперь Джанин натужно рычит.

— Тужься, тужься, тужься, — шепчем мы. — Отпусти. Дыши. Тужься, тужься, тужься. — Мы с ней, мы с ней слились, мы пьяны. Тетка Элизабет опускается на колени, расправляет полотенце, чтобы поймать ребенка, и вот — венец, слава — головка, лиловая и вся в первородной смазке; еще потуга — и ребенок, скользкий от жидкости и крови, выскальзывает, ныряет в наше нетерпение. О, хвала.

Мы затаили дыхание — Тетка Элизабет разглядывает ребенка: девочка, бедняжка, но пока ничего, хотя бы никаких видимых дефектов, ручки, ножки, глазки, мы молча считаем — все на месте. Тетка Элизабет, подняв ребенка, смотрит на нас и улыбается. Мы тоже улыбаемся, мы — сплошная улыбка, по щекам бегут слезы, как мы счастливы.

Счастье наше — отчасти воспоминание. Я, например, вспоминаю Люка в больнице, как он стоял у моего изголовья, держал меня за руку;

ему выдали зеленый халат и белую маску. Ох ты, повторял он, ох ты господи, и его дыхание выплескивалось в изумлении. Он говорил, в ту ночь он так и не уснул, до того кайфовал.

Тетка Элизабет осторожно моет ребенка; девочка особо не хнычет, умолкает. Как можно тише, чтобы ее не напугать, мы поднимаемся, теснимся вокруг Джанин, обнимаем ее, похлопываем. Она тоже плачет. Две Жены в голубом помогают третьей Жене, хозяйке дома, слезть со Стула и забраться на кровать — укладывают ее, укутывают. Ребенка, вымытого и притихшего, церемонно вручают Жене. Подтягиваются Жены снизу, расталкивают нас, отталкивают. Они слишком громко разговаривают, в руках у некоторых тарелки, кофейные чашки, винные бокалы, кто-то еще жует, они толпятся у постели вокруг матери и ребенка, воркуют и поздравляют. Они источают зависть, я ее чую — слабые кислотные выхлопы мешаются с их духами. Жена Командора глядит на ребенка, как на букет цветов: будто она его выиграла, будто ребенок — приз.

Жены пришли засвидетельствовать присвоение имени. Имена тут присваивают Жены.

— Анджела, — говорит Жена Командора.

— Анджела, Анджела, — щебечут в ответ Же-

ны. — Какое миленькое имя! Ой, какая красавица! Ой, какая прелесть!

Мы загораживаем постель, чтобы Джанин не пришлось это видеть. Кто-то протягивает ей виноградный сок. Надеюсь, он с вином, ей больно, еще послед, она беспомощно плачет — измученные, жалобные слезы. И все-таки мы торжествуем, это победа, это наша победа. У нас получилось.

Ей позволят нянчить ребенка несколько месяцев: они верят в грудное вскармливание. А потом ее переведут — проверить, сможет ли она повторить с тем, кто на очереди. Но ее никогда не пошлют в Колонии, никогда не объявят Неженщиной. Вот ее награда.

Родомобиль ждет снаружи, он развезет нас по домам. Врачи сидят в фургоне, их лица в окошке — белыми каплями, точно лица запертых дома больных детей. Один открывает дверь, подходит.

— Нормально прошло? — тревожно спрашивает он.

— Да, — отвечаю я. Я выжата, измотана. Груди болят и чуточку подтекают. Ложное молоко, с некоторыми случается. Мы сидим на скамьях лицом друг к другу, нас везут; в нас ни единой эмоции, почти ни единого ощущения — мы красные тюки тряпья. Нам больно. Каждая держит на

коленях фантома, призрачное чадо. Восторг теперь угас, и пред нами маячит наша собственная неудача. Мама, думаю я. Где ты ни есть. Слышишь меня? Ты хотела женской культуры. Вот тебе женская культура. Не такая, какую ты хотела, но она существует. Не привередничай.

Глава 22

Уже близится вечер, когда Родомобиль подъезжает к дому. Солнце вяло ползет сквозь облака, в воздухе — запах нагретой мокрой травы. Я провела на Рождении весь день; часов не наблюдаешь. Кора сегодня займется покупками, я освобождена от всех обязанностей. Я поднимаюсь по лестнице, тяжело переношу ноги со ступеньки на ступеньку, цепляюсь за перила. Я будто много дней не спала, бежала со всех ног — в груди больно; мышцы сводит, будто у них закончился сахар. В кои-то веки я благодарна за одиночество.

Я лежу на постели. Хочется отдохнуть, поспать, но я слишком устала и взбудоражена, глаза не закрываются. Я смотрю в потолок, изучаю листву в венке. Сегодня он напоминает мне шляпу, шляпы с широкими полями, женщины носили такие когда-то в былые времена: шляпы — точно громадные нимбы, разукрашенные фруктами, цветами, перьями экзотических птиц; шляпа как идея рая, что отвердевшей мыслью плывет прямо над головой.

Через минуту венок расцветится и начнутся видения. Вот до чего я устала — как будто ехали

всю ночь до зари, по причине, о которой я сейчас думать не стану, не давали друг другу заснуть, рассказывали байки и рулили по очереди, и когда уже лезет солнце, боковым зрением что-то начинаешь различать — лиловых зверей в придорожных кустах, расплывчатые контуры людей, что исчезают, едва глянешь на них в упор.

Я устала, я не могу продолжать историю. Я так устала, что не могу думать, где я вообще. Вот вам другая история, получше. История о том, что стало с Мойрой.

Что-то я знаю сама, что-то слышала от Альмы, а та слышала от Долорес, а та от Джанин. Джанин это слышала от Тетки Лидии. Даже в таких местах, даже при таких обстоятельствах бывают союзники. На это можно рассчитывать: всегда будут союзники, те или иные.

Тетка Лидия вызвала Джанин в кабинет.

Благословен плод, Джанин, сказала, должно быть, Тетка Лидия, не поднимая глаз от стола, за которым что-то писала. Для всякого правила найдется исключение — и на это можно рассчитывать. Теткам позволено читать и писать.

Да разверзнет Господь, наверняка ответила Джанин — бесстрастно, прозрачным голосом, голосом сырого яичного белка.

Мне кажется, я могу тебе доверять, Джанин, сказала Тетка Лидия, наконец оторвав взгляд от страницы и пригвоздив Джанин этим своим взглядом сквозь очки, взглядом, что умудрялся одновременно угрожать и умолять. Помоги мне, говорил этот взгляд, мы тут вместе застряли. Ты надежная девочка, продолжала Тетка Лидия, не то что некоторые.

Она думала, Джанинино покаяние и нытье что-то значило, думала, что Джанин сломалась, что Джанин стала истинно правоверной. Но Джанин к тому времени была как щенок, которого слишком многие слишком часто и необъяснимо пинали: ради секунды одобрения опрокинется кверху брюхом перед кем угодно и скажет что угодно.

Поэтому Джанин, вероятно, сказала: Надеюсь, Тетя Лидия. Надеюсь, я теперь достойна вашего доверия. Или что-нибудь в этом духе.

Джанин, сказала Тетка Лидия, случилось ужасное.

Джанин уставилась в пол. Что бы ни случилось, она знала: ее не обвинят, она безвинна. С другой стороны, она и в прошлом была безвинна — а толку? Поэтому она все равно чувствовала, что виновата и ее вот-вот накажут.

Ты что-нибудь знаешь, Джанин? ласково спросила Тетка Лидия.

Нет, Тетя Лидия, ответила Джанин. Она знала, сейчас надо поднять глаза, посмотреть Тетке Лидии в лицо. Через секунду Джанин это удалось.

Потому что, если ты знаешь, я буду весьма в тебе разочарована, сказала Тетка Лидия.

Бог мне свидетель, сказала Джанин якобы с жаром.

Тетка Лидия позволила себе очередную паузу. Покрутила авторучку. Мойры с нами больше нет, наконец сказала Тетка Лидия.

Ох, сказала Джанин. Ее это не колыхало. Мойра же ей не подруга. Она умерла? помолчав, спросила Джанин.

И тогда Тетка Лидия рассказала ей историю. Мойра на Упражнениях отпросилась в туалет. Вышла. У туалета дежурила Тетка Элизабет. Она стояла снаружи у дверей, как обычно; Мойра вошла. Через минуту Мойра позвала Тетку Элизабет: унитаз засорился, не могла бы Тетка Элизабет войти и прочистить? Это правда, унитазы иногда засорялись. Чтобы такое с унитазами приключалось, неизвестные лица совали в них рулоны туалетной бумаги. Тетки изобретали универсальный метод предотвращения подоб-

ных инцидентов, но бюджет был скуден, и пока приходилось работать с тем, что есть, а способа запирать туалетную бумагу они не придумали. Может, имело смысл держать ее снаружи на столе и выдавать по листку или по несколько листков каждой, кто заходит. Но это потом. Нужно время, чтобы все утряслось.

Не заподозрив дурного, Тетка Элизабет вошла в туалет. Довольно глупый поступок, должна была признать Тетка Лидия. С другой стороны, Тетка Элизабет и прежде несколько раз заходила прочистить унитазы без никаких казусов.

Мойра не соврала: по полу текла вода с ошметками фекалий. Весьма неприятно, и Тетка Элизабет разозлилась. Мойра почтительно отодвинулась, а Тетка Элизабет поспешила в кабинку, которую указала Мойра, и склонилась над бачком. Она хотела поднять фаянсовую крышку, поправить внутри затычку и грушу. Она обеими руками взялась за крышку, и тут что-то твердое, острое и, очевидно, металлическое ткнулось ей в спину под ребра. Не двигайся, сказала Мойра, или я воткну — я знаю куда, прямо в легкое войдет.

Потом выяснилось, что она разобрала один бачок и вынула длинный острый рычаг — железяку, которая одним концом приделана к ручке,

а другим к цепи. Это просто, если знать как, а у Мойры с механикой все было тип-топ, она по мелочи сама чинила машину. Вскоре после этого крышки на бачках стали приматывать цепями, и когда унитаз засорялся, открывали его целую вечность. Так у нас произошло несколько потопов.

Тетка Элизабет не видела, что тычется ей в спину, сказала Тетка Лидия. Она храбрая женщина…

О да, сказала Джанин.

…но не безрассудная, договорила Тетка Лидия, слегка поморщившись. Джанинин чрезмерный восторг порой граничил с противлением. Тетка Элизабет сделала, как велела Мойра, продолжала Тетка Лидия. Мойра забрала ее электробич и свисток, приказала Тетке Элизабет отстегнуть их с ремня. А затем погнала Тетку Элизабет по лестнице в подвал. Они были на втором этаже, не на третьем, — всего два лестничных пролета. У всех классов занятия, в коридорах ни души. Они видели другую Тетку, но та была в дальнем конце коридора и на них не смотрела. Тетка Элизабет могла закричать, но понимала, что Мойра не шутки шутит; у Мойры дурная репутация.

О да, сказала Джанин.

Мойра отвела Тетку Элизабет по проходу в раздевалке, мимо двери в спортзал и в котельную.

Велела Тетке Элизабет снять с себя все…

Ох-х, тихонько сказала Джанин, будто возмутившись таким святотатством.

…и Мойра тоже сняла с себя все, надела вещи Тетки Элизабет, которые были ей чуточку великоваты, но почти подошли. Мойра над Теткой Элизабет особо не издевалась, разрешила ей надеть собственное красное платье. Вуаль она разодрала на полосы и ими привязала Тетку Элизабет за печкой. Запихала кусок ткани ей в рот и тоже стянула полоской. Одним концом полосы стянула Тетке Элизабет шею, другим ноги сзади. Хитрая и опасная особа, сказала Тетка Лидия.

Джанин сказала: Можно сесть? Как будто силы ее на этом иссякли. Ей наконец-то есть что обменять, хотя бы символически.

Да, Джанин, сказала Тетка Лидия, удивившись, но понимая, что теперь отказать нельзя. Она просила у Джанин внимания, просила содействия. Она указала на стул в углу. Джанин подтащила стул ближе.

Я, знаете ли, могла бы вас кокнуть, сказала Мойра, надежно упаковав Тетку Элизабет за печкой, подальше с глаз. Я бы могла вас покалечить так, что вас бы всю жизнь крючило. Я могла бы двинуть вас этой штукой по голове или ткнуть в

глаз. Просто не забудьте, что я ничего такого не сделала, если до этого дойдет.

Этого Тетка Лидия не цитировала Джанин, но, я думаю, Мойра должна была сказать что-то в этом роде. Так или иначе, она не убила и не изуродовала Тетку Элизабет, которая вернулась в Центр пару-тройку дней спустя, оклемавшись после семи часов за печкой и, надо думать, после допроса — ибо возможность сговора, естественно, не исключалась ни Тетками, ни кем другим.

Решительно глядя перед собой, Мойра вздернула подбородок. Расправила плечи, подтянулась и поджала губы. Мы обычно держались не так. Мы ходили повесив головы, глядя на собственные руки или в землю. Мойра мало походила на Тетку Элизабет, даже с коричневым платом на голове, но ее закаменелой осанки, видимо, хватило, чтобы облапошить дежурных Ангелов, которые никогда не разглядывали нас пристально, даже — и, наверное, в особенности — Теток; ибо Мойра прошествовала прямиком через парадную дверь с видом человека, который знает, куда идет; ей отсалютовали, она предъявила пропуск Тетки Элизабет, который Ангелы не удосужились проверить, ибо кто посмеет так оскорбить Тетку? И исчезла.

Ох-х, сказала Джанин. Кто знает, что было у нее на уме? Может, ей хотелось кричать «ура». Если так, она хорошо это скрывала.

Итак, Джанин, сказала Тетка Лидия. Вот чего я хочу от тебя.

Джанин распахнула глаза и изобразила невинность и внимание.

Я хочу, чтобы ты держала ушки на макушке. Возможно, тут не обошлось без остальных.

Да, Тетя Лидия, сказала Джанин.

Приходи и рассказывай мне, хорошо, милая? Если что-нибудь услышишь.

Да, Тетя Лидия, сказала Джанин. Она знала: больше не придется вставать на колени перед всем классом и слушать, как мы кричим, что это ее вина. Пока этим займется кто-нибудь другой. Она временно спасена.

Совершенно не важно, что Джанин пересказала этот разговор Долорес. Это не означало, что Джанин не станет свидетельствовать против нас, против любой из нас, если представится случай. Мы это понимали. К тому времени мы обращались с ней, как с безногим, что продает карандаши на углу. Избегали ее, как могли, были заботливы, когда избежать не удавалось. Она была угрозой, мы это понимали.

Наверное, Долорес похлопала ее по спине — дескать, молодец Джанин, что рассказала. Где состоялся этот обмен? В спортзале, когда мы готовились ко сну. Долорес спала рядом с Джанин.

В ту ночь мы передавали эту историю друг другу в полутьме — еле слышно, с койки на койку.

Мойра — где-то там. На свободе или мертва. Что она будет делать? Мысль о том, что она будет делать, распухала, пока не заполнила собою весь зал. В любой момент — сокрушительный взрыв, стекла сыплются внутрь, распахиваются двери… У Мойры ныне есть власть, ее выпустили, она выпуталась. Она теперь распутна.

По-моему, нас это пугало.

Мойра была как лифт без стенок. У нас от нее кружилась голова. Мы уже теряли вкус к свободе, уже ценили безопасность в этих стенах. В верхних слоях атмосферы ты развалишься, испаришься, никакое давление тебя не удержит.

И все же мы фантазировали о Мойре. Мы обнимали ее, она тайком была с нами, будто смешок; она была как лава под коркой повседневности. В свете Мойры Тетки казались абсурднее и не такими зловещими. Их могущество с изъяном. Их можно скручивать в туалетах. Отвага — вот что нам нравилось.

Мы ждали, что в любую минуту ее приволокут назад, как прежде. Мы представить не могли, что с нею сделают на сей раз. Что бы ни сделали, это будет чудовищно.

Но ничего не произошло. Мойра не появилась. До сих пор.

Глава 23

Это домыслы. Все это домыслы. Я домысливаю сейчас, опять, я лежу в постели, не в силах спать, репетирую, что надо было сказать, что не надо было, как следовало и не следовало поступать, как надо было сыграть. Если я когда-нибудь выберусь…

На этом — стоп. Я намерена выбраться. Это же не навеки. Другие тоже так думали прежде, в дурные времена, и всегда оказывались правы и впрямь выбирались так или иначе, и это было не навеки. Хотя для них это длилось порой все века, что им были отпущены.

Когда я выберусь, если удастся это все описать — как угодно, пусть даже голосу голосом, это тоже будут домыслы, очередной их виток. Ничего невозможно рассказать в точности так, как оно было, ибо то, что говоришь, не бывает точно, что-то всякий раз упускаешь, слишком много ролей, сторон, противотоков, нюансов; слишком много жестов, кои могли значить то или это, слишком много форм, кои целиком не опишешь, слишком много привкусов в воздухе или на языке, полутонов, слишком много. Но если вдруг вы

мужчина из какого-то будущего и добрались досюда, прошу вас, помните: вас никогда не искусят понуждением простить — вас, мужчину, а равно женщину. Противиться сложно, верьте мне. Но помните: прощение — тоже власть. Умолять о нем — власть, и отказывать в нем, и его даровать — власть; быть может, величайшая.

А может, контроль тут и вовсе ни при чем. Может, не о том речь, кто вправе кем владеть, кто кому вправе что сделать безнаказанно, даже если убить. Может, не о том, кто вправе сидеть, а кто — преклонять колена, или стоять, или лежать, раздвинув ноги. Может, речь о том, кто кому что вправе сделать и обрести прощение. Не говорите мне, что это одно и то же.

Я хочу, чтобы ты меня поцеловала, сказал Командор. Ну, разумеется, до этого что-то происходило. Не бывает таких просьб ни с того ни с сего.

Я все же уснула, и мне снилось, как я ношу серьги, а одна сломалась; не более того, просто мозг листает древние досье, и меня разбудила Кора, принесла поднос с ужином, и время вернулось в свою колею.

— Хороший ребенок? — спрашивает Кора, ставя

поднос. Наверняка уже сама знает, у них ведь изустный телеграф, новости путешествуют из дома в дом; но ей в радость услышать об этом, будто от моих слов Рождение станет реальнее.

— Нормальный, — говорю я. — Оставят. Девочка.

Кора улыбается мне — улыбка словно объятие. Должно быть, вот в такие моменты ей кажется, будто она делает что-то стоящее.

— Это хорошо, — говорит она. Почти жалобно, и я думаю: ну еще бы. Она бы сама хотела там быть. Вечеринка, на которую ее не пригласили. — Может, и у нас скоро будет, — застенчиво говорит она. Под *нами* она подразумевает меня. Я должна вознаградить команду, оправдать питание и заботу, как муравьиная матка. Пусть Рита не одобряет меня; Кора — наоборот. Она полагается на меня. Надеется, и я — носитель ее надежды.

Ее надежда — проще простого. Она хочет День Рождения с гостями, пиром горой и подарками, она хочет баловать ребятенка на кухне, гладить ему одежду, совать плюшки, пока никто не видит. А я должна обеспечить ей сии радости. Я бы предпочла неодобрение — его я больше заслужила.

На ужин тушеная говядина. Мне трудно доесть: посреди ужина я вспоминаю то, что прошедший

день стер из головы начисто. Правду говорят: рожать или наблюдать роды — транс, вся прочая жизнь теряется, живешь только этим мигом. Но теперь я вспомнила и знаю: я не готова.

Этажом ниже часы в вестибюле бьют девять. Я прижимаю ладони к бедрам, вдыхаю, отправляюсь в путь по коридору и тихонько вниз по лестнице. Яснорада, наверное, еще там, где случилось Рождение; повезло, он не мог это предвидеть. В такие дни Жены ошиваются там часами, помогают развернуть подарки, сплетничают, напиваются. Надо же как-то рассеять их зависть. Я иду в обратную сторону по коридору внизу, мимо двери в кухню, к следующей двери — его. Стою в коридоре, точно школьница, которую вызвали к директору. В чем я провинилась?

Мое присутствие здесь незаконно. Нам непозволительно общаться с Командорами наедине. Мы — для размножения; мы не наложницы, не гейши, не куртизанки. Напротив: нас отдаляют от этого статуса как только возможно. Не в утехах вовсе наше значение, негде цвести тайным влечениям; к нам или к ним особыми дарами не подольститься, любви не за что зацепиться. Мы — двуногие утробы, вот и все: священные сосуды, ходячие потиры.

Так зачем ему со мной встречаться — среди ночи, наедине?

А если застукают, спасение мое — на милости Яснорады. Ему не полагается встревать в воспитание домочадцев, это женская забота. Затем — реклассификация. Я могу стать Неженщиной.

Но если отказаться, может выйти хуже. Не нужно гадать, у кого тут реальная власть.

Но, видимо, он чего-то хочет от меня. Хотеть — это слабость. И слабость эта, какова бы ни была, соблазняет меня. Как трещинка в стене, прежде непроницаемой. Если глазом прижаться к ней, к этой его слабости, быть может, я различу ясно, куда двигаться.

Я хочу знать, чего он хочет.

Я поднимаю руку, стучу в дверь запретной комнаты, где никогда не бывала, куда женщины не ходят. Даже Яснорада не заглядывает сюда, а прибираются тут Хранители. Что за тайны, что за мужские тотемы прячутся здесь?

Мне велено войти. Я открываю дверь, ступаю внутрь.

По ту сторону двери — нормальная жизнь. Лучше так: по ту сторону двери — на вид нормальная жизнь. Разумеется, стол, а на нем Комптакт, а за ним — черное кожаное кресло. На столе цветок

в горшке, подставка для ручек, бумаги. Восточный ковер на полу, камин без огня. Диванчик — коричневый плюш, телевизор, тумбочка, пара стульев.

Но по стенам сплошь книжные полки. Набитые книгами. Книги, книги, книги, прямо на виду, без замков, без футляров. Неудивительно, что нам сюда нельзя. Это оазис запретного. Я стараюсь не пялиться.

Командор стоит у огня без огня, спиной к камину, локоть на резной деревянной полке, другая рука в кармане. Выверенная помещичья поза, древняя наживка из мужских глянцевых журналов. Может, он заранее придумал, что будет так стоять, когда я войду. Я постучала, а он, наверное, кинулся к камину и там воздвигся. Ему бы еще черную повязку на глаз[48] и галстук с подковами.

Думать-то об этом легко — торопливым стаккато, мозговой дрожью. Глумиться про себя. Но я в панике. Вообще-то я в ужасе.

Я молчу.

— Закрой за собой дверь, — довольно любезно

---

[48] Примечания: 48

[A]ллюзия на рекламу производителя рубашек «Хэтэуэй Шёрт Компани», в которой нередко фигурировали щегольски одетые мужчины с повязкой на глазу.

говорит он. Закрываю дверь, оборачиваюсь. — Привет, — говорит он.

Это старое приветствие. Давно я его не слышала, уже много лет. Здесь оно неуместно, даже комично — прыжок во времени, фокус. Я понятия не имею, что бы такого подходящего сказать в ответ.

По-моему, я сейчас разревусь.

Он, видимо, заметил, потому что озадачился, чуточку хмурится — будем считать, что встревожился, хотя, может, просто раздражен.

— Поди сюда, — говорит он. — Можешь сесть.

Он выдвигает мне стул, утверждает его перед столом. Обходит стол, садится — медленно и, кажется, вдумчиво. Вывод из этого спектакля такой: Командор позвал меня не для того, чтобы как-нибудь трогать против моей воли. Он улыбается. Улыбка не злобная, не хищная. Просто улыбка — формальная, дружелюбная, но слегка отрешенная, будто я — котенок в окошке. Которого он разглядывает, но покупать не собирается.

Я сижу на стуле прямо, руки на коленях. Кажется, будто ноги в плоских красных туфлях не вполне касаются ковра. Хотя они, само собой, его касаются.

— Тебе это, наверное, странно, — говорит он.

Я лишь смотрю на него. Преуменьшение года, как выражается моя мать. Выражалась.

Я — как сахарная вата: сахар и воздух. Меня сожми — и я превращусь в крохотный, тошнотворный и влажный ошметок слезливой розоватой красноты.

— Наверное, это и впрямь странно, — говорит он, будто я ответила.

Мне бы прийти сюда в шляпе, с бантом под подбородком.

— Я хочу… — говорит он.

Я еле сдерживаюсь, чтобы не податься вперед. Да? Да-да? Ну, чего? Чего он хочет? Но свой пыл я не выдам. У нас тут торги, вот-вот грядет обмен. Та, кто не медлит, погибла. Я ничего не выдаю за просто так: я продаю.

— Я бы хотел… — говорит он. — Только это глупо. — И правда, он смущен, *робеет* — вот как говорили, вот что когда-то делали мужчины. Он достаточно стар, он помнит, как робеть, помнит, как это очаровывало дам. Молодые таких трюков не знают. Молодым они без надобности.

— Я хочу, чтобы ты сыграла со мной в «Эрудит», — говорит он.

Я не двигаю ни единым мускулом. Стараюсь, чтоб лицо не шевелилось. Так вот что находится

в запретной комнате! «Эрудит»! Мне хочется смеяться, визжать от смеха, упасть со стула. «Эрудит» — игра для старух, для стариков, летом или в домах престарелых, в нее играли, когда не было ничего занимательного по телевизору. Или для подростков, давным-давно. У мамы был набор, лежал в глубине шкафа в прихожей вместе с елочными игрушками в картонках. Однажды она попыталась меня приохотить — мне было тринадцать, я страдала и валяла дурака.

Однако ныне, конечно, все иначе. Ныне «Эрудит» для нас под запретом. Ныне он опасен. Он непристоен. Ныне Командору не сыграть в «Эрудит» с Женой. «Эрудит» желанен. Командор себя скомпрометировал. Все равно что наркотики мне предложить.

— Хорошо, — отвечаю я будто бы равнодушно. Вообще-то я почти не в силах говорить.

Он не объясняет, почему хочет сыграть со мной в «Эрудит». Я не спрашиваю. Он просто вынимает из стола коробку, открывает. В ней пластиковые деревянные фишки, я такие помню, а доска поделена на квадраты, и еще есть крошечные держалки для букв. Командор опрокидывает фишки на стол и принимается их переворачивать. Помешкав, я присоединяюсь.

— Умеешь играть? — спрашивает он. Я киваю.

Мы играем два раунда. *Гортань,* складываю я. *Балдахин. Айва. Зигота.* У меня в руках — блестящие фишки, края гладкие, я ощупываю буквы. Вот оно — сладострастие. Вот она, свобода — миг свободы. *Хромота,* складываю я. *Ущелье.* Какая роскошь. Фишки — точно леденцы, мятные, такие же прохладные. Монпансье, вот как они назывались. Мне хочется сунуть их в рот. Они будут с привкусом лайма. Буква С. Свежая, кисловатая на языке, объедение.

Я выигрываю первый раунд и позволяю Командору выиграть второй: я так и не выяснила, каковы условия, что я смогу попросить взамен.

Наконец он говорит, что мне пора идти домой. Так и говорит: *идти домой.* Он имеет в виду мою комнату. Спрашивает, доберусь ли я, будто лестница — темная улица. Я говорю «да». Мы на крошечную щелочку приоткрываем дверь кабинета и прислушиваемся, нет ли кого в коридоре.

Это как на свидании. Это как возвращаться в пансион после закрытия. Это заговор.

— Спасибо, — говорит он. — За игру. — И прибавляет: — Я хочу, чтобы ты меня поцеловала.

Я думаю о том, что в банный вечер можно разобрать бачок унитаза в моей ванной, быстро и

тихо, чтобы Кора снаружи не услышала. Можно достать острый рычаг, спрятать в рукаве, тайком пронести в кабинет Командора в следующий раз: после таких просьб непременно бывает следующий раз, говоришь ты «да» или «нет». Я думаю о том, как наедине подойду к Командору поцеловать, и сниму с него китель, словно позволяя или призывая двигаться дальше, к истинной любви, и обхвачу его руками, и рычаг скользнет из рукава, и я внезапно вгоню острие Командору меж ребер. Я думаю о том, как потечет кровь — горячая, как суп, сексуальная, прямо по рукам.

На самом деле ничего подобного я не думаю. Все это я вставила позже. Наверное, стоило тогда об этом подумать, но я не подумала. Это домыслы, я же говорю.

— Хорошо, — отвечаю я. Делаю шаг к нему, сжатыми губами прижимаюсь к его губам. Чую лосьон после бритья — как обычно, с нафталиновой отдушкой, вполне знакомый запах. Но Командора я будто впервые вижу.

Он отстраняется, глядит на меня сверху. Снова робко улыбается. Какая прямота.

— Не так, — говорит он. — Как будто по правде.

Он был такой грустный.

Это тоже домысел.

IX. Ночь

Глава 24

Я возвращаюсь по сумрачному коридору, вверх по приглушенной лестнице, украдкой в свою комнату. Там я сижу на стуле, не включая света, в красном платье, застегнута на все крючки, на все пуговицы. Ясно мыслить можно лишь одетой.

Перспектива — вот что мне нужно. Иллюзия глубины создается рамой, расположением форм на плоскости. Перспектива необходима. Иначе остаются только два измерения. Живешь, приплюснув лицо к стене, все вокруг — исполинский передний план, все близко — детали, волосы, текстура простыни, молекулы лица. Кожа твоя — словно карта, схема тщеты, расчерченная тропками, что ведут в никуда. Живешь сегодняшним днем. А в нем я жить не хочу.

Но в нем я и живу, никуда не денешься. Время — ловушка, и я в ней застряла. Нужно забыть свое тайное имя и все пути назад. Меня зовут Фредова, и живу я здесь.

Живи настоящим, лови момент, у тебя ничего больше нет.

Пора подвести итоги.

Мне тридцать три. Я шатенка. Пять футов семь

дюймов, если босиком. Мне сложно вспомнить, какой я была. Яичники жизнеспособны. Остался еще один шанс.

Но что-то переменилось — сегодня, сейчас. Обстоятельства изменились.

Я могу что-нибудь попросить. Вероятно, немного; но хоть что-нибудь.

Мужчины — секс-машины, говорила Тетка Лидия, и, в общем, больше ничего. У них одно на уме. Ради своего же блага научитесь ими управлять. Водить их за нос; это метафора. Такова природа. Так задумал Господь. Так устроен мир.

Тетка Лидия прямо не говорила, но это сквозило в каждом слове. Парило у нее над головой, как позолоченные девизы над святыми Средневековья. Как и святые, Тетка Лидия была угловата и бесплотна.

Но как подогнать к этому Командора — сидит в кабинете, играет в слова, хочет — чего? Чтобы с ним поиграли, чтобы нежно поцеловали, как будто по правде.

Я знаю, нельзя шутить с ним, с этим его желанием. Вдруг оно важно, вдруг оно — пропуск, вдруг оно — мое крушение. Нужно поразмыслить, нужно все взвесить. Но что бы я ни делала — сижу в темноте, и прожекторы снаружи освещают

прямоугольник моего окна сквозь занавески, воздушные, как подвенечное платье, как эманация, и одна моя рука сжимает другую, и я чуть покачиваюсь туда-сюда, — что бы я ни делала, мне все равно смешно.

Он хотел, чтобы я сыграла с ним в «Эрудит» и поцеловала его, как будто по правде.

Одно из самых нелепых событий за всю мою жизнь. На все — свой контекст.

Помню, я видела одну телепрограмму — повтор, ее снимали за много лет до того. Мне было, наверное, лет семь или восемь, — слишком мала, не понимала. Такое любила смотреть мама — историческое, образовательное. Она пыталась мне потом объяснить, говорила, что все эти вещи взаправду случились, но я решила, что мне просто рассказали историю. Я думала, ее кто-то сочинил. Наверное, для всех детей события, которые им предшествовали, таковы. Не так страшно, если это лишь история.

Показывали документальный фильм про одну из войн. Брали интервью, вставляли фрагменты из черно-белых фильмов тех времен и фотографии. Я мало что помню, но запомнила качество снимков: всё на них будто покрывала взвесь солнечного света и пыли, и у людей темны были

тени под бровями и вдоль скул.

Интервью с теми, кто был еще жив, показывали в цвете. Лучше всего я запомнила женщину, которая была любовницей одного человека — он курировал лагерь, куда евреев загоняли, прежде чем убить. В печах, сказала мама; но печи не показали, и я запуталась, я решила, что люди умирали в кухнях. Для ребенка эта мысль особенно ужасна. Печи — значит, готовка, а готовка предшествует еде. Я решила, что этих людей съели. В некотором роде так оно, пожалуй, и было.

По их словам, этот человек был жесток и свиреп. Любовница — мама объяснила, что такое *любовница,* она не верила в мистификации, у меня к четырем годам появилась книжка-раскладушка про половые органы, — любовница когда-то была очень красива. Показали черно-белые снимки — ее и другой женщины, обе в раздельных купальниках, в туфлях на платформе и широкополых шляпах; в темных очках «кошачий глаз» они сидели в шезлонгах у бассейна. Бассейн был возле дома, а дом — возле лагеря с печами. Женщина говорила, что не замечала ничего подозрительного. Уверяла, что не знала о печах.

Лет сорок-пятьдесят спустя, когда у нее брали

интервью, она умирала от эмфиземы. То и дело кашляла, была совсем худая, почти прозрачная; но все равно гордилась своей красотой. (Ты только глянь, не без восхищения проворчала мама. До сих пор своей красотой гордится.) Тщательный макияж, густо намазанные ресницы, румяна, кожа обтягивала костлявые скулы, точно тесная резиновая перчатка. Женщина носила жемчуг.

Он был не чудовище, сказала она. Все считают, что он чудовище, но он не чудовище.

О чем она вообще думала? Наверное, почти ни о чем; по крайней мере тогда, в то время. Думала о том, как бы не думать. Времена были ненормальные. Она гордилась своей красотой. Не верила, что он чудовище. Для нее он не был чудовищем. Наверняка у него имелась какая-нибудь подкупающая черточка: он фальшиво насвистывал в душе, обожал трюфели, называл свою собаку Либхен и учил служить за кусочки сырого мяса. Как просто в ком угодно выдумать гуманность. Какой доступный соблазн. Большой ребенок, говорила она себе. Ее сердце таяло, она убирала у него со лба волосы, целовала в ухо — и не выгоды ради. Инстинкт утешить, облегчить. Тише, тише, говорила она, когда его будил ночной кошмар. Как же тебе достается. Наверняка она во все это

верила — иначе как ей жить дальше? Под своей красотой она была очень обыкновенная. Верила в приличия, была добра к служанке-еврейке — ну, более или менее добра, добрее, чем требовалось.

Через несколько дней после съемок она покончила с собой. Об этом так и сказали, прямо по телевизору.

Никто не спросил, любила ли она его.

Сейчас я всего отчетливее помню макияж.

Я встаю в темноте, начинаю расстегиваться. Потом что-то слышу — внутри себя, в теле. Я сломалась, что-то треснуло, вот, должно быть, в чем дело. Дыбится грохот, рвется наружу, из разлома во мне, как во сне. Вот так нежданно: я и не думала, ни о здесь, ни о там, ни о чем. Если выпустить воздух, вылетит хохот, слишком громко, слишком огромно, непременно кто-то услышит, а потом затопочут шаги, забормочут приказы — и что? Вердикт: эмоции, не адекватные поводу. Блуждающая матка — вот как думали прежде. Истерия. А затем — таблетка, игла. Быть может, летально.

Я ладонями зажимаю рот, будто меня сейчас стошнит, падаю на колени, хохот лавой бурлит в гортани. Я заползаю в шкаф, коленки к груди, я его задушу. Сдерживаюсь — ребра болят, я трясусь,

я хожу ходуном, сейсмически, вулканически, я взорвусь. Шкаф заволокло пурпуром, упоение, рождение — рифма, ах — умереть от смеха.

Я удушаю его в складках накидки, жмурюсь, выжимая слезы из глаз. Пытаюсь настроиться.

Вскоре проходит, как эпилептический припадок. Ну вот — я сижу в шкафу. *Nolite te bastardes carborundorum.* В темноте я не вижу надписи, но кончиками пальцев обвожу крошечные каракули, точно шрифт Брайля. В голове они отдаются не столь молитвой, сколь повелением; но сделать что? Все равно для меня бесполезны эти древние иероглифы, к коим потерян ключ. Зачем же она писала, зачем старалась? Отсюда не выбраться.

Я лежу на полу, дышу слишком быстро, потом медленнее, выравниваю дыхание, как на Родовой Гимнастике. Слышу только движение сердца: открыто, сомкнулось, открыто, сомкнулось, открыто.

X. Свитки Духа

Глава 25

Первым делом наутро я слышу вопль и грохот. Кора уронила поднос с завтраком. Это меня разбудило. Я так и лежала наполовину в шкафу, головой на свернутой накидке. Видимо, стащила ее с вешалки и уснула; секунду не могла вспомнить, где я. Кора стояла рядом на коленях, я ощущала ее руку на спине. Она вновь завопила, едва я шевельнулась.

Что такое? спросила я. Перекатилась на живот, оттолкнулась от пола.

Ой, сказала она. А я подумала.

Что она подумала?

Ну… сказала она.

На полу разбитые яйца, апельсиновый сок и стеклянные брызги.

Надо мне другой принести, сказала она. Все коту под хвост. Ты почему на полу? Она потянула меня, подняла, чтобы как полагается — на ноги.

Я не хотела говорить, что вообще не ложилась в постель. Я бы не смогла объяснить. Сказала, что, кажется, упала в обморок. Почти ничем не лучше: она в мой ответ вцепилась мертвой хваткой.

Это один из первых признаков, обрадовалась

она. Это, и еще рвота. Могла бы сообразить, что времени прошло маловато; но она очень надеется.

Нет, не в этом дело, сказала я. Я сидела на стуле. Я уверена, что не в этом. Просто голова закружилась. Встала, и в глазах потемнело.

Ты, наверное, перенапряглась, сказала она, ну, после вчерашнего. Вымоталась.

Она говорила о Рождении, и я ответила, что да, вымоталась. Я сидела на стуле, а она стояла на коленях, подбирала осколки, ошметки яйца, складывала их на поднос. Лужицу апельсинового сока она промокнула салфеткой.

Надо тряпку принести, сказала она. Они спросят, зачем лишние яйца. Если ты, конечно, без них не обойдешься. Она посмотрела косо, лукаво; я поняла, что лучше нам обеим притвориться, будто я все же позавтракала. Если б она рассказала, что нашла меня на полу, мне бы слишком многое пришлось объяснять. Коре в любом случае отвечать за битую посуду, но Рита разворчится, если ей придется готовить завтрак второй раз.

Я обойдусь, сказала я. Не так уж хочется есть. Это было удачно, согласуется с головокружением. Но с тостом я бы справилась, прибавила я. Остаться совсем без завтрака я не хотела.

Он на полу валялся, сказала она.

Ну и ладно, ответила я. Я сидела, жевала бурый тост, а она пошла в ванную и спустила в унитаз остатки яйца, которые не спасти. Потом вернулась.

Скажу, что уронила поднос, когда уходила, сказала она.

Мне приятно, что она готова лгать из-за меня, даже в такой мелочи, даже ради собственной выгоды. Это ниточка между нами.

Я ей улыбаюсь. Надеюсь, никто тебя не слышал, говорю я.

Я еще как перенервничала, сказала она, стоя в дверях с подносом. Сначала думала, там твоя одежда — ну, как бы. А потом думаю — почему одежда на полу. Думала, вдруг ты…

Сбежала, сказала я.

Ну… да, но все равно, сказала она. Все равно это ты была.

Да, сказала я. Это я.

Это я, и Кора вышла с подносом, и вернулась с тряпкой вытереть лужицу сока, и после обеда Рита бурчала, мол, кое у кого руки не откуда надо растут. Витают в облаках, не смотрят, куда ступают, говорила она, и мы жили дальше, будто ничего не произошло.

То было в мае. Мы пережили весну. Мгновение расцвета тюльпанов ушло, еле блеснув, и они короны роняли одну за другой, как зубы. Как-то раз я наткнулась на Яснораду — она преклонила колена на подушке в саду, трость лежала на траве. Яснорада секатором обрезала коробочки. Я наблюдала краем глаза, шагая мимо с корзинкой апельсинов и бараньих отбивных. Яснорада примеривалась, нацеливала лезвия, затем конвульсивным содроганием рук отхватывала коробочку. Что это — подкрадывается артрит? Или некий блицкриг, камикадзе метит в распухшие цветочные гениталии? Плодоножка. Предполагается, что луковица хранит энергию, если отрезать коробочки.

Святая и ясная Радость на коленях отрабатывать епитимью.

Я нередко так развлекаюсь — крошечными подловатыми шутками о ней; но понемножку. Не годится медлить, наблюдая Яснораду со спины.

Мечтала-то я о секаторе.

Так вот. А еще были ирисы, что воздымались, прекрасные и прохладные, на высоких стеблях, точно дутое стекло, точно пастельная вода на миг застыла всплеском, бледно-голубые, бледно-лиловые и темные, бархатные и фиолетовые,

черные лилейные на солнце, тени цвета индиго, и кровоточивые сердца, формы столь женственной — удивительно, что их давным-давно не выкорчевали. Яснорадин сад отдает подрывом устоев: ощущаешь, как захороненное безмолвно рвется вверх, к свету, будто показать, объявить: что ни заставишь смолкнуть, все закричит и услышано будет, пусть и беззвучно. Теннисонов сад, отягченный ароматами, обезжизненный; возвращение слова «обмерший». Свет на этот сад льется с солнца, это правда, но и жар поднимается от цветов, его чувствуешь: как держать ладонь в дюйме над рукой, над плечом. Он дышит в тепле, вдыхает себя. Если нынче идти по нему, средь пионов и гвоздик, голова плывет.

Ива в парадном оперении, и толку от нее чуть с ее шепотливыми намеками. *Визави,* говорит она, *террасы;* свистящие пробегают по спине содроганием, как в лихорадке. Летнее платье шуршит по бедру, травы растут под ногами, краем глаза я вижу в ветвях шевеление; перья, порхание, мелизмы, дерево — в птицу, метаморфозы взбесились. Ныне возможны богини, и воздух полнится желанием. Даже кирпичи дома смягчаются, становятся осязаемы; если на них опереться, они будут теплы и податливы. Поразительно, что

творит нужда. Закружилась ли у него голова вчера на заставе при виде моей лодыжки, когда я уронила пропуск и позволила ему подобрать? Ни платка, ни веера — что под руку попадется.

Зимы не так опасны. Мне нужна жесткость, холод, суровость; не эта тяжесть, словно я арбуз на стебле, не эта текучая спелость.

У нас с Командором уговор. Не первый подобный уговор в истории, хотя форма его необычна.

Я прихожу к Командору два или три вечера в неделю, только после ужина, но лишь когда получаю сигнал. Сигнал — это Ник. Если он полирует машину, когда я отправляюсь за покупками или когда возвращаюсь, и фуражка у него набекрень или вообще отсутствует, — я прихожу. Если его нет или фуражка надета прямо, я остаюсь в комнате, как обычно. Разумеется, дней Церемонии все это не касается.

Проблема, как водится, в Жене. После ужина она отправляется в их спальню, откуда, по-видимому, способна услышать меня, когда я крадусь по коридору, хотя я стараюсь двигаться очень тихо. Или она остается в покоях, все вяжет и вяжет свои бесконечные ангельские шарфы, все новые и новые ярды сложных и бессмысленных шерстяных человечков: ее форма воспроизводства,

должно быть. Если она сидит в покоях, дверь обычно приотворена, и я не смею проскользнуть мимо. Когда сигнал поступил, но у меня не складывается — вниз по лестнице или по коридору мимо гостиной, — Командор понимает. Он знает мое положение, как никто. Он знает все правила.

Порой, однако, Яснорада уезжает в гости к другой Жене Командора, больной; только туда она и может поехать вечером одна. Она берет еду: торт, или пирог, или хлеб, испеченный Ритой, или банку джема из мятных листьев, что растут у нее в саду. Они часто болеют, эти Жены Командоров. Болезни разнообразят им жизнь. Что до нас, Служанок и даже Марф, мы болезней избегаем. Марфы не хотят, чтоб их выпихнули в отставку, ибо кто знает, куда потом? Старух теперь особо не видать. Ну а мы — любая настоящая болезнь, долгая, изнурительная, потеря веса или аппетита, выпадение волос, отказ желез, — и конец. Помнится, Кора в начале весны ползала по дому, хотя болела гриппом, цеплялась за дверные косяки, когда думала, что никто не смотрит, старалась не кашлять. Простыла чуток, сказала она, когда Яснорада спросила.

Сама Яснорада временами берет несколько дней передышки, прячась в постель. Тогда раз-

влекают ее — Жены шуршат вверх по лестнице, бодро кудахча; ей приносят торты, и пироги, и джем, и букеты из их садов.

Они болеют по очереди. Где-то есть распорядок, невидимый, необсуждаемый. Каждая старается не заграбастать больше внимания, чем ей положено.

В те ночи, когда Яснораде предстоит уехать, меня точно призовут.

В первый раз я оторопела. Его желания были мне невнятны, а то, что я понимала, казалось нелепым, смехотворным, как поклонение сапогам на шнуровке.

И еще — какое-то разочарование. Чего я ждала в первый раз за этой закрытой дверью? Невыразимого, на четвереньках, допустим, хлыстов, извращений, увечий? В самом крайнем случае — мелкой сексуальной манипуляции, устарелого грешка, что ему теперь заказан, вычеркнут законом и наказуем ампутацией. Но предложение сыграть в «Эрудит», точно мы — давно женатая пара или двое детишек, казалось до предела нездоровым, тоже насилием в своем роде. Однако просьба такая — смутна.

И когда я уходила, по-прежнему не прояснилось, чего же он хотел, и зачем, и могу ли я это

выполнить. Если предстоит сделка, условия обмена оговариваются заранее. Только он ничего не оговорил. Я думала, может, он со мной играет, такие кошки-мышки, но теперь мне кажется, что мотивы и желания его даже ему самому были неочевидны. Еще не доросли до слов.

Второй вечер начался, как и первый. Я подошла к двери, которая была закрыта, я постучала, мне велели войти. Затем два раунда, гладкие бежевые фишки. *Зануда, кварц, закавыка, сильф, ритм,* любые трюки с согласными, что я в силах выдумать или вспомнить. Язык опух от правописания. Будто говорить на языке, что я когда-то знала, но почти забыла, на языке, что описывает обычаи, которые давным-давно стерты с лица земли: *латте* с бриошью за столиком летнего кафе, абсент в высоком стакане или креветки в роге изобилия из газеты; то, о чем я читала когда-то, но сама не видела. Словно ходить без костылей, как в фальшивых сценах старых телефильмов. *Ты сумеешь. Я знаю, ты сумеешь.* И вот так разум мой шатался и спотыкался средь зазубренных *р* и *т,* оскальзываясь на яйцевидных гласных, будто на голышах.

Командор был терпелив, если я задумывалась или спрашивала, как правильно написать. Мы

всегда можем глянуть в словарь, сказал он. Он сказал — мы. В первый раз, поняла я, он позволил мне выиграть.

Я ожидала, что в этот вечер все будет так же, включая поцелуй на ночь. Но когда мы доиграли второй раунд, Командор потянулся в кресле. Уперся локтями в подлокотники, свел пальцы вместе и поглядел на меня.

У меня есть для тебя маленький подарок, сказал он.

Чуть-чуть улыбнулся. Потом вытянул верхний ящик стола и что-то достал. Секунду подержал довольно небрежно, двумя пальцами, будто решая, отдать или нет.

И хотя мне оно предстало перевернутым, я его узнала. Когда-то их повсюду было полно. Журнал, женский журнал, судя по картинке, — фотомодель на глянцевой бумаге, волосы развеваются, шея в шарфе, губы в помаде; мода сезона листопадов. Я думала, все эти журналы уничтожены, однако вот он, пережиток, в личном кабинете Командора, где никак не ожидаешь такое найти. Командор сверху вниз глянул на модель — та смотрела прямо на него; он по-прежнему улыбался — грустно, как обычно. Разглядывал ее, как в зоопарке — зверя на грани вымирания.

Видя журнал, что наживкой болтался перед носом, я его возжелала. Я захотела его так сильно, что заломило кончики пальцев. И в то же время жажда моя казалась мне банальной и абсурдной — когда-то я к этим журналам относилась очень легко. Читала их в приемной у стоматолога, иногда в самолетах; покупала с собой в гостиничные номера — журналы заполняли пустое время, пока я ждала Люка. Пролистав, я их выбрасывала, ибо они были беспредельно вышвыриваемы, и спустя пару дней я не помнила, о чем в них читала.

Но помнила теперь. Я читала в них обещание. Они торговали превращениями; дарили бесконечные комплекты возможностей, что растягивались отражениями в двух зеркалах друг против друга, копия за копией тянулись до предела исчезновения. Предлагали авантюру за авантюрой, гардероб за гардеробом, улучшение за улучшением, мужчину за мужчиной. Намекали на омоложение, преодоление боли и всепобеждающую неистощимую любовь. Подлинное же их обещание было — бессмертие.

Вот что он держал, сам того не сознавая. Он пошелестел страницами. Я подалась к нему.

Это старый, сказал он. Антиквариат своего рода. Кажется, семидесятых. «Вог». Сказал, точно

знаток вин обронил название. Я подумал, ты захочешь взглянуть.

Я оробела. Может, он меня экзаменует, проверяет, глубоко ли во мне поселилась доктрина. Это не разрешается, сказала я.

Здесь разрешается, тихо ответил он. Разумно. Я нарушила основное табу — что уж теперь мяться перед новым, мелким? И еще одним, и еще; кто знает, где конец? За этой вот дверью табу испарялись.

Я взяла журнал и перевернула как положено. Вот они, картинки из детства: смелые, решительные, уверенные, руки раскинуты, словно обнимают вселенную, ноги расставлены, ступни жестко впечатаны в землю. Поза отдавала Ренессансом, но вспоминала я принцев, а не накуафюренных завитых дев. Эти честные глаза, оттененные макияжем, — да, но они подобны кошачьим, остановились перед броском. Не струсят, не дрогнут — в таких-то пелеринах и жестком твиде, в таких сапогах до колена. Эти женщины — флибустьеры с дамскими портфелями для награбленного и кобыльими жадными зубами.

Я чувствовала, что Командор наблюдает, как я переворачиваю страницы. Я знала: я делаю то, чего делать не должна, и ему приятно это видеть.

Я должна была ощущать себя преступницей; по меркам Тетки Лидии, я преступница и есть. Но преступницей себя я не ощущала. Я была точно старая эдвардианская открытка с пляжем: пикантна. И что еще он мне подарит? Пояс с подвязками?

Зачем вам это? спросила я.

Некоторые из нас, ответил он, сохраняют нежность к старым вещам.

Но их же должны были сжечь, сказала я. Искали по домам, жгли костры…

Что опасно в руках масс, ответил он с иронией, а может, и нет, вполне безопасно для тех, чьи побуждения…

Выше всякой критики, сказала я.

Он важно кивнул. Не поймешь, всерьез или нет.

А зачем вы это показываете мне? спросила я и тут же подумала: вот дура. Что, по-твоему, он должен сказать? Что развлекается за мой счет? Он же должен понимать, как для меня болезненны напоминания о прошлом.

К его ответу я была не готова. А кому мне еще показать? спросил он, и снова капнула грусть.

Продолжать? подумала я. Я не хотела давить слишком сильно, слишком быстро. Я знала, что

заменима. И все же очень тихо спросила: А вашей Жене?

Он, кажется, задумался. Нет, сказал он. Она не поймет. И вообще она со мной уже почти не разговаривает. Видимо, у нас теперь мало общего.

Так вот оно что, просто и ясно: Жена его не понимает.

Вот почему я здесь. Старо как мир. Так банально, что даже не верится.

На третью ночь я попросила у него крем для рук. Не хотела, чтобы вышло, будто я вымаливаю, но хотела получить, что возможно.

Что для рук? переспросил он, как всегда учтиво. Он сидел через стол от меня. Он ко мне почти не прикасался, не считая непременного поцелуя. Ни лапания, ни тяжкого сопения, ничего такого; это было бы как-то неуместно — и для него, и для меня.

Крем, сказала я. Для рук или для лица. У нас кожа очень сохнет. Почему-то я сказала «у нас» вместо «у меня». Я бы хотела еще попросить масло для ванн, в таких разноцветных шариках, они были раньше, и мне казалось, они волшебные — они жили в круглой стеклянной чаше у мамы в ванной. Но я решила, он не поймет, что это такое. Все равно их, наверное, больше не делают.

Сохнет? переспросил Командор, словно эта мысль посетила его впервые. И что вы делаете?

Мажем маслом, ответила я. Когда получается. Или маргарином. Чаще всего маргарином.

Маслом, задумчиво протянул он. Очень умно. Маслом. Он засмеялся.

Я бы ему по морде дала.

Пожалуй, я смогу достать, сказал он, точно снисходя до детского желания получить жвачку. Но она может унюхать.

Наверное, подумала я, это страх из опыта прошлого. Давнего прошлого: помада на воротнике, духи на манжетах, сцена за полночь в какой-нибудь кухне или спальне. Мужчина, лишенный такого опыта, и не задумался бы. Или он коварнее, чем кажется.

Я буду осторожна, сказала я. Кроме того, она никогда ко мне не приближается.

Иногда приближается, сказал он.

Я уставилась в пол. Об этом я забыла. Я покраснела. В эти дни я им не буду пользоваться, сказала я.

На четвертый вечер он дал мне крем для рук в пластиковом пузырьке без этикетки. Так себе крем; отдавал растительным маслом. «Лилии долин» мне не видать. Этот крем, наверное, вы-

пускают для больниц, чтобы мазать пролежни.

Но я все равно поблагодарила.

Только, сказала я, мне его негде хранить.

У себя в комнате, предложил он, словно это проще простого.

Найдут, сказала я. Кто-нибудь найдет.

Как это? спросил он, будто взаправду не понимал. Может, и впрямь не понимал. Он не впервые демонстрировал, что решительно не сознает, в каких условиях мы на самом деле живем.

Они обыскивают, пояснила я. Ищут у нас в комнатах.

Что ищут? спросил он.

Кажется, я слегка сорвалась. Бритвенные лезвия, сказала я. Книги, записи, вещи с черного рынка. Все, чего нам не полагается иметь. Господи боже, вы-то уж должны знать. Голос мой звенел злее, чем я хотела, но Командор даже не поморщился.

Значит, придется держать его здесь, сказал он.

Так я и поступила.

Я втирала крем в руки, потом в лицо, а Командор снова наблюдал, как через решетку. Хотелось отвернуться — он будто очутился со мной в ванной, — но я не посмела.

Надо помнить: для него я — всего лишь ка-

приз.

Глава 26

Недели две или три спустя, когда снова пришла пора Церемонии, оказалось, что все изменилось. Появилась неловкость, какой не было прежде. Прежде это была работа — неприятная работа, которую надо побыстрее пережить, чтобы уж отделаться. Надо себя закалять, говорила мне мама перед экзаменами, которые не хотелось сдавать, или перед прыжками в холодную воду. Я тогда особо не думала, что значит этот совет, но, видимо, речь о металле, о броне; вот так я и сделаю — закалю себя. Притворюсь, будто меня нет — нет меня в этой плоти.

И Командор тоже отсутствовал, существовал вне тела — теперь я это понимала. Может, он думал о чем-то постороннем все время, пока был со мной; с нами, ибо, разумеется, Яснорада в эти вечера тоже была. Вероятно, он вспоминал, чем занимался весь день, или думал о гольфе, или о том, что подавали на ужин. Половой акт, хоть и небрежно выполненный, для Командора был, наверное, почти бессознательным — все равно что почесаться.

Но в тот вечер, первый после того, как начал-

ся этот наш новый порядок — не знаю, как его назвать, — я стеснялась. Прежде всего, я чувствовала, что он по-настоящему смотрит на меня, и мне это не нравилось. Как обычно, горели лампы, ибо Яснорада неизменно избегала всего, что навевало романтику или эротизм, пускай хоть чуточный; верхняя люстра яркая, несмотря на полог. Будто на операционном столе у всех на виду; будто на сцене. Я ощущала, что ноги у меня волосаты — клочковато, когда-то были бриты, но потом снова отросло; я ощущала свои подмышки, хотя он их, конечно, не видел. Я была неуклюжа. Это соитие, возможно — оплодотворение, для меня должно значить не больше, нежели пчела для цветка, однако оно стало неприглядным, постыдным нарушением пристойности, каким не было раньше.

Он перестал быть вещью. Вот в чем беда. В ту ночь я это поняла, и понимание осталось. Оно усложняет.

Яснорада тоже изменилась. Когда-то я просто ее ненавидела: она причастна к тому, что со мною творят; и она меня тоже ненавидит, ее возмущает мое присутствие; и она воспитает моего ребенка, если мне все же удастся его родить. Но теперь, хотя я по-прежнему ее ненавидела, и больше всего

— когда она стискивала мои пальцы так, что ее кольца впивались мне в кожу, и еще оттягивала вверх мои руки, нарочно, скорее всего, чтобы мне было как можно неудобнее, — ненависть моя уже не была чиста и проста. Отчасти я завидовала Яснораде; но как можно завидовать женщине, столь очевидно высушенной и несчастной. Завидуешь человеку, у которого есть такое, что, по-твоему, причитается тебе. И все-таки я завидовала.

Но еще меня мучила совесть. Я вторглась на территорию, которая принадлежит ей. Теперь я тайком виделась с Командором, пускай лишь для того, чтобы играть в его игры и слушать его монологи, и наши с ней функции уже не разделялись безусловно, как в теории. Я что-то отнимала у нее, хоть она и не подозревала. Я у нее крала. И не важно, что оно ей было нежеланно, или она не знала, что с ним делать, или даже отвергла; оно принадлежало ей, и если я его отнимала, сие таинственное «оно», которое не могла толком определить, — ибо Командор не влюблялся в меня, я отказывалась верить, что чувства его столь экстремальны, — тогда что же оставалось ей?

Какое мне дело? говорила я себе. Она ничто, я ей не нравлюсь, она бы вмиг вышвырнула меня из дома или что похуже, если б изобрела повод.

Если узнает, к примеру. Он не сможет вмешаться, меня защитить; в доме проступки женщин, Марф либо Служанок, находятся в юрисдикции Жен и только Жен. Она злобна и мстительна, я это знала. И все же не могла отмахнуться от этих крошечных угрызений.

И еще: я теперь обладала некой властью над Яснорадой, хоть она и понятия о том не имела. И мне это нравилось. Да что там — мне ужасно нравилось.

Но Командору так легко было выдать меня — взглядом, жестом, легчайшей обмолвкой, которая любому зрителю откроет, что между нами нечто есть. Он чуть не выдал меня в вечер Церемонии. Протянул руку, словно хотел коснуться моего лица; я повернула голову набок — его отпугнуть, надеясь, что Яснорада не заметила, и он спрятал руку, спрятался в себя и в свое целеустремленное путешествие.

Больше так не делайте, сказала я ему вскоре, когда мы были одни.

Как не делать? спросил он.

Не трогайте меня, когда мы… когда она рядом.

А я трогал? спросил он.

Из-за вас меня могут выслать, сказала я. В Колонии. Сами же понимаете. Или что похуже. Я

считала, на людях он должен и дальше притворяться, будто я большая ваза или окно — элемент интерьера, неодушевленный или прозрачный.

Прости, сказал он. Я не хотел. Но мне показалось, это как-то…

Что? спросила я, потому что он умолк.

Обезличенно, сказал он.

И долго вы до этого додумывались? спросила я. Вот как я теперь с ним разговаривала — отношения изменились, сами видите.

Следующим поколениям, говорила Тетка Лидия, будет гораздо легче. Женщины заживут в гармонии одной семьей, вы для них будете как дочери, а когда уровень рождаемости повысится вновь, вас не придется переводить из дома в дом, потому что вас будет предостаточно. В таких условиях возможны узы подлинной привязанности, говорила она, вкрадчиво помаргивая. Женщины, спаянные общей целью! Помогают друг другу в быту, вместе шагая по дороге жизни, и у каждой своя задача. Отчего это женщина должна безраздельно волочить на себе все хозяйство? Это неразумно, негуманно. Ваши дочери будут свободнее. Мы совместно трудимся — дабы каждая обрела свой садик, каждая из вас, — опять заламывает руки, голос задыхается, — и это лишь

один *пример.* Палец воздет, грозит нам. Но нельзя ведь жадничать, мы же не хрюшки — нельзя требовать многого, пока оно не готово, правда?

По сути я его любовница. Сановники всегда заводили любовниц — с чего бы меняться порядку вещей? Устроено все по-иному, это правда. Раньше любовниц держали в отдельных домиках или квартирках, а теперь всех слили и перемешали. Но по существу все то же. Более или менее. *Женщина на стороне,* вот как их прежде называли. Я — женщина на стороне. Моя работа — предоставить то, чего иначе не хватает. Пусть даже «Эрудит». Положение абсурдное, к тому же унизительное.

Порой мне кажется, она знает. Порой мне кажется, они в сговоре. Порой мне кажется, она его подбила и смеется надо мной; как я — временами, с иронией — смеюсь над собою. Пусть бремя ляжет на нее, говорит она, вероятно, себе. Может, она почти совсем от него отдалилась; может, такова ее версия свободы.

И все равно, как ни глупо, я счастливее, чем была. Хотя бы есть чем заняться. Есть чем заполнить ночи — хоть не торчать одиноко в комнате. Есть о чем подумать. Я не люблю Командора, ничего такого, но он интересует меня, заполняет

пространство, он не просто тень.

Как и я для него. Для него я уже не только употребимое тело. Для него я не просто судно без груза, потир без вина, печка — грубо говоря, — минус булка. Для него я не просто пуста.

Глава 27

Мы с Гленовой шагаем по летней улице. Влажно, жарко; прежде была бы пора сарафанов и босоножек. У нас в корзинках клубника — сейчас для клубники сезон, так что мы будем есть ее, всё есть и есть, пока не затошнит от клубники, — и свертки с рыбой. Мы раздобыли рыбу в «Хлебах и Рыбах»[49] под деревянной вывеской — улыбчивая рыба с ресницами. Хлебов там, однако, не продают. В большинстве домов пекут сами, хотя, если недостача, в «Хлебе Насущном» найдутся сухие рогалики и морщинистые пончики. «Хлеба и Рыбы» толком даже не открываются. Зачем открываться, если нечем торговать? Морское рыболовство свернули несколько лет назад; редкие оставшиеся рыбки — с рыбных ферм, отдают тиной. В новостях говорят, прибрежные территории «под паром». Палтус, вспоминаю я, и пикша, меч-рыба, гребешки, тунец; омары, фаршированные и запеченные, лосось, жирный

[49] Примечания: 49

"Он взял пять хлебов и две рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам Своим, чтобы они раздали им; и две рыбы разделил на всех» (Мк. 6:41).

и розовый, пожаренный кусками. Неужели все вымерли, как киты? Я об этом слышала — слух передали беззвучно, еле шевеля губами, пока мы снаружи стояли в очереди, привлеченные плакатом с сочным белым филе в витрине, и ждали, когда откроется. Если что-то появляется, выставляют картинку, если нет ничего — убирают. Бессловесный язык.

Мы с Гленовой идем сегодня медленно; в длинных платьях жарко, мокро под мышками, мы устали. В такую жару хоть перчатки носить не надо. Где-то в этом квартале раньше было кафе-мороженое. Не помню названия. Все меняется так стремительно, здания выдирают с корнем или во что-нибудь переоборудуют, не уследишь за ними, как когда-то. Можно было заказать двойное, а если попросишь, сверху посыпали шоколадной крошкой. Она еще называлась мужским именем. «Джонни»? «Джеки»? Забыла.

Когда она была маленькая, мы ходили туда, и я ее поднимала, чтобы ей было видно через стеклянный бок витрины, где выставлялись лотки мороженого таких нежных цветов — бледно-оранжевого, бледно-зеленого, бледно-розового, — и я читала ей названия, чтобы она выбрала. Но она выбирала не по названию — по цвету. Ее

платьица и комбинезоны были таких же тонов. Пастельного мороженого.

«Джимми», вот как они назывались.

Нам с Гленовой теперь уютнее друг с другом, мы приноровились. Сиамские близнецы. Мы уже почти не соблюдаем формальности, когда здороваемся; улыбаемся и шагаем тандемом, катимся гладко по ежедневным рельсам. Время от времени меняем маршрут; в этом нет ничего дурного, пока мы за оградой. Крысе в лабиринте позволительно идти куда вздумается, — при условии, что она в лабиринте.

Мы побывали в магазинах и церкви; теперь мы у Стены. На Стене пусто, летом трупы не болтаются подолгу, как зимой, потому что мухи и вонь. Тут прежде была колыбель дезодорантов, Сосновых и Цветочных, и люди сохранили вкус; в особенности Командоры, поборники тотальной чистоты.

— Ты все купила, что в списке? — спрашивает Гленова, хотя знает, что да. Списки длинными не бывают. Ее апатия, ее меланхолия в последнее время отчасти ее отпустила. Нередко Гленова заговаривает первой.

— Да, — говорю я.

— Давай прогуляемся, — говорит она. Имея в ви-

ду: вниз, ближе к реке. Мы давно туда не ходили.

— Ладно, — говорю я. Но поворачиваюсь не сразу: так и стою, где стояла, напоследок гляжу на Стену. Вот красные кирпичи, вот прожекторы, вот колючая проволока, вот крюки. Отчего-то пустота Стены еще грознее пророчит беду. Если кто-то висит, хотя бы знаешь худшее. Но опустелая Стена устрашает, как надвигающийся шторм. Когда я вижу тела, настоящие тела, когда по размерам и формам различаю, что ни одно из них не Люково, я в силах верить, что он еще жив.

Не знаю, почему я жду, что он появится на Стене. Есть сотня мест, где его могли убить. Но мне никак не избавиться от мысли, что он внутри вот прямо сейчас, за глухим красным кирпичом.

Я пытаюсь представить, в каком он корпусе. Я помню, где корпуса за Стеной; прежде мы входили свободно — когда там располагался университет. Мы до сих пор изредка заходим — на Женские Избавления. Большинство корпусов тоже из красного кирпича, в некоторых сводчатые входы, якобы романские, девятнадцатый век. В корпуса нас теперь не пускают; да и кто захочет войти? Там на всяком месте Очи.

Может, он в Библиотеке. Где-нибудь в подвалах. В книгохранилище.

Библиотека — будто храм. Длинная белая лестница ведет к шеренге дверей. За ними другая белая лестница наверх. По стенам ангелы. И мужчины, которые дерутся или вот-вот начнут, опрятные и благородные, а не грязные, окровавленные и вонючие, какими должны быть. По одну сторону дверей их ведет Победа, по другую сторону — Смерть. Роспись в память о какой-то войне. Мужчины на стороне Смерти еще живы. Они отправляются на Небеса. Смерть — прекрасная крылатая женщина, одна грудь почти обнажена — или это Победа? Забыла.

Такое они не уничтожат.

Мы отворачиваемся от Стены, идем влево. Несколько пустых витрин — стекла замазаны мылом. Я пытаюсь вспомнить, что здесь продавали раньше. Косметику? Бижутерию? Большинство магазинов для мужчин работают по-прежнему; закрыты лишь те, что торговали тщетой, как они выражаются.

На углу магазин, называется «Свитки Духа». Франшиза: в центре каждого города есть «Свитки Духа», в каждом пригороде — во всяком случае, так говорят. Надо думать, очень прибыльно.

Витрина в «Свитках Духа» противоударная. За ней — печатные станки, ряд за рядом; называются

«Распродажи Блажи», но только среди нас — это же непочтительно. В «Свитках Духа» распродаются молитвы — без конца печатаются на станках свиток за свитком. Бронируются по Компофону — я подслушала, как звонила Жена Командора. Заказ молитв в «Свитках Духа» — симптом набожности и верности режиму; разумеется, Жены Командоров заказывают их в избытке. Это полезно для мужниной карьеры.

Есть пять разных молитв: о здоровье, богатстве, смерти, рождении, грехе. Заказываешь, какую хочешь, набираешь номер, потом собственный номер, чтобы деньги списали со счета, потом набираешь, сколько раз повторить молитву.

Печатая, станки разговаривают; если угодно, можно зайти и послушать, как металлические голоса снова и снова бормочут одно и то же. Едва молитвы напечатаны и проговорены, бумага затягивается в специальную щель и перерабатывается в новую бумагу. Людей в «Свитках» нет; машины и сами справляются. Снаружи не слышно голосов, только бубнеж, гул, словно благочестивая толпа преклонила колена. У каждого станка на боку нарисован золотой глаз с двумя золотистыми крылышками.

Я пытаюсь вспомнить, чем здесь торговали,

когда был магазин, когда его еще не превратили в «Свитки Духа». По-моему, дамским бельем. Розовые и серебристые коробки, разноцветные колготки, бюстгальтеры с кружевами, шелковые платки? Чем-то утраченным.

Мы с Гленовой стоим перед «Свитками Духа», наблюдаем в противоударные витрины, как молитвы набегают из машин и вновь уползают в щель, возвращаются в царство невысказанного. Я отвожу взгляд. Я вижу не станки, а Гленову, ее отражение в стекле. Она глядит прямо на меня.

Мы смотрим друг другу в глаза. Я вообще впервые ловлю ее взгляд — прямой и упорный, не искоса. У нее овальное лицо, розовое, пухлое, но не расплылось; а глаза круглые.

Она не отворачивается — смотрит решительно, не дрогнув. Теперь сложно отвести глаза. Это потрясение — видеть; все равно что впервые увидеть кого-то голым.

В воздухе звенит риск — это ново. Даже взгляд в упор — и то опасность. Хотя рядом никого. Наконец Гленова открывает рот.

— Как думаешь, — говорит она, — Бог эти станки слышит? — Она шепчет — привычка из Центра.

В прошлом — довольно тривиальное заме-

чание, школярские раздумья. Ныне — измена родине.

Можно заорать. Можно убежать. Можно безмолвно отвернуться, показать, что в своем присутствии я таких разговоров не потерплю. Подрыв устоев, подстрекательство, богохульство, ересь — все разом.

Закаляй себя.

— Нет, — говорю я.

Она выдыхает — длинный выдох облегчения. Мы вместе преступили незримую черту.

— Вот и я тоже, — говорит она.

— Хотя, пожалуй, вера в этом есть, — говорю я. — Как в тибетских молитвенных колесах.

— А это что?

— Я о них читала, — говорю я. — Их крутил ветер. Их больше нет.

— Как и всего прочего, — отвечает она. Лишь теперь мы отводим глаза.

— Тут безопасно? — спрашиваю я.

— По-моему, безопаснее всего. Мы как будто молимся, вот и все.

— А они?

— Они? — Гленова по-прежнему шепчет. — Снаружи всегда безопасно, микрофонов нет. Зачем здесь вообще микрофон? Они думают, никто не

посмеет. Но мы долго уже тут стоим. Пошли, а то опоздаем. — Мы вместе поворачиваемся. — Не поднимай голову, когда пойдем, — говорит она, — и чуть-чуть наклонись ко мне. Тогда мне будет лучше слышно. Если кто-нибудь рядом — молчи.

Мы идем, склонив головы, как обычно. Я так волнуюсь, что еле дышу, но иду ровно. Нельзя привлекать внимание — особенно теперь.

— Я думала, ты правоверная, — говорит Гленова.

— Я думала, ты, — отвечаю я.

— От тебя прямо несло благочестием.

— От тебя тоже. — Мне хочется смеяться, кричать, обнимать ее.

— Можешь к нам присоединиться, — говорит она.

— К нам? — Значит, бывает «к нам»; значит, есть «мы». Я знала.

— Ты сама подумай — я же не одна такая, правда? — говорит она.

Я так и думала. Но вдруг она шпионка, подсадная утка, хочет подставить меня; такова почва, на которой мы произрастаем. Нет, не верится; надежда разливается во мне, точно соки в дереве. Кровь в ране. Начало положено.

Я хочу спросить, не видела ли она Мойру, не

может ли кто-нибудь выяснить, что с Люком, что с моим ребенком, даже с мамой, но время вышло; вот мы уже приближаемся к главной улице, к той, что у первой заставы. Дальше чересчур людно.

— Ни слова, — предупреждает Гленова, хотя нужды нет. — Ни в коем случае.

— Само собой, — говорю я. Кому мне рассказывать?

Мы молча идем по главной улице — мимо «Лилий», мимо «Всякой плоти». На тротуарах необычайно много людей: тепло всех выгнало на улицу. Женщины в зеленом, синем, красном, в полоску; и мужчины тоже, одни в мундирах, другие в гражданском. Солнце бесплатно, солнцем по-прежнему разрешено насладиться. Хотя никто больше не загорает — во всяком случае, на виду.

И машин больше: «бури» с шоферами и пассажирами средь подушек, за рулем авто помельче — помельче и люди.

Что-то случилось: на автомобильном мелководье суета, суматоха. Некоторые паркуются у обочины, словно пропускают кого-то. Я быстро поднимаю взгляд: сбоку черный фургон с белокрылым оком. Сирены молчат, но остальные машины все равно его сторонятся. Фургон мед-

ленно пробирается по улице, будто ищет; акула на охоте.

Я каменею, с ног до головы меня окатывает холод. Наверняка там были микрофоны, нас все-таки подслушали.

Гленова, загораживаясь рукавом, стискивает мой локоть.

— Шагай, — шепчет она. — Притворись, что не видишь.

Но тут не захочешь — увидишь. Фургон тормозит прямо перед нами. Два Ока в серых костюмах выпрыгивают из двойных задних дверей. Хватают мужчину, который идет один, мужчину с портфелем, совершенно обычного, пихают к черному боку фургона. Какой-то миг мужчина распластан по металлу, точно прилип; затем один из Очей надвигается, дергается как-то резко и грубо, и мужчина оседает обмякшим тюком тряпья. Его подхватывают и закидывают в фургон, словно мешок с почтой. Вот они оба тоже внутри, хлопают дверцы, фургон едет дальше.

Несколько секунд — и все кончено, и улица движется вновь как ни в чем не бывало.

Что я чувствую? Облегчение. Не за мной.

Глава 28

Дремать после обеда неохота — адреналин не дает. Я сижу на канапе, гляжу сквозь полупрозрачность занавесок. Белая ночнушка. Окно открыто, насколько оно это умеет, ветерок на солнце жарок, и белую ткань сдувает мне в лицо. Снаружи я, наверное, будто кокон, привидение, лицо в пеленах, видны лишь контуры — носа, забинтованного рта, ослепших глаз. Но мне нравится, как мягкая ткань касается кожи. Словно в облаке сидишь.

Мне выдали маленький электрический вентилятор — при такой влажности помогает. Он жужжит в углу на полу, лопасти за решеткой. Будь я Мойрой, я бы знала, как его разобрать, свести к лезвиям. Отвертки нет, но, будь я Мойрой, отвертка бы и не понадобилась. Я не Мойра.

Что бы она сказала про Командора, окажись она здесь? Наверное, не одобрила бы. Она когда-то и Люка не одобрила. Не Люка, а то, что он женат. Сказала, что я промышляю на чужой территории. Я сказала, что Люк не рыба и не золотой прииск, он человек и способен сам решить. Она сказала, что это казуистика. Я сказала, что влюблена. Она

сказала, что это не повод. Мойра всегда была рациональнее меня.

У нее такой проблемы нет, сказала я, с тех пор как она решила предпочесть женщин, и, насколько я понимаю, она и глазом не моргнет, если ей приспичит украсть их или позаимствовать. Тут все иначе, сказала она, поскольку среди женщин власть сбалансирована и секс означает дележку по-братски. Если уж на то пошло, «по-братски» — это сексизм, сказала я, и вообще этот аргумент устарел. Она ответила, что я все упрощаю, а если думаю, будто аргумент устарел, значит, живу, сунув голову в песок.

Все это мы сказали, сидя у меня за кухонным столом, за кофе, тихо и напряженно: мы так спорили с тех пор, как нам было по двадцать с хвостом, — наследие колледжа. Кухня ветхой квартирки в дощатом доме у реки — трехэтажном и с шаткой наружной лестницей на задах. Я жила на втором этаже, то есть слышала шум снизу и сверху, два нежеланных стерео громыхали далеко за полночь. Студенты, я понимала. Я еще ходила на свою первую работу, где платили всего ничего: я работала на компьютере в страховой компании. И гостиницы с Люком для меня означали не просто любовь и даже не просто секс.

Они означали побег от тараканов, протекающей раковины, от линолеума, что кусками отшелушивался от пола, даже от моих собственных попыток оживить квартирку, налепив плакаты по стенам и повесив призмы на окна. Цветы в горшках у меня тоже были; правда, на них вечно селились паутинные клещики, либо растительность дохла от засухи. Я удирала с Люком и ее бросала.

Есть много способов жить, сунув голову в песок, сказала я, и если Мойра считает, будто можно создать Утопию, запершись в анклаве только с женщинами, — увы, она заблуждается. Мужчины никуда не денутся, сказала я. Нельзя их просто игнорировать.

Ты еще скажи, мы все заболеем просто потому, что сифилис существует, ответила Мойра.

Ты что хочешь сказать? Что Люк — социальная болезнь? спросила я.

Она расхохоталась. Ты только посмотри, а? сказала она. Херня какая. Мы разговариваем, как твоя матушка.

Мы обе засмеялись, и когда она уходила, мы обнялись, как всегда. Однажды мы не обнимались — когда она поведала, что лесбиянка; но потом она сказала, что я ее не возбуждаю, утешила меня, и мы вернулись к объятиям. Да, мы ссорились,

перекались, обзывались, но, по сути, это ничего не меняло. Она была моя самая старая подруга.

И есть.

Вскоре я сняла квартирку получше и прожила там два года, пока Люк выпутывался. Платила сама, сменив работу. Работала в библиотеке — не в большой, со Смертью и Победой, а поменьше.

Я копировала книги на компьютерные диски, чтобы сэкономить на хранении и стоимости замены. Мы себя называли — дискеры. А библиотеку — дискотекой; такая у нас была шуточка. Едва книгу скопировали на диск, ее полагалось отправить в бумагорезку, но иногда я уносила их домой. Мне нравилось их щупать и разглядывать. Люк говорил, у меня мозги антиквара. Ему это нравилось — он сам любил старье.

Теперь странно представить, что можно заниматься делом, иметь дело. *Дело.* Смешное слово. Дело — это для мужчин. Делай свои дела, говорили детям, когда приучали к горшку. Или про собак: псина наделала на ковер. Мама рассказывала, собаку полагалось лупить свернутой газетой. Я и не помню, когда были газеты, хотя и собак я не заводила, всегда кошек.

Деяния святых Апостолов. Дела.

У многих женщин было свое дело: ныне слож-

но вообразить, но работали тысячи, миллионы. Считалось нормальным. А теперь это все равно что вспоминать бумажные деньги — когда они еще были. Мама хранила чуть-чуть, вклеила в фотоальбом вместе с давними снимками. Они тогда уже устарели, на них ничего нельзя было купить. Куски бумаги, толстоватые, на ощупь сальные, зеленые, на обеих сторонах картинки: какой-то старик в парике, а на обороте пирамида и над нею глаз. Внизу написано: «На Бога уповаем». Мама рассказывала, возле касс в шутку выставляли таблички: «На Бога уповаем, остальные платят наличными». Теперь это богохульство.

Эти бумажки надо было таскать с собой за покупками, но когда мне было лет девять или десять, почти все уже расплачивались пластиковыми картами. Впрочем, не за продукты — это уже потом. Казалось, это так примитивно, почти тотемизм, вроде раковин каури. Я, наверное, сама чуть-чуть пользовалась бумажными деньгами, до того как все перешли на Компобанк.

Видимо, потому у них и получилось — в мгновение ока, заранее никто ничего не знал. Оставайся тогда портативные деньги, было бы труднее.

Это было уже после катастрофы, когда застрелили президента, из автоматов расстреляли

Конгресс и армия объявила чрезвычайное положение. Свалили на исламистских фанатиков.

Сохраняйте спокойствие, говорили по телевизору. Все под контролем.

Я была ошарашена. Все были ошарашены, я понимаю. Невероятно. Все правительство целиком — пфф! — и нету. Как они проникли внутрь, как так получилось?

И тогда приостановили Конституцию. Сказали, что временно. Даже уличных беспорядков не было. Все сидели ночами по домам, смотрели телевизор, искали хоть какого руководства. Даже конкретного врага не находилось.

Не проспи, сказала мне Мойра по телефону. Начинается.

Что начинается? спросила я.

Погоди — увидишь, сказала она. К этому все и шло. Нас с тобой загнали в угол, детка. Она цитировала мою маму, но отнюдь не шутила.

На многие недели все так и зависло, хотя кое-что происходило. В газетах ввели цензуру, некоторые закрылись — говорили, из соображений безопасности. Начали появляться заставы и Личнопропуска. Это все одобрили: уж лучше перестраховаться. Говорили, что состоятся новые выборы, но нужно время, чтобы к ним подгото-

виться. А пока, говорили, живите как обычно.

Однако закрылись «Порномарты», и с Площади куда-то подевались фургоны «Потискай киску» и «Авто-Попа-Дания». Впрочем, я о них не печалилась. Мы все от них натерпелись.

Давно пора было что-то сделать, сказала женщина за прилавком в магазине, где я обычно покупала сигареты. Киоск на углу, таких много было: газеты, сладости, курево. Женщина постарше, седая; мамино поколение.

Их что, просто взяли и закрыли? спросила я.

Она пожала плечами. Кто его знает и кому охота знать? сказала она. Может, перевели куда-нибудь. Совсем их вытравливать — все равно что мышей топтать. Она набрала на кассе мой Компономер, почти не глядя: я уже была завсегдатай. Люди жаловались, сказала она.

На следующее утро по пути в библиотеку я зашла в тот же киоск, поскольку сигареты закончились. Я тогда больше курила — все от напряжения, его улавливаешь, как подземный гул, хотя вокруг тишь да гладь. И кофе я пила больше, и плохо спала. Все были какие-то дерганые. По радио чаще крутили музыку и меньше разговаривали.

Мы женаты — кажется, много лет; ей года три-

четыре, она в детском саду.

Мы проснулись как обычно, позавтракали — мюсли, помнится, — и Люк повез ее в школу; в костюмчике, который я купила за пару недель до этого: полосатый комбинезон и голубая футболка. Что же за месяц был? Очевидно, сентябрь. Ездили «Гондолы Школы», они забирали детей, но я почему-то хотела, чтобы ее возил Люк: я волновалась даже из-за школьного автобуса. Дети никуда не ходили пешком — слишком многие пропадали.

На углу продавщицы не было. Вместо нее оказался мужчина, юнец — и до двадцати не дотягивал.

Она заболела? спросила я, отдавая ему карточку.

Кто? спросил он — мне показалось, огрызнулся.

Женщина, которая тут обычно.

Мне-то откуда знать? сказал он. Он набирал мой номер, изучал каждую цифру, тыкал одним пальцем. Явно раньше ничем подобным не занимался. Я барабанила пальцами по прилавку, мне не терпелось покурить, я раздумывала, говорил ли ему кто-нибудь, что можно бы как-то полечить прыщи на шее. Я его помню очень ясно: высокий,

чуть сутулый, стриженые темные волосы, карие глаза, которые фокусировались в паре дюймов за моей переносицей, и эти прыщи. Наверное, я его так хорошо запомнила из-за того, что он сказал потом.

Извините, сказал он. Номер недействителен.

Ерунда какая, ответила я. Он действует, у меня в банке несколько тысяч. Мне распечатку принесли два дня назад. Попробуйте еще раз.

Недействителен, заупрямился он. Красная лампочка горит, видите? Значит, недействителен.

Вы, наверное, ошиблись, сказала я. Попробуйте снова.

Он пожал плечами и улыбнулся — мол, достала уже, — однако попробовал снова. На сей раз я следила за его пальцами на клавиатуре, проверяла каждую цифру на экране. Номер мой, все верно, однако опять загорелась красная лампочка.

Видите? повторил он с той же улыбочкой — будто знает шутку, а мне не скажет.

Я им позвоню из офиса, сказала я. Система и прежде сбоила, но пара телефонных звонков приводила ее в чувство. И все-таки я злилась, как будто меня несправедливо обвинили в том, о чем я и не знала вовсе. Как будто я сама ошиблась.

Валяйте, безучастно ответил он. Я оставила си-

гареты на прилавке — я же за них не заплатила. Решила, что одолжу у кого-нибудь на работе.

Я позвонила из офиса, но мне проиграли только запись. Линии перегружены, сообщала запись. Не могла бы я, пожалуйста, перезвонить?

Насколько я поняла, за все утро линии так и не разгрузились. Я несколько раз перезванивала, но без толку. Даже это не особо удивляло.

Около двух, после обеда, в дисковую комнату вошел директор.

Я должен вам кое-что сообщить, сказал он. Выглядел он кошмарно; всклокоченный, глаза красные и бегают, как будто он напился.

Мы все подняли головы, выключили машины. Нас в комнате было человек восемь или десять.

Простите, сказал он, но таков закон. Честное слово, мне ужасно жалко.

Что жалко? спросил кто-то.

Я должен вас отпустить, сказал он. Таков закон, я обязан. Я должен всех вас отпустить. Он произнес это почти нежно, словно мы дикие животные, словно мы жабы, а он поймал нас в склянку и теперь являет гуманность.

Мы уволены? спросила я. Поднялась. За что?

Не уволены, сказал он. Отпущены. Вам здесь больше нельзя работать, таков закон. Он пальца-

ми боронил шевелюру, и я подумала: он спятил. Перенапрягся, контакты в башке спалило.

Вы не можете так *поступить*, сказала женщина, сидевшая рядом со мной. Прозвучало фальшиво, немыслимо, как реплика по телевизору.

Это не я, сказал он. Вы не понимаете. А сейчас, пожалуйста, уходите. Его голос срывался на визг. Я не хочу неприятностей. Если будут неприятности, мы потеряем книги, всё сломают… Он глянул через плечо. Они снаружи, сказал он, у меня в кабинете. Они войдут, если вы не выйдете. Мне дали десять минут. Казалось, он свихивается окончательно.

Да у него крыша едет, высказался кто-то — очевидно, мы все об этом думали.

Но я видела коридор — там стояли двое в форме, с автоматами. Слишком театрально, не может быть по правде, и тем не менее: внезапное видение, марсиане какие-то. Они были точно сон — слишком живые, слишком контрастировали с обстановкой.

Машины оставьте, сказал директор, когда мы собрали вещи и цепочкой потянулись к выходу. Как будто мы могли забрать их с собой.

Мы сгрудились на ступеньках перед библиотекой. Мы не знали, что друг другу сказать. Никто

не соображал, что творится, а потому и сказать было нечего. Мы смотрели друг на друга и различали ужас и какой-то стыд, будто нас поймали за тем, чего делать не положено.

Возмутительно, сказала одна женщина — впрочем, неуверенно. Что такого произошло — почему мы чувствовали, что заслужили это?

В доме никого. Люк еще на работе, дочка в детском саду. Я устала, устала как собака, но едва села, вскочила снова — не сиделось. Я бродила по дому, из комнаты в комнату. Помню, я трогала вещи, не слишком даже осознанно, просто касалась пальцами; тостера, сахарницы, пепельницы в гостиной. Через некоторое время взяла кошку и стала таскать ее с собой. Я хотела, чтобы вернулся Люк. Мне казалось, надо что-то делать, предпринимать шаги; только я не знала, куда можно шагнуть.

Я позвонила в банк, но услышала ту же запись. Налила молока — никакого кофе, сказала я себе, и так трясет, — и пошла в гостиную, села на диван, поставила молоко на журнальный столик, очень осторожно, ни глотка не выпив. Я прижимала кошку к груди, чтоб она мурлыкала мне в шею.

Вскоре я позвонила маме — в квартире никто не ответил. Мама к тому времени уже более или

менее осела, не переезжала каждые несколько лет; жила через реку от меня, в Бостоне. Я еще подождала и позвонила Мойре. Ее тоже не было, но через полчаса, когда я перезвонила, она уже была. Между звонками я просто сидела на диване. Думала про дочкины обеды. Не слишком ли много бутербродов с арахисовым маслом я ей кладу.

Меня уволили, сказала я Мойре, когда дозвонилась. Она сказала, что сейчас приедет. Она тогда работала в женской организации, в издательском отделе. Они выпускали книги о контроле рождаемости, насилии и тому подобном, хотя спрос на такое поутих.

Я приеду, сказала она. Видимо, по голосу моему поняла, что мне это нужно.

Спустя некоторое время она приехала. Ну, сказала она. Бросила куртку, растянулась в громадном кресле. Ну рассказывай. Нет, сначала выпьем.

Она встала, ушла в кухню, налила нам обеим скотча, вернулась, села, и я попыталась рассказать, что со мной приключилось. Когда я закончила, она спросила: По Компокарте сегодня пробовала покупать?

Да, ответила я. И об этом тоже ей рассказала.

Их заморозили, объяснила она. Мою тоже. И на-

шей организации. Все счета, где написано Ж, а не М. Пару кнопок нажать — и вуаля. Нас отрубили.

Но у меня две тысячи с лишним в банке, возмутилась я, словно только мой счет и имел значение.

Женщины больше не вправе обладать собственностью, сказала она. Новый закон. Телевизор сегодня включала?

Нет, ответила я.

Так включила бы, сказала она. Только об этом и говорят. В отличие от меня ее не пришибло. Как ни странно, она словно торжествовала; можно подумать, она этого ждала давно и вот видите — оказалась права. Она даже с виду стала энергичнее, решительнее. Твоим Компусчетом сможет пользоваться Люк, сказала она. Твой номер переведут на него — ну, так они говорят. На мужа или на ближайшего родственника мужского пола.

А ты как же? спросила я. У нее никого не было.

Уйду в подполье, сказала она. Отдадим номера каким-нибудь геям, пускай нам вещи покупают.

Но зачем? спросила я. Зачем им?

А зачем — решать не нам[50], ответила Мойра. Они умные, все рассчитали — сразу и банк, и работа. А то представляешь, что творилось бы в аэропортах? Выпускать они нас не хотят, это уж как пить дать.

Я поехала за дочкой. Я осторожничала на дороге. Когда вернулся Люк, я сидела в кухне за столом. Она рисовала фломастерами за своим столиком в углу, где мы клейкой лентой прилепляли ее рисунки возле холодильника.

Люк опустился на колени и обхватил меня руками. Я слышал, сказал он. В машине по радио, когда сюда ехал. Не переживай, я уверен, что это временно.

Они сказали зачем? спросила я.

Он не ответил. Мы справимся, сказал он, обнимая меня.

Ты не представляешь, каково это, сказала я. Будто мне кто-то ноги отрезал. Я не плакала. И не могла его обнять.

Да это же просто работа, сказал он, пытаясь меня утешить.

---

[50] Примечания: 50

Парафраз строки из стихотворения английского поэта лорда Альфреда Теннисона «Атака бригады легкой кавалерии» (1854) о самоубийственной атаке английского кавалерийского отряда на русские позиции во время Крымской войны.

Я так понимаю, все деньги достаются тебе, сказала я. А ведь я еще даже не умерла. Я пыталась шутить, но повеяло жутью.

Тш-ш, сказал он. Он так и стоял на коленях. Ты же знаешь, я всегда о тебе позабочусь.

Он уже меня опекает, подумала я. И потом: ты уже впадаешь в паранойю.

Я знаю, сказала я. Я люблю тебя.

Позже, когда она легла спать, а мы ужинали и меня трясло поменьше, я рассказала Люку, что со мной случилось днем. Описала, как директор вошел и выпалил свое объявление. Было бы смешно, если б не было так ужасно, сказала я. Я думала, он напился. Может, он и напился. Туда пришли военные, и все такое.

И тогда я вспомнила — я видела, но сначала не заметила. Это были не военные. Не те военные.

Само собой, шли демонстрации: толпы женщин и сколько-то мужчин. Но не так масштабно, как можно подумать. Видимо, все перепугались. А когда выяснилось, что полиция, или военные, или кто они такие были, открывают огонь, едва начинается демонстрация, демонстрации прекратились. Какие-то взрывы — почтамты, станции метро. Но даже не разберешь, кто взрывал. Может, военные и взрывали — оправдать

компьютерные обыски и другие — по домам.

Я на демонстрации не ходила. Люк говорил, это бессмысленно, а мне надо подумать о них, о моей семье, о нем и о ней. Я думала о семье. Больше возилась по дому, чаще пекла. За столом сдерживала слезы. К тому времени я начинала плакать ни с того ни с сего и нередко сидела в спальне у окна, глядя наружу. Я почти не знала соседей, и, встречаясь на улице, мы разве что ненавязчиво здоровались. Никто не хотел, чтобы на него донесли за нелояльность.

Вспоминая об этом, я еще вспоминаю маму, годами раньше. Мне, наверное, было лет четырнадцать или пятнадцать — тот возраст, когда дочери больше всего стесняются матерей. Помню, она вернулась в одну из наших многочисленных квартир с другими женщинами, молекулами в круговороте ее друзей. Они в тот день ходили на демонстрацию; были времена мятежей из-за порно, а может, из-за абортов — они почти совпадали. Тогда много чего взрывалось — клиники, видеомагазины; не уследишь.

У мамы был фингал под глазом, и еще кровь. Ну ясное дело, порежешься, если кулаком в стекло ткнуть, только и сказала она. Хряки ебаные.

Кровопускатели ебаные, ответила какая-то ее

подруга. Они называли противников кровопускателями, потому что те таскали плакаты «Пускай истекают кровью». Значит, тогда были мятежи из-за абортов.

Я ушла в спальню, чтоб не путаться у них под ногами. Они говорили слишком много и слишком громко. Они меня игнорировали, я их не переваривала. Матушка и ее скандальные подруги. Я не понимала, зачем ей так одеваться — в комбинезоны, тоже мне, нашлась девчонка; зачем столько материться.

Какая ты ханжа, говорила она — в общем, судя по тону, не без удовольствия. Ей нравилось, что она себя ведет возмутительнее, чем я, что она яростнее бунтует. Подростки всегда кошмарные ханжи.

Отчасти таково и было мое недовольство, да — безразличное, стандартное. Но еще я хотела жить так, чтобы в жизни было чуть больше правил и чуть меньше импровизаций и бегств.

Видит бог, ты была желанный ребенок, иной раз говорила она мне, нависая над фотоальбомами с моими портретами в рамках; альбомы пухли от младенцев, но с возрастом эти копии меня истощались, будто народонаселение в стране моих дублей пожирал какой-то мор. Мамин тон

отдавал сожалением, будто я оказалась не вполне такая, какую она ожидала. Ни одна мать целиком не соответствует представлению ребенка об идеальной матери — и наоборот, видимо, тоже. Но, невзирая на все, мы неплохо ладили — не хуже многих.

Я хочу, чтоб она очутилась здесь, — хочу сказать ей, что наконец это поняла.

Кто-то вышел из дома. Вдалеке, за углом, хлопает дверь; шаги по тропинке. Ник — теперь вижу: сошел с дорожки на газон вдохнуть влажный воздух; тяжко пахнет цветами, мясистым ростом, пыльцой, что горстями подхвачена ветром, словно устричное потомство в море. Ах, щедрая плодовитость. Он потягивается на солнце, я чувствую, как волна прокатывается по мускулам вдоль тела, будто выгибается кошачья спина. Короткие рукава, голые руки бесстыже торчат из-под закатанной ткани. Где кончается загар? Я не говорила с ним с той ночи в лунных покоях посреди пейзажа грез. Он лишь мой флажок, мой семафор. Язык тела.

Фуражка у него набекрень. Значит, за мной послали.

Чем ему платят за это, за пажеский труд? Каково ему столь двусмысленно сутенерствовать

при Командоре? Полон ли он омерзения, а может, хочет больше меня, больше хочет меня? Ибо он понятия не имеет, что там происходит среди книг. Думает, извращения. Мы с Командором покрываем друг друга чернилами, слизываем их или занимаемся любовью на кипах запретной печатной продукции. Ну, тут бы он не слишком промахнулся.

Но нет сомнений — что-то он получает. Все в доле, так или иначе. Лишние сигареты? Лишние вольности, простым смертным не разрешенные? Все равно — что он сможет доказать? Его слово против Командорова, если только он не захочет возглавить облаву. Дверь пинком — ну, что я говорил? Застуканы на месте преступления, греховно эрудитничают. Давай, быстро, глотай слова.

Может, просто ему нравится знать некий секрет. Иметь что-то на меня, как прежде говорили. Власть, которую используешь только раз.

Хотела бы я думать о нем получше.

Ночью, после того как я лишилась работы, Люк хотел заняться любовью. Отчего я не захотела? Хотя бы отчаяние должно было меня завести. Но я оцепенела. Еле чувствовала на себе его руки.

Что такое? спросил он.

Не знаю, сказала я.

У нас по-прежнему есть… сказал он. Но не закончил, не сказал, что у нас все равно есть. Зря он сказал *у нас*, подумала я: насколько я знаю, у него ничего не отнимали.

У нас по-прежнему есть мы, сказала я. Это была правда. Почему же в голосе равнодушие — даже я слышу?

Тогда он поцеловал меня, словно теперь, когда я это сказала, все нормализуется. Но что-то поехало, какое-то равновесие. Я будто скукожилась, и когда он обнял меня, подхватил, я была меньше куклы. Любовь уходила вперед без меня.

Ему все равно, подумала я. Ему абсолютно все равно. Может, ему даже нравится. Мы больше не друг для друга. Теперь я — для него.

Недостойно, несправедливо, неправда. Однако было.

Так вот, Люк, теперь я хочу спросить, я обязана знать — угадала? Потому что мы об этом никогда не говорили. Найдя в себе силы спросить, я испугалась. Нельзя было тебя потерять.

Глава 29

Я сижу в кабинете Командора, между нами стол, будто я покупатель, банковский клиент и договариваюсь об изрядной ссуде. Но помимо расположения в комнате, формального между нами немного. Я больше не сижу с закаменелой шеей — спина вытянута, ноги выстроились на полу, равнение на козыряющего. Нет, тело мое расслаблено, мне даже уютно. Я сбросила красные туфли, подогнула ноги под себя — окружила их контрфорсом красной юбки, это правда, но все же подогнула, точно у костра в былые дни, более пикниковые. Гори в камине огонь, его отсветы блестели бы на полировке, мягко мерцали на коже. Я добавляю каминного света.

Что до Командора, он сегодня чрезмерно беспечен. Китель долой, локти на столе. Ему бы еще зубочистку в угол рта, и получится реклама сельской демократии, как на гравюре. Засиженной мухами, из какой-нибудь старой сожженной книги.

Клетки на доске заполняются: я играю свой предпоследний на сегодня раунд. *Зэк* выкладываю я — удобное односложное слово с дорогой

«э».

— Такое слово бывает? — спрашивает Командор.

— Можем глянуть в словарь, — отвечаю я. — Это архаизм.

— Я верю, — говорит он. Улыбается. Командору приятно, если я отличилась, показала развитость, будто умная собачка, ушки на макушке, готова откалывать коленца. Его похвала окутывает меня, словно теплая ванна. Я не чувствую в нем злобы, какую улавливала в мужчинах, порой даже в Люке. Он не прибавляет мысленно «сука». Манера его — совершенно отеческая. Ему приятно думать, что я развлекаюсь, — и я развлекаюсь, о да.

На карманном компьютере он проворно суммирует счет.

— Ты сегодня выиграла одной левой, — говорит он. Я подозреваю, он жульничает, льстит мне, чтобы меня ободрить. Но зачем? Вопрос открытый. Чего он достигает потаканием? Наверняка чего-то достигает.

Он откидывается в кресле, кончики пальцев сведены — я уже узнаю этот жест. Между нами складывается репертуар таких жестов, таких узнаваний. Командор смотрит на меня — не сказать, что неблагожелательно, однако с лю-

бопытством, будто я загадка, которую требуется решить.

— Что ты хочешь сегодня почитать? — спрашивает он. Тоже традиция. Пока я прочла журнал «Мадемуазель», старый «Эсквайр» восьмидесятых, «Мисс» — журнал, который, я смутно припоминаю, валялся в разных маминых квартирах, пока я росла, — и «Ридерз Дайджест». У него даже романы есть. Я прочла Рэймонда Чандлера, а сейчас наполовину продралась сквозь «Тяжелые времена» Чарлза Диккенса. В таких случаях я читаю быстро, жадно, почти проглядываю, стараясь запихнуть в голову как можно больше, предчувствуя долгую голодовку. Если бы речь шла о еде, это было бы прожорство изголодавшегося, если бы о сексе — торопливое соитие украдкой, стоя где-нибудь в переулке.

Пока я читаю, Командор сидит и наблюдает, как я это делаю, ни слова не говоря, но и не отводя взгляда. Это наблюдение странным образом сексуально, и я будто раздета. Лучше бы он отвернулся, побродил по комнате, сам бы что-нибудь почитал. Тогда, может, я бы хоть капельку расслабилась, не торопилась бы. А так это мое противозаконное чтение — как спектакль.

— Мне кажется, я бы лучше просто поговори-

ла, — отвечаю я. И сама изумлена, когда слышу эти слова.

Он снова улыбается. Похоже, не удивился. Может, ждал этого или чего-то подобного.

— Да? — отвечает он. — О чем ты хочешь поговорить?

Я мнусь.

— Пожалуй, о чем угодно. Ну, о вас, например.

— Обо мне? — Он все улыбается. — Ну, обо мне, собственно, почти ничего и не скажешь. Обычный парень, как все.

Я влетаю лбом в эту фальшь, даже стилистическую фальшь — «парень»? Обычные парни Командорами не становятся.

— Вы же, наверное, что-то умеете, — говорю я. Я знаю, что подталкиваю его, подлизываюсь, выманиваю его наружу, и мне противно от себя — это, прямо скажем, тошнотворно. Но мы фехтуем. Либо он говорит, либо я. Я знаю, чувствую, как речь вздымается во мне, я так давно ни с кем почеловечески не говорила. Сегодняшние обрывки шепота с Гленовой едва ли считаются; однако они раздразнили меня, они были вступлением. Какое наслаждение — говорить, даже вот так; теперь я хочу еще.

А заговорив, я скажу что-нибудь не то, я что-ни-

будь выдам. Вот она подступает — измена себе. Не хочу, чтобы он много знал.

— Ну, начать с того, что я был рыночным аналитиком, — неуверенно говорит он. — А потом, можно сказать, отделился.

Я знаю, что он Командор, соображаю я, но не знаю, Командор чего. Что он контролирует, какова его сфера деятельности, как прежде выражались? Отдельных титулов у них нет.

— А, — говорю я, стараясь имитировать понимание.

— Можно считать, что я своего рода ученый, — говорит он. — В определенных рамках, естественно.

После этого он некоторое время не говорит ничего, и я тоже ничего не говорю. Мы друг друга пережидаем. Я ломаюсь первой.

— Э, может, вы могли бы мне объяснить — я вот давно думаю.

Он оживляется.

— Что же?

Я на всех парусах приближаюсь к опасности, но не могу остановиться.

— Я откуда-то помню одну фразу. — Лучше не говорить откуда. — По-моему, латинскую, но, я думала, может… — Я знаю, у него есть латинский

словарь. У него разные словари — на верхней полке слева от камина.

— Скажи, — отвечает он. Отстраненно, однако настороже — или фантазия разыгралась?

– *Nolite te bastardes carborundorum,* — говорю я.

— Как?

Я неверно произнесла. Я не знаю, как правильно.

— Я могу записать, — говорю я. — Показать, как пишется.

От этой новаторской идеи он теряется. Вероятно, забыл, что я умею писать. В этой комнате я ни разу не держала ни карандаша, ни ручки — даже чтобы счет суммировать. Женщины складывать не умеют, однажды шутливо сказал он. Я спросила, как так, и он ответил: для них один, один, один и один не дают четырех.

А сколько? спросила я, ожидая услышать «пять» или «три».

Просто один, один, один и один, ответил он. Но теперь он отвечает:

— Хорошо, — и через стол сует мне самописку, едва ли не дерзко, будто его взяли на «слабо». Я оглядываюсь, ищу, на чем записать, и он дает мне настольный отрывной блокнот: наверху страницы — улыбающаяся рожица. Такие до сих

пор выпускают.

Я печатными буквами старательно пишу фразу, копирую из недр моего разума, из недр моего шкафа. Здесь, в этом контексте, это не молитва, не повеление, но унылое граффити, когда-то нацарапанное и забытое. Ручка в пальцах чувственна, почти живая, и я ощущаю ее силу, силу слов, которые прячутся в ней. Глаза завидущи, ручки загребущи, говаривала Тетка Лидия, цитируя очередную поговорку Центра, отпугивая нас от фаллических предметов. И они не ошиблись, это зависть. Просто держать ручку — уже завидовать. Я завидую Командору — у него есть ручка. Вот что еще я хотела бы украсть.

Командор забирает у меня листок с рожицей и смотрит. Потом начинает смеяться и — это что, он краснеет?

— Это не настоящая латынь, — говорит он. — Это шутка такая.

— Шутка? — недоуменно переспрашиваю я. Неужто я рискнула, рванулась к знанию, ради обычной шутки? — Какая шутка?

— Ну, школьники, сама понимаешь, — говорит он. Смеется он ностальгически, я теперь слышу — это смех снисхождения к себе прежнему. Он поднимается, отходит к книжным полкам, до-

стает книгу из ее кладезя; только это не словарь. Старая книжка — похоже, учебник, потрепанный и чернильный. Сначала Командор листает сам, раздумчиво, вспоминая; затем…

— Вот, — говорит он и кладет открытый учебник передо мной на стол.

И я вижу на картинке: черно-белая фотография Венеры Милосской, ей неумело пририсованы усы, черный лифчик и волосы под мышками. На другой странице римский Колизей, обозначенный по-английски, а под ним спряжения: *sum es est, sumus estis sunt.*

— Видишь? — говорит он и показывает, и я вижу на полях — теми же чернилами, что волосы на Венере. *Nolite te bastardes carborundorum.* — Тому, кто не знает латыни, я даже не знаю, как объяснить, почему это смешно, — говорит Командор. — Мы все время такие штуки писали. Не знаю, откуда они брались — от старших, наверное. — Забыв меня и себя, он листает учебник. — Вот, посмотри, — говорит он. Картинка называется «Сабинянки», и на полях нацарапано: *hic haec hoc, huius huius huius, huic huic huic.* — И вот еще, — продолжает он. — *Dormiebam, dormiebas,*

dormiebat...[51] — Он умолкает, вернувшись в сегодня, смущается. Снова улыбка, на сей раз можно сказать — ухмылка. Я представляю его с веснушками и вихром. Сейчас он мне почти нравится.

— Но что оно значило? — спрашиваю я.

— Которое? А. Это значит «Не дай ублюдкам тебя доконать»[52]. Мы тогда считали, что очень умные.

Я выжимаю улыбку, но теперь мне все кристально ясно. Я понимаю, зачем она это написала на стене в шкафу, но я также понимаю, что наверняка она выучила эту фразу тут, в этой комнате. А где еще? Она школьником не была. С ним, во время предыдущего наплыва детских воспоминаний, взаимного доверия. Значит, я не первая. Кто проник в его тишину, кто играет с ним в настольные игры.

— Что с ней случилось? — спрашиваю я.

---

[51] Примечания: 51

Спряжение латинского глагола «спать» (dormio) в прошедшем времени изъявительного наклонения действительного залога.

[52] Примечания: 52

Фраза является одной из вариаций «Illegitimi non carborundum» — афоризма на «кухонной латыни», родившегося в недрах британской разведки в начале Второй мировой войны; ее присвоил в качестве девиза американский генерал Джозеф Уоррен «Уксус» Стилвелл, а во время президентской предвыборной кампании 1964 г. популяризовал кандидат на пост президента США, основатель консервативного движения Барри Моррис Голдуотер.

Он соображает почти мгновенно.

— Ты ее откуда-то знала?

— Откуда-то, — говорю я.

— Она повесилась, — отвечает он; задумчиво, не грустно. — Поэтому люстру мы убрали. В твоей комнате. — Пауза. — Яснорада узнала, — прибавляет он, словно это все объясняет. Это все объясняет.

Если псина умерла, заведи другую.

— На чем? — спрашиваю я.

Он не хочет подкидывать мне идеи.

— Какая разница? — говорит он.

Разорвала простыни, я подозреваю. Я обдумывала варианты.

— А нашла ее, видимо, Кора, — говорю я. Вот почему она закричала.

— Да, — говорит он. — Бедняжка. — Это он про Кору.

— Может, мне больше не стоит сюда приходить, — говорю я.

— Мне казалось, тебе приятно, — легко отвечает он, однако следит за мной напряженно, глаза напряженно горят. Казалось бы, в страхе, но нет — мне хватает ума понять. — Я бы этого хотел.

— Вы желаете, чтобы моя жизнь была сносной, — говорю я. Получается не вопрос, но ровное

утверждение. Ровное и без никакого объема. Если моя жизнь сносна, может, они все-таки поступают правильно.

— Да, — говорит он. — Хочу. По-моему, так было бы лучше.

— Ну ладно, — говорю я. Все изменилось. У меня кое-что есть на него. У меня на него есть возможность моей гибели. У меня на него есть его вина. Наконец-то.

— Чего бы тебе хотелось? — спрашивает он; все та же легкость, словно это просто денежный обмен, к тому же мелкий — сладости, сигареты.

— То есть — помимо крема для рук, — говорю я.

— Помимо крема для рук, — соглашается он.

— Мне бы хотелось… — говорю я. — Мне бы хотелось знать. — Слово звучит нерешительно, даже глупо, я сказала не подумав.

— Что знать? — спрашивает он.

— Все, что нужно знать, — отвечаю я; нет, так чересчур легкомысленно. — Что происходит.

XI. Ночь

Глава 30

Опускается ночь. Или опустилась. Отчего ночь опускается, отчего не встает, как солнце? Посмотришь на восток, на закат, и видно, как вздымается ночь; тьма течет в небо от горизонта черным солнцем за облачным покровом. Дымом невидимого огня, линии огня прямо за горизонтом — очаг войны или город пылает. Быть может, ночь опускается, ибо она тяжела, плотной кулисой натянута на глаза. Шерстяным одеялом. Я хотела бы видеть во тьме — лучше, чем вижу.

Значит, опустилась ночь. Камнем давит на меня. Ни ветерка. Я сижу у полуоткрытого окна — занавески отодвинуты: снаружи никого, можно не скромничать, — в ночной рубашке, даже летом рукава длинные, дабы охранить нас от соблазнов нашей собственной плоти, чтобы мы, голорукие, не обнимали себя. Под лунным прожектором ни шевеления. Ароматы от сада поднимаются, словно жар от тела; там, наверное, цветут ночью цветы, запах сильный. Я его почти вижу: алое излучение, трепеща, взвивается, будто полуденное марево над шоссейным гудроном.

На газоне внизу появляется кто-то из мрака,

разлитого под ивой, шагает по свету, длинные тени жестко цепляются за каблуки. Ник, или некто другой, кто не важен? Замирает, глядит на мое окно, я вижу белый овал лица. Ник. Мы глядим друг на друга. У меня не найдется розы — бросить ему; у него не найдется лютни. Но тот же голод.

Которому нельзя потакать. Я опускаю левую занавеску, она падает меж нами, мне на лицо, и миг спустя Ник идет дальше, к незримости за углом.

Командор правильно сказал. Один, один, один и один не равны четырем. Каждый один по-прежнему уникален, и никак их вместе не слить. И один на другой не обменять. Они друг друга не заменят. Ник вместо Люка, Люк вместо Ника. *Должен* тут неуместно.

Чувствам не прикажешь, сказала однажды Мойра, но поведению прикажешь еще как.

Легко сказать.

На все — свой контекст; или свой срок?[53] Либо то, либо это.

Ночью, перед тем как мы ушли из дома в последний раз, я бродила по комнатам. Ничего не собрано — мы мало что брали с собой и даже

---

[53] Примечания: 53

Уильям Шекспир. «Король Лир». Акт V, сцена II. *Пер. Т. Щепкиной-Куперник.*

тогда не могли и виду подать, что уезжаем. Поэтому я просто бродила тут и там, рассматривала вещи — строй, который мы вместе создали для жизни. Я думала, я смогу вспомнить потом, как она выглядела.

Люк был в гостиной. Обхватил меня руками. Нам обоим было паршиво. Откуда нам было знать, что мы счастливы — даже тогда? Ибо мы имели хотя бы это — руки, нас обхватившие.

Кошка, вот что он сказал.

Кошка? спросила я в шерсть его свитера. Мы же не можем ее тут бросить.

О кошке я не подумала. О кошке никто не подумал. Внезапно решили, а потом еще строили планы. Видимо, я думала, что она едет с нами. Но ей нельзя — кто возьмет кошку в однодневную поездку через границу?

Может, снаружи? спросила я. Оставим ее, и все.

Она будет ошиваться вокруг и мяукать под дверью. Кто-нибудь заметит, что мы уехали.

Можно ее кому-нибудь отдать, сказала я. Соседу. Не успев договорить, я сообразила, как это будет глупо.

Я об этом позабочусь, сказал Люк. И поскольку он сказал *об этом,* а не *о ней,* я поняла, что он имеет в виду — *убить.* Так и приходится делать,

когда вот-вот кого-нибудь убьешь, подумала я. Приходится из ничего создавать некое «это». Сначала у себя в голове, а потом претворяешь. Значит, вот как они это делают, подумала я. Кажется, прежде я и не догадывалась.

Люк нашел кошку — та пряталась у нас под кроватью. Они всегда чуют. Он пошел с кошкой в гараж. Не знаю, что он сделал, так и не спросила. Я сидела в гостиной, руки на коленях. Надо было пойти с ним, принять эту каплю ответственности. Надо было хоть задать вопрос потом, чтобы ему не тащить груз в одиночку, ибо эта крошечная жертва, это убийство из любви, свершилось и ради меня.

Вот что они творят, среди прочего. Понуждают тебя убивать — внутри себя.

Как выяснилось, втуне. Интересно, кто донес. Может, сосед, наблюдая, как наша машина поутру выползает с дорожки, по наитию звякнул им ради золотой звездочки в чьем-то списке. Может, даже человек, который раздобыл нам паспорта; отчего бы не содрать двойную плату? И это на них похоже — самим внедрять фальсификаторов, невод на доверчивых. Очи Господни обозревают всю землю.

Ибо они были готовы, они ждали. Миг преда-

тельства хуже всего, миг, когда понимаешь без тени сомнения, что тебя предали: что некий человек настолько желает тебе зла.

Будто в лифте, который обрезали сверху. Падаешь, падаешь и не знаешь, когда ударит.

Собираюсь с духом, вызываю его — восстань, где бы ты ни был. Надо вспомнить, как они выглядели. Я пытаюсь их удержать пред глазами, их лица — точно снимки в альбоме. Но они ради меня не замрут, они движутся, вот улыбка — исчезла, их черты завиваются, гнутся, словно горит бумага, их пожирает чернота. Вспыхнет в воздухе проблеском бледным; сиянье, аврора, электроны в пляс, и вновь лицо, лица. Но они тускнеют, пускай я тянусь к ним, они ускользают, призраки на заре. Туда, где бы ни были. Останьтесь со мною, хочу я сказать. Не останутся.

Сама виновата. Слишком многое забываю.

Сегодня я помолюсь.

Никаких коленопреклонений у изножья постели, коленками на жестком дереве половиц спортзала, Тетка Элизабет возвышается у двойных дверей, руки скрещены, электробич на ремне, а Тетка Лидия шагает вдоль рядов коленопреклоненных женщин в ночнушках, хлопает

нам по спинам, по ногам, по локтям или попам, слегка, еле щелкает, еле касается деревянной указкой, если мы сутулимся или обмякли. Она хотела, чтобы головы склонялись как полагается, ступни вместе, пальцы напряжены, локти под верным углом. Отчасти ее интересовала эстетика: Тетке Лидии нравилась эта картина. Тетка Лидия желала, чтобы мы выглядели англосаксонски, точно вытесанные на надгробии; или рождественскими ангелами, батальоны в мантиях непорочности. Но еще она знала духовную ценность телесной ригидности, напряжения мышц; капелька боли очищает сознание, говорила она.

А молились мы о пустоте, дабы стать достойными и наполниться — милостью, любовью, самоотречением, семенем и детьми.

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, за то, что Ты не создал меня мужчиной[54].

О Господь, уничтожь меня. Позволь плодоносить. Умертви мою плоть, дабы умножилась я. Дай мне осуществиться…

Некоторые увлекались. Экстаз уничижения.

---

[54] Примечания: 54

Парафраз еврейского утреннего благословения. На самом деле мужчины говорят: «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, за то, что Ты не создал меня женщиной», — а женщины: «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, за то, что Ты создал меня соответствующей замыслу Твоему».

Некоторые стонали и плакали.

И незачем устраивать шоу, Джанин, говорила Тетка Лидия.

Я молюсь, где сижу, у окна, сквозь занавеску глядя на пустой сад. Я даже не закрываю глаз. Снаружи и в голове — та же тьма. Или свет.

Отче. Сущий в Царстве Небесном, кое внутри.

Я бы хотела, чтобы ты сказал мне Имя Твое — ну то есть настоящее. Но и Ты сойдет.

Я бы хотела знать, что Ты задумал. Но что бы это ни было, прошу Тебя, помоги мне пережить. Хотя, может, Ты тут и ни при чем; я ни секунды не верю, что Ты это и планировал — все, что здесь творится.

Хлеба насущного мне хватает, так что не стану Тебя на это отвлекать. Основная проблема не в этом. Проблема в том, чтобы запихивать его в глотку, не давясь.

Теперь у нас прощение. Ты не переживай, прямо сейчас меня можно не прощать. Есть дела поважнее. Например: пусть другие будут в безопасности, если они в безопасности. Пускай не сильно страдают. Если они должны умереть — пускай умрут быстро. Ты мог бы даже устроить им Рай. Ты нам за этим и нужен. Ад мы сами себе устроим.

По-видимому, я должна сказать, что прощаю тех, кто все это сотворил, что бы они сейчас ни делали. Я попробую, но это нелегко.

Теперь искушения. В Центре вот какие были искушения: что угодно, кроме сна и еды. Знание — искушение. Чего не знаешь, то тебя не искусит, говаривала Тетка Лидия.

Может, на самом деле я не хочу знать, что происходит. Может, мне лучше не знать. Может, я не вынесу познания. Падение было падением из невинности в познание.

Я слишком часто думаю о люстре, хотя ее теперь нет. Но можно на крюке в шкафу, я обдумывала варианты. Когда прицепишься, надо будет просто всем весом потянуть вперед и не сопротивляться.

Избавь нас от лукавого[55].

Да, еще Царство, могущество и слава. Верить в них прямо сейчас — задача не из легких. Но я все равно попробую. *В Уповании,* как гласят надгробия.

Тебе, наверное, кажется, что Тебя ободрали как

---

[55] Примечания: 55

Христианская молитва: «Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого».

липку. Я подозреваю, не впервые.

Мне на Твоем месте уже хватило бы с головой. Меня бы уже тошнило. Очевидно, в этом и разница между нами.

Это как-то совсем нереально — вот так с Тобой разговаривать. Как со стеной беседуешь. Хорошо бы Ты ответил. А то я совсем одна.

Одна, хоть вой, телефон со мной[56]. Правда, по телефону мне звонить нельзя. А если б можно было — кому звонить?

О Господи. Это не шутки. Господи, о Господи. Зачем мне жить дальше?

[56] Примечания: 56

«Один, хоть вой» («All Alone», 1936) — песня американского композитора Ирвинга Берлина (1888–1989).

XII. «У Иезавели»

Глава 31

Каждую ночь, ложась в постель, я думаю: утром проснусь в моем доме и все будет как прежде. В это утро ничего такого тоже не случилось.

Я натягиваю одежду — летнюю, нынче по-прежнему лето; кажется, мы застряли в лете. Июль, бездыханные дни и банные ночи, трудно уснуть. Я нарочно стараюсь следить. Надо бы царапать отметины на стене, по одной каждый день, разделять их чертой, когда наберется семь. Но вотще — я же не в тюрьме; здесь нельзя отсидеть и выйти. И кроме того, можно взять и спросить, что сегодня за день. Вчера было Четвертое июля — раньше День независимости, пока его не упразднили. Первое сентября будет Днем родов и трудов[57] — что-то подобное и раньше отмечали. Правда, к матерям он отношения не имел.

Но я определяю время по луне. Лунное, не солнечное.

Я наклоняюсь завязать туфли; сейчас они полегче, с целомудренными прорезями; впрочем,

---

[57] Примечания: 57

[B] США в первый понедельник сентября отмечается День труда; является официальным общегосударственным праздником с 1894 г.

дерзких босоножек нам не видать. Тяжело нагибаться; несмотря на упражнения, тело мое постепенно заклинивает, отказывает. Быть женщиной вот таким образом — я прежде думала, что таково быть древней старухой. Я чувствую, что хожу так же: согбенно, спина стянута в вопросительный знак, из костей высосан кальций, они пористые, как известняк. В юности, воображая старение, я думала: наверное, многое больше ценишь, когда время истекает. Я забыла учесть потерю энергии. Временами я что-то ценю больше — цветы, яйца, — но потом делаю вывод, что у меня припадок сентиментальности, мозг разжижается до пастельного техниколора, как на открытках с великолепными закатами — эти открытки тоннами выпускались в Калифорнии. Глянцевые сердечки.

Опасность — в серой пелене.

Я бы хотела, чтобы Люк был здесь, в этой комнате, пока я одеваюсь, — я бы с ним тогда поругалась. Абсурд, но этого мне и хочется. Спора — кому ставить тарелки в посудомоечную машину, чья очередь разбирать грязное белье, мыть унитаз; что-то бытовое и неважное в великой системе мироустройства. Можно было бы даже поспорить об этом, о *неважном, важном.* Какая

была бы роскошь. Вообще-то мы нечасто ругались. Ныне я про себя инсценирую эти ссоры, а затем — примирения.

Я сижу на стуле, венок в потолке плывет над головой заиндевевшим нимбом, нулем. Дыра в пространстве, где взорвалась звезда. Круг на воде, куда бросили камень. Все на свете белое и круглое. Я жду, когда раскрутится день, по круглому циферблату неумолимых часов повернется земля. Геометрические дни, все по кругу, по кругу, гладко, как по маслу. Под носом уже пот, я жду прибытия неминуемого яйца, теплого, как эта комната, с зеленой пленкой на желтке, слабо отдающего серой.

Сегодня, позже, с Гленовой, на прогулке по магазинам.

Как всегда, мы идем в церковь, разглядываем могилы. Потом к Стене. Висят только двое: один католик, хотя не священник, анонсирован перевернутым крестом, и еще какой-то сектант, которого я не узнаю. Тело помечено лишь красным «И». Не иудей — этих метят желтыми звездами. И к тому же их мало. Поскольку их объявили Сынами Иакова, а потому особыми, им предоставили выбор. Обратиться либо эмигри-

ровать в Израиль. Многие эмигрировали, если верить новостям. Я видела по телевизору их целый корабль — облокотились на поручни, пальто, шляпы, эти их длинные бороды: изо всех сил стараются изобразить иудеев, костюмы выудили из далекого прошлого; женщины в платках улыбаются, машут, чуточку одеревенело, это правда, словно позируют; и еще кадр — те, что побогаче, выстроились в очередь к самолетам. Гленова говорит, так и другие люди уезжали, притворялись иудеями, но это нелегко, потому что проверяют, а проверки теперь ужесточились.

Но тебя не повесят просто потому, что ты иудей. Повесят, если ты склочный иудей и не желаешь делать выбор. Или прикинулся обращенным. Тоже по телевизору показывали: ночные облавы, тайные запасы иудейских штучек выволакиваются из-под кроватей, Торы, талесы, магендавиды. И их владельцы — угрюмые, нераскаявшиеся, Очи притискивают их к стене спальни, а скорбный глас ведущего повествует тем временем об их вероломстве и неблагодарности.

Значит, «И» — это не иудей. А что тогда? Свидетель Иеговы? Иезуит? Да что угодно — он равно мертв.

После ритуального созерцания мы идем даль-

ше, направляемся, как всегда, на открытое пространство — разговариваем, пока его переходим. Если можно это назвать разговором, этот обрывочный шепот, нацеленный сквозь воронки наших белых шор. Скорее телеграмма, речевой семафор. Ампутированная речь.

Нам нельзя нигде задерживаться подолгу. Не то прицепятся за то, что ошиваемся без дела.

Сегодня мы поворачиваем не к «Свиткам Духа», а в обратную сторону, где открытый парк, а в нем большой старый дом; разукрашенный, поздневикторианский, с витражами. Раньше назывался Мемориальный зал, но я по сей день не знаю, в чью честь мемориал. Каких-то мертвецов.

Мойра однажды рассказала, что там прежде была студенческая столовая, когда университет только открылся. Если туда заходила женщина, сказала Мойра, в нее кидались булками.

Почему? спросила я. Мойра с годами все чаще фонтанировала такими историями. Мне они не слишком нравились, эти обиды на прошлое.

Хотели, чтоб она вышла, ответила Мойра.

А может, это как орешки слонам швырять, сказала я.

Мойра захохотала — это ей всегда удавалось. Экзотические монстры, сказала она.

Мы стоим, смотрим на дом — он по форме примерно как церковь, как собор.

— Я слышала, тут Очи проводят банкеты, — говорит Гленова.

— Кто тебе сказал? — спрашиваю я. Вокруг никого, можно говорить свободнее, но мы по привычке шепчемся.

— Сорока на хвосте принесла, — отвечает она. Замолкает, косится на меня, я различаю белый мазок — это движутся ее шоры. — Существует пароль.

— Пароль? — спрашиваю я. — Зачем?

— Чтобы понятно было, — отвечает она. — Кто да, а кто нет.

Неясно, что мне пользы это знать, но я спрашиваю:

— И каков он?

— Мой день, — говорит она. — Я один раз на тебе его испытывала.

— Мой день, — повторяю я. Я помню тот день. *M'aidez.*

— Не пользуйся, если не припрет, — говорит Гленова. — Не нужно, чтобы мы многих в сети знали. На случай, если поймают.

Мне трудно верить в эти перешептывания, в эти откровения, хотя в тот момент я верю. Но по-

сле они всякий раз кажутся невероятными, даже ребяческими, как будто развлечение; как девчачий клуб, как школьные секретики. Или как шпионские романы, которые я читала по выходным, вместо того чтобы доделывать домашнюю работу, или как телик за полночь. Пароли, то, чего нельзя говорить, темные связи, тайные личности — по виду не скажешь, что таковы должны быть подлинные формы этого мира. Но это моя личная иллюзия, похмелье от той реальности, которую я знала в прошлом.

И сети. *Сетевой* — одно из маминых старых словечек, замшелый сленг стародавних времен. Даже на седьмом десятке она что-то такое делала, что описывалось этим словом, хотя, насколько я понимала, все сводилось к обеду с еще какой-нибудь женщиной.

Я оставляю Гленову на углу.

— Увидимся, — говорит она. Скользит по тротуару, а я шагаю по дорожке к дому. Ник, фуражка скособочилась; на меня он сегодня даже не смотрит. Но, видимо, ждал меня, хотел передать беззвучное послание: уверившись, что я его видела, последний раз оглаживает «бурю» замшей и торопливо шагает к дверям гаража.

Я иду по гравию между шматами перезрело-

го газона. Яснорада сидит под ивой в кресле, локтем опирается на трость. Платье из свежего прохладного хлопка. Ей полагается голубой, акварельный, а не эта моя краснота, что разом всасывает и извергает жар. Яснорада ко мне боком, вяжет. Как ей хватает духу прикасаться к шерсти на такой жаре? А может, кожа ее онемела; может, она ничего не чувствует, будто ее когда-то ошпарили.

Я вперяюсь в тропинку, плыву мимо, надеюсь, что невидима, зная, что меня не увидят. Только на сей раз все иначе.

— Фредова, — говорит она.

Я нерешительно замираю.

— Да, ты.

Я обращаю к ней свой зрительный тоннель.

— Иди сюда. Ты мне нужна.

Я иду по траве, останавливаюсь рядом, не поднимая глаз.

— Можешь сесть, — говорит она. — На, возьми подушку. Подержи-ка шерсть. — У нее сигарета, на газоне у ног пепельница и чашка — чай или кофе. — Там чертовски душно. Тебе нужен воздух, — говорит она. Я сажусь, поставив корзинку — снова клубника, снова цыпленок, — и замечаю, что она чертыхнулась, — это что-то новенькое.

Яснорада нацепляет шерсть на мои вытянутые руки, начинает мотать. Кажется, я на цепи, в кандалах; в паутине скорее. Шерсть серая, она впитала влагу из воздуха, она — словно обмоченное детское одеяльце и смутно пахнет мокрой овцой. Хотя бы руки мне увлажнит.

Яснорада мотает, сигарета в уголке ее рта дымится, соблазнительно фыркая дымом. Яснорада мотает неспешно и не без труда, поскольку руки ее мало-помалу корежились, однако решительно. Быть может, вязание для нее — акт силы воли; быть может, ей даже больно. Быть может, ей врачи прописали — десять рядов в день лицевыми петлями, десять — с накидом. Но наверняка она вывязывает больше. Эти вечнозеленые деревья и геометрические мальчики-девочки мне видятся в новом свете: доказательство ее упрямства, не вполне презренного.

Мама не вязала и вообще ничем подобным не занималась. Но всякий раз, принося вещи из химчистки — нарядные блузки, зимние пальто, — она оставляла английские булавки и скалывала их в гирлянду. Потом куда-нибудь ее цепляла — к кровати, к подушке, к спинке стула, к кухонной варежке, — чтобы не потерять. И забывала. Я натыкалась на них тут и там в доме, в домах;

следы маминого присутствия, пережитки утерянного намерения, будто знаки на дороге, которая, оказывается, никуда не ведет. Хозяйственные атавизмы.

— Ну, — говорит Яснорада. Она бросает мотать — руки мои увиты звериной шерстью, — вынимает сигарету изо рта и тушит. — По-прежнему ничего?

Я понимаю, о чем она. У нас с ней не так много тем, которые можно обсудить; мало общего, кроме этого единственного, загадочного и шального.

— Да, — говорю я. — Ничего.

— Жалко, — отвечает она. Сложно вообразить ее с ребенком. Но о нем будут заботиться в основном Марфы. Однако она хочет, чтобы я забеременела, чтобы все сделала и убралась подобру-поздорову, — и никаких больше унизительных потных сплетений, никаких треугольников плоти под звездным пологом с серебряными цветочками. Все тихо-мирно. Не верится, чтобы она пожелала мне такого счастья по иной причине.

— У тебя время выходит, — говорит она. Не вопрос — констатация.

— Да, — нейтрально отвечаю я.

Она снова закуривает, еле справляется с зажигалкой. Явно руки у нее все хуже. Но предложить

помощь — ошибка, Яснорада обидится. Заметить ее слабость — ошибка.

— Вероятно, он не может, — говорит она.

О ком это? О Командоре? О Боге? Если о Боге, надо было сказать — не хочет. Как ни крути — ересь. Только женщины не могут, только женщины из упрямства закрыты, изуродованы, дефективны.

— Да, — говорю я. — Вероятно, не может.

Я поднимаю голову. Она опускает. Мы впервые за долгое время глядим друг другу в глаза. Впервые с тех пор, как познакомились. Эта наша секунда растягивается, тусклая и ровная. Она всматривается: осознаю ли я положение вещей.

— Вероятно, — говорит она, держа сигарету, которую так и не удалось прикурить. — Вероятно, тебе стоит попробовать иначе.

Что — на четвереньках?

— Как иначе? — спрашиваю я. Надо сохранять серьезность.

— С другим мужчиной, — говорит она.

— Вы же знаете, что я не могу, — отвечаю я, старательно пряча раздражение. — Это незаконно. Вы сами знаете, что за это бывает.

— Да, — говорит она. Она к этому готова, она все обдумала. — Я знаю, что официально ты не можешь. Но так делается. Женщины часто так

делают. Все время.

— С врачами, вы хотите сказать? — Я вспоминаю участливые карие глаза, руку без перчатки. В последний раз, когда я ходила, врач был другой. Может, того застукали или женщина донесла. Хотя кто ей поверит без улик.

— Некоторые так, — говорит она, теперь почти приветливо, хоть и отстраненно; будто мы лак для ногтей выбираем. — Уорренова так сделала. Жена, естественно, знала. — Она помолчала, подождала. — Я тебе помогу. Устрою, чтобы все прошло удачно.

Я задумываюсь.

— Только не с врачом, — говорю я.

— Да, — соглашается она, и по крайней мере в это мгновение мы закадычные подруги — как будто сидим за кухонным столом, как будто обсуждаем свиданку, девчачью стратагему уловок и флирта. — Они иногда шантажируют. Но не обязательно же с врачом. Может, с кем-нибудь, кому мы доверяем.

— С кем? — спрашиваю я.

— Я подумывала про Ника, — говорит она, и голос ее почти мягок. — Он с нами уже очень давно. Он нам предан. Я могу с ним договориться.

Так вот кто бегает для нее на черный рынок. И

что, с ним всегда так расплачиваются?

— А Командор? — спрашиваю я.

— Ну, — говорит она жестко; нет, не просто жестко — стиснуто, будто сумка захлопнулась. — Мы ведь ему не скажем, правда?

Идея повисает меж нами, почти видимая, почти осязаемая — тяжкая, бесформенная, темная; заговор своего рода; предательство. Да уж, она и впрямь хочет ребенка.

— Это риск, — говорю я. — И даже хуже. — На кону моя жизнь, но она очутится там рано или поздно, так или иначе, соглашусь я или нет. Мы обе это понимаем.

— Стоит попробовать, — говорит она. Я думаю о том же.

— Ладно, — говорю я. — Да.

Она склоняется ко мне.

— Может, я тебе что-нибудь достану, — говорит она. Поскольку я была умница. — Чего ты хочешь, — прибавляет она, едва не подольщаясь.

— Что, например? — спрашиваю я. В голову не приходит ничего такого, о чем я взаправду мечтаю и что она захочет или сможет мне дать.

— Фотографию, — говорит она, будто предлагает мне радость для недоросля — мороженое, поход в зоопарк. В недоумении я снова поднимаю

голову. — Ее, — говорит она. — Твоей девочки. Но только — может быть.

Так она знает, куда ее засунули, где ее держат. С самого начала знала. У меня перехватывает горло. Гадина, и ни слова, молчала, ни словечка. Ни намека. Деревяшка, чушка чугунная, да она не представляет. Но невозможно это сказать, даже такую мелочь невозможно потерять из виду. Невозможно лишиться этой надежды. Невозможно говорить.

А она улыбается, кокетничает; мимолетной статикой в лице мелькает ее манекенный экранный шарм прежних времен.

— Все-таки чертовски жарко для такого, да? — говорит она. Снимает шерсть с моих ладоней — я весь разговор так и просидела спутанная. Потом берет сигарету, которую теребила, и чуть неловко сует мне в руку. Сжимает мои пальцы вокруг сигареты. — Найди спичку, — говорит она. — В кухне есть, попроси у Риты. Можешь передать, что я разрешила. Но только одну, — шаловливо прибавляет она. — Мы же не хотим угробить твое здоровье!

Глава 32

Рита сидит в кухне за столом. Перед ней стеклянная миска, в миске плавают кубики льда. И покачивается редис — резные цветы, розы и тюльпаны. Рита режет их ножом на разделочной доске, большие руки ловки и равнодушны.

В остальном тело не движется, и лицо тоже. Словно этот фокус с ножом она проделывает во сне. На белой эмали — груда редисок, мытых, но не резаных. Крохотные ацтекские сердца.

Когда я вхожу, Рита и головы не поднимает.

— Все притащила, ага, — вот что она говорит, когда я предъявляю ей покупки.

— Можно мне спичку? — спрашиваю я. Поразительно, как она превращает меня в ребенка, в подлизу, — лишь этой своей хмуростью, этой бесстрастностью; до чего капризной упрямицей она меня делает.

— Спички? — говорит она. — Это что за новости?

— Она сказала, мне одну можно, — отвечаю я, не желая сознаваться про сигарету.

— Кто сказала? — Она режет редис, не сбиваясь с ритма. — Еще чего не хватало — спички. Дом

спалишь.

— Можете сами ее спросить, — отвечаю я. — Она на газоне сидит.

Рита возводит глаза к потолку, будто молча советуется с каким-то тамошним божеством. Потом вздыхает, грузно поднимается и демонстративно вытирает руки фартуком — вот, дескать, сколько от тебя хлопот. Она идет к шкафчику над раковиной, не торопится, нащупывает связку ключей в кармане, отпирает.

— Летом сюда их припрятываю, — говорит она словно себе самой. — Еще пожара в такую погодку не хватало. — В апреле, помнится, камины разжигала Кора — в покоях и в столовой, когда прохладнее.

Деревянные спички в выдвижной картонке — я о таких мечтала, чтобы делать кукольные комоды. Рита открывает коробку, заглядывает внутрь — очевидно, решает, какую мне дать.

— Ее дело, — бормочет она. — Ей поди хоть слово поперек скажи. — Крупная рука ныряет, выуживает спичку, вручает мне. — Только смотри ничего не подпали. Шторки у себя или чего. И так жарко.

— Хорошо, — говорю я. — Мне спичка не для этого.

Рита не снисходит до вопроса, для чего же мне спичка.

— Да хоть проглоти ее, мне-то что, — говорит она. — Она говорит, можно — ну, я дала. Делов-то.

Она отворачивается и садится за стол. Достает ледяной кубик из миски и сует в рот. Странно. Я раньше не видела, чтоб она жевала за работой.

— Тоже возьми, если охота, — говорит она. — Жуть какая, в такую погоду наволочки эти ваши на башку нахлобучивать.

Я удивлена — обычно она со мной ничем не делится. Может, думает, раз мой статус повышен и мне можно спичку, ей тоже позволительно сделать жест. Может, я вдруг стала одной из тех, кого следует баловать?

— Спасибо, — говорю я. Чтобы спичка не намокла, осторожно кладу ее в нарукавный карман на «молнии», к сигарете, и беру кубик льда. — Очень красивая редиска, — говорю я в ответ на ее подарок, по доброй воле преподнесенный мне.

— Я лучше все справно делать буду, делов-то, — снова огрызается она. — А иначе это все попусту.

Я иду по коридору, вверх по лестнице, я спешу. Я мелькаю в гнутом зеркале — алый силуэт в уголке глаза, предсмертное видение кровавого

дыма. В голове дымится еще как, и я уже чувствую дым во рту, дым втягивается в легкие, наполняет меня длинным, роскошным, грязным коричным вздохом, а потом накрывает, едва никотин ударяет в кровь.

Не курила столько времени — может стошнить. Не удивлюсь. Но даже эта мысль блаженна.

Я иду по коридору — где мне это сделать? В ванной — включив воду, чтобы очистился воздух; в спальне — сипло выдыхая в раскрытое окно. Кто меня застукает? Кто знает?

Но, роскошествуя в будущем, катая предвкушение во рту, я уже думаю о другом.

Не надо мне выкуривать эту сигарету.

Можно ее измельчить и спустить в унитаз. Или съесть и покайфовать, так тоже получается, по чуть-чуть, остаток припрячу.

Так я сохраню спичку. Можно проделать дырочку в матрасе, аккуратно сунуть спичку туда. Она тоненькая, никто не заметит. И там она будет лежать по ночам, подо мной, пока я сплю. Будет со мной до утра.

Можно поджечь дом. До чего прекрасная мысль — я даже вздрагиваю.

Выход, быстрый и опасный.

Лежу на кровати, делаю вид, что дремлю.

Командор накануне вечером, сведя пальцы вместе, смотрел на меня, а я втирала жирный крем в ладони. Странно — я хотела попросить у Командора сигарету, но передумала. Я понимаю: нельзя разом просить слишком много. Не хочу, чтоб он думал, будто я его использую. И еще не хочу перебивать.

Вчера он выпил, скотч с водой. Он теперь стал при мне выпивать — говорит, чтобы расслабиться. Надо полагать, на него давят. Но мне он ни разу не предложил, а я не просила — мы оба знаем, для чего предназначено мое тело. Когда я целую его на ночь, как будто по правде, его дыхание пахнет алкоголем, и я его впитываю, словно дым. Да, сознаюсь: я ее смакую, эту каплю беспутности.

Иногда, выпив пару бокалов, он дурачится и жульничает в «Эрудит». Он и меня подбивает жульничать, мы берем лишние буквы и из них составляем слова, которых не бывает, слова «вумный» и «юрунда», и над ними хихикаем. Иногда он включает коротковолновый приемник, на пару минут предъявляет мне радио «Свободная Америка» — демонстрирует, что он такое может. Потом опять выключает. Кубинцы клятые, говорит он. Детсады для всех — что за ахинея?

Иногда после игры он сидит на полу возле мо-

его кресла, держит меня за руку. Его голова чуть ниже моей, и на меня он смотрит под мальчишеским углом. Эта фиктивная покорность, должно быть, его забавляет.

Он большой босс, говорит Гленова. Крупная шишка, самая громадная.

В такие вечера это нелегко постичь.

Временами я пытаюсь поставить себя на его место. Тактический прием, чтобы заранее догадаться, как ему захочется со мной себя повести. Трудно поверить, что я имею над ним хоть какую власть, и все же это правда; впрочем, власть эта двусмысленна. Порой мне кажется, что я, пусть смутно, вижу себя так, как он меня видит. Хочет в чем-то меня убедить, одарить подарками, оказать услуги, вызвать нежности.

Еще как хочет. Особенно когда выпьет.

Иногда он принимается ворчать, а то — философствовать; или желает что-то объяснить, оправдаться. Как вчера.

Проблема была не только в женщинах, говорит он. Основная проблема была в мужчинах. Им ничего не осталось.

Ничего? спрашиваю я. Но у них же…

Им ничего не осталось делать, говорит он.

Могли бы деньги зарабатывать, отвечаю я —

довольно колко. Сейчас я его не боюсь. Трудно бояться человека, который сидит и смотрит, как ты мажешь руки кремом. Опасно такое бесстрашие.

Этого мало, говорит он. Слишком абстрактно. Я хочу сказать, им ничего не осталось делать с женщинами.

То есть? спрашиваю я. А «Порносборные» как же? Они же были повсюду, их даже на колеса поставили.

Я не о сексе, говорит он. Хотя секс тоже, секс чересчур упростился. Пошел и купил. Не было такого, ради чего работать, ради чего бороться. Есть тогдашняя статистика.

Знаешь, на что больше всего жаловались? На неспособность чувствовать. Мужчины даже разочаровывались в сексе. И в браке.

А теперь чувствуют? спрашиваю я.

Да, говорит он, глядя на меня. Чувствуют. Он встает, обходит стол, приближается ко мне. Встает сзади, кладет руки мне на плечи. Я его не вижу.

Я хочу знать, что ты думаешь, говорит его голос у меня из-за спины.

Я мало думаю, легко отвечаю я. Он хочет доверия, но этого я ему дать не могу. Сколько ни думай,

пользы, в общем, никакой, правильно? говорю я. Что бы я ни думала, это ничего не меняет.

Только поэтому он и может мне все это говорить.

Да ладно, говорит он, чуть надавив ладонями. Мне интересно твое мнение. Ты достаточно умна, у тебя наверняка есть мнение.

О чем? спрашиваю я.

О том, что мы сделали, говорит он. О том, как все получилось.

Я совсем-совсем не шевелюсь. Я пытаюсь очистить сознание. Я думаю о небе в безлунную ночь. У меня нет мнения, говорю я.

Он вздыхает, расслабляет ладони, но они по-прежнему лежат у меня на плечах. Он прекрасно понимает, что я думаю.

Лес рубят — щепки летят, говорит он. Мы думали, можно сделать лучше.

Лучше? тихонько переспрашиваю я. Он что, думает, *так* — лучше?

Лучше никогда не означает «лучше для всех», отвечает он. Кому-то всегда хуже.

Я лежу очень ровно, влажный воздух надо мною — будто крышка. Будто земля. Хорошо бы дождь пошел. А еще лучше — гроза, черные тучи, молния, оглушительный грохот. Вырубится

электричество — как знать? Тогда можно спуститься в кухню, сказать, что боюсь, посидеть с Ритой и Корой за столом, они мне позволят этот страх, ибо сами его разделяют, они меня впустят. Будут гореть свечи, мы станем наблюдать, как возникают и исчезают наши лица в мерцании, в белых вспышках рваного света за окном. Господи, скажет Кора. Господи спаси.

А потом воздух станет чище — и легче.

Я смотрю в потолок, на круглый венок гипсовых цветов. Нарисуй круг, шагни внутрь, он тебя защитит. Из центра свисала люстра, а с люстры свисал крученый кусок простыни. Там она и качалась, едва-едва, точно маятник; как в детстве качаешься, ухватившись за ветку. Она была спасена, защищена навеки, когда Кора открыла дверь. Порой мне кажется, она до сих пор тут, со мной.

Меня как будто похоронили.

Глава 33

Ближе к вечеру, небо дымчатое, солнце рассеянное, однако тяжкое и вездесущее, словно бронзовая пыль. Мы с Гленовой плывем по тротуару; мы двое, и перед нами еще двое, и через дорогу еще. Вероятно, издали мы хорошо смотримся: живописные, как голландские молочницы на обойном фризе, как целая полка костюмированных керамических солонок и перечниц, как флотилия лебедей или любое другое, что дублируется с минимальной хотя бы грацией и без вариаций. Отдохновение для глаза, для глаз, для Очей, ибо шоу — для них. Мы направляемся на Молитвонаду — показать, как покорны и праведны мы.

Ни единого одуванчика не увидишь, газоны выполоты подчистую. Хорошо бы один, хотя бы один, мусорный и нахально случайный, неотвязный, извечно желтый, как солнце. Жизнерадостное и плебейское, светит всем подряд. Кольца — вот что мы из них плели, и короны, и ожерелья, пятна горького молочка на пальцах. Или я совала ей одуванчик под подбородок: *Петушок или курочка?* Она нюхала, у нее на носу

оставалась пыльца. (Или то была буквица?) Или изошли на семена: я вижу, как она бежит по газону, вот по этому газону, что прямо передо мной, два года, три, машет цветком, точно бенгальским огнем, волшебная палочка белого пламени, и воздух полон парашютиков. *Дунь — и узнаешь время.* Столько времени сметено летним ветерком. А ромашки скажут, любит или не любит, — так мы тоже делали.

Мы строимся, чтобы пройти заставу, замерли парами, парами, парами: ученицы частной школы пошли погулять и задержались. Задержались на долгие годы, все разрослось — ноги, тела, платья. Будто зачарованные. Хотела бы я верить, что это сказка. Но нас пропускают парами, и мы идем дальше.

Вскоре сворачиваем направо, мимо «Лилий» и дальше к реке. Хорошо бы дойти туда, где широки берега, где мы лежали на солнце, где изогнулись мосты. Если долго-долго спускаться по реке вдоль жилистых извивов, доберешься к морю; только чем там заняться? Собирать ракушки, валяться на маслянистых камнях.

Впрочем, к реке мы не идем, не увидим маленьких куполов в той стороне, белых с голубой и золотой отделкой, до чего целомудренная радость.

Мы поворачиваем к зданиям посовременнее, над входом растянут громадный транспарант: СЕГОДНЯ — ЖЕНСКАЯ МОЛИТВОНАДА. Транспарант покрывает прежнее название — в честь какого-то Президента, которого они застрелили. Под красными буквами строчка шрифтом поменьше, черным, в начале и в конце — очертания крылатого глаза: ГОСПОДЬ — ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ. Справа и слева от прохода — неизбежные Хранители, две пары, всего четверо, оружие на боку, взгляд прямо. Почти как манекены в ателье, тщательно причесаны, формы выглажены, гипсово жесткие юные лица. Сегодня прыщавых нет. У каждого болтается автомат — они готовы, какое бы опасное или подрывное деяние мы внутри ни совершили.

Молитвонаду проводят в крытом дворе — прямоугольная площадь, стеклянная крыша. Это не общегородская Молитвонада — ту проводили бы на футбольном стадионе; эта лишь районная. Складные деревянные стулья рядами стоят справа, для Жен и дочерей высокопоставленных чиновников или офицеров — разницы, в общем, нет. Галереи наверху с бетонным парапетом — для женщин рангом пониже: Марф, разноцветных полосатых Эконожен. Для них присутствие

на Молитвонадах не обязательно, особенно если у них работа или маленькие дети, но галереи все равно заполняются. Надо думать, это развлечение, вроде цирка или театра.

Уже уселись сколько-то Жен в парадной расшитой голубизне. Их глаза щупают нас, пока мы в наших красных платьях парами идем к другой стене, напротив них. Нас разглядывают, оценивают, шепотом обсуждают; мы это чувствуем, точно муравьи бегают по голой коже.

Здесь стульев нет. Наш загон огражден шелковым скрученным алым канатом — прежде такими огораживали зрителей в кинотеатрах. Канат отделяет нас, помечает нас, защищает прочих от заражения нами, очерчивает для нас стойло либо курятник; и мы заходим, строимся в шеренги — это мы прекрасно умеем, — а затем преклоняем колена на бетонном полу.

— Держись сзади, — шепчет сбоку Гленова. — Там проще говорить. — И когда мы встаем на колени, чуть склонив головы, я слышу со всех сторон шелест, будто насекомые в высокой сухой траве, — шепотное облако. Здесь нам проще делиться новостями, мы передаем их каждая своей соседке. Им трудно вычислить кого-нибудь в отдельности или расслышать, что говорится. И

они не станут прерывать церемонию — тем более перед телекамерами.

Гленова локтем толкает меня в бок, чтобы я посмотрела, и я поднимаю глаза, медленно и незаметно. Нам хорошо видны ворота во двор, куда неуклонно шагают люди. Видимо, Гленова хотела показать мне Джанин, потому что вот она, в паре с новой женщиной, не прежней; я эту женщину не узнаю. Видимо, Джанин перевели — новый дом, новое назначение. Рановато — может, у нее с молоком не заладилось? Это единственная причина для перевода, если, конечно, не было столкновения из-за ребенка — а они происходят чаще, чем можно подумать. Может, она его родила, а потом не пожелала отдавать. Так и вижу. Тело ее под красным платьем очень худое, почти тощее, и она лишилась беременного сияния. Лицо белое и заострилось, будто из нее высосали все соки.

— У нее не вышло, знаешь, — говорит Гленова мне в висок. — Все ж таки в дезинтегратор пошел.

Она про ребенка Джанин, про ребенка, что прошел через Джанин по пути неизвестно куда. О маленькой Анджеле. Это была ошибка — так рано давать ей имя. Под ложечкой больно. Не больно

— пусто. Я не хочу знать, что с ней было не так.

— Господи, — говорю я. Пройти через все это, и в результате — ничего. Хуже, чем ничего.

— Это у нее второй, — говорит Гленова. — Не считая ее собственного, еще раньше. У нее преждевременные роды были на восьмом месяце, знаешь.

Мы смотрим, как Джанин входит в стойло за канатом — под вуалью неприкасаемости, невезения. Она видит меня, наверняка меня видит, но смотрит сквозь. На сей раз не улыбается торжествующе. Поворачивается, опускается на колени, и теперь я вижу только ее спину и костлявые ссутуленные плечи.

— Она думает, это ее вина, — шепчет Гленова. — Двое подряд. За грехи. Говорят, это она с врачом делала, а вовсе не с Командором.

Я не могу сказать, что знаю, — Гленова спросит, откуда бы. По ее данным, она мой единственный источник подобной информации, коей она располагает в поразительном количестве. Как она прознала о Джанин? От Марф? От магазинной спутницы Джанин? Подслушивала под дверью, пока Жены пили чай и вино, плели свои паутины? Станет ли Яснорада так обо мне говорить, если я поступлю, как она хочет? *Вмиг согласи-*

лась, да ей безразлично, подойдет что угодно на двух ногах и с хорошим сами знаете чем. Они не брезгливы, они чувствуют не так, как мы. А остальные наклоняются к ней из кресел: *Дорогая* моя, — сплошь похоть и ужас. Как она могла? Где? Когда?

Как, несомненно, поступили с Джанин.

— Какой ужас, — говорю я. Впрочем, это похоже на Джанин — взять всю ответственность на себя, словно изъяны ребенка — целиком ее вина. Но люди сделают все на свете, только бы не признавать, что их жизни бессмысленны. То есть бесполезны. Бессюжетны.

Как-то утром, когда мы одевались, я заметила, что Джанин до сих пор в белой хлопковой ночнушке. Сидит на краю койки, и все.

Я глянула на двойные двери спортзала, где обычно стояла Тетка, — не заметила ли, — но Тетки не было. К тому времени они в нас меньше сомневались, порой оставляли в классе или даже в кафетерии без присмотра на целые минуты. Наверное, Тетка улизнула перекурить или выпить кофе.

Смотри, сказала я Альме, которая спала на соседней койке.

Та посмотрела. Потом мы обе подошли к Джа-

нин. Джанин, одевайся, сказала Альма ее белой спине. А то нам из-за тебя лишние молитвы читать. Но Джанин не шевельнулась.

Мойра тоже подошла. Это было, когда она еще не сбежала во второй раз. Она еще хромала после того, что сделали с ее ногами. Она обошла койку, чтобы посмотреть Джанин в лицо.

Идите сюда, сказала Мойра нам с Альмой. Остальные тоже подтягивались, собралась небольшая толпа. Уходите, сказала им Мойра. Нечего глазеть, а вдруг *она* войдет?

Я смотрела на Джанин. Ее глаза были открыты, но меня не видели. Округлились, распахнуты, зубы оскалены в застывшей улыбке. Из-под улыбки, из-под оскала, она шептала про себя. Я наклонилась ближе.

Привет, сказала она, но не мне. Меня зовут Джанин. Сегодня утром вас обслуживаю я. Принести вам кофе для начала?

О боже, сказала рядом Мойра.

Не богохульствуй, сказала Альма.

Мойра схватила Джанин за плечи и потрясла. Очухайся, Джанин, рявкнула она. И не говори это *слово.*

Джанин улыбалась. Тогда всего вам хорошего, сказала она.

Мойра хлопнула ее по лицу, дважды, по одной щеке и по другой. Вернись, сказала она. Сию секунду вернись сюда. Нельзя быть *там*, ты больше не *там.* Никакого *там* уже нет.

Улыбка Джанин померкла. Она прижала руку к щеке. Зачем вы меня ударили? спросила она. Было невкусно? Я могу другой принести. Не обязательно меня бить.

Ты что, не соображаешь, что они сделают? спросила Мойра. Голосом тихим, но жестким и напряженным. Посмотри на меня. Меня зовут Мойра, и мы в Красном Центре. Посмотри на меня.

Взгляд Джанин начал фокусироваться. Мойра? сказала она. Я не знаю никакой Мойры.

Тебя не пошлют в Лазарет, даже не думай, сказала Мойра. Они пальцем не шевельнут, чтоб тебя вылечить. Они даже в Колонии тебя не отправят. Зайдешь слишком далеко — всё, отведут в Химлабораторию и пристрелят. А потом сожгут вместе с мусором, как Неженщину. И думать забудь.

Я хочу домой, сказала Джанин. И заплакала.

Господи Иисусе, сказала Мойра. Все, хватит. Она явится через минуту, я тебе обещаю. Так что одевайся и заткнись к чертовой матери.

Джанин не перестала хныкать, но поднялась и

начала одеваться.

Если она такое устроит, когда меня не будет, сказала мне Мойра, ты ей вот так же вмажешь. Нельзя, чтоб она умом поехала. Это заразно.

Очевидно, Мойра уже планировала, как выбраться.

Глава 34

Все сиденья во дворе заполнены; мы шуршим и ждем. Наконец входит Командор, ведущий этой службы. Лысеющий, коренастый, на вид — стареющий футбольный тренер. Он в форме — серьезная чернота с рядами знаков отличия и орденов. Сложно не восхититься, но я стараюсь: я пытаюсь вообразить его в постели с Женой и Служанкой, оплодотворяет как полоумный, как лосось на нересте, притворяется, будто ему приятно. Когда Господь велел плодиться и размножаться, учел ли он этого человека?

Этот Командор по ступенькам спускается к аналою, убранному пурпурной тканью с громадным вышитым белокрылым глазом. Командор озирает двор, и шепотки наши угасают. Ему даже руки не пришлось воздевать. Затем его голос вползает в микрофон и выползает из колонок, лишенный нижнего регистра и теперь металлически зазубренный, будто произведен не ртом, не телом, но самими колонками. Голос цвета металла, в форме горна.

— Настал день благодарения, — начинает Командор, — день славословий.

Я отключаюсь на всю речь о победе и жертве. Затем следует длинная молитва о недостойных сосудах, затем гимн: «Бальзам есть в Галааде»[58].

«Бардак есть в Галааде», называла его Мойра.

Теперь гвоздь программы. Входят двадцать Ангелов, только что с фронта, награждены, а с ними — их почетный караул, раз-два, раз-два, маршируют в пустой центр двора. Смирно, вольно. И вот двадцать дочерей, в белом, под вуалями, выступают вперед застенчиво, и матери держат их под локоток. Ныне матери, а не отцы, выдают дочерей и договариваются о браках. Браки, разумеется, договорные. Этим девочкам не позволяли остаться наедине с мужчиной долгие годы; все те годы, что мы всё это проделываем.

Достаточно ли они взрослые, помнят ли прежние времена — как играли в бейсбол в джинсах и кроссовках, носились на великах? Читали книги, совершенно одни? Пусть некоторым не больше четырнадцати — *отправляйте их пораньше*, гласит правило, *нельзя терять ни минуты*, — они все равно помнят. И следующие вспомнят, еще три, четыре года, пять; а вот после — не вспомнят.

---

[58] Примечания: 58

Сп иричуэл, вдохновленный библейским стихом «Разве нет бальзама в Галааде? разве нет там врача? Отчего же нет исцеления дщери народа моего?» (Иер. 8:23).

Они навсегда будут в белом, девичьими стайками; навсегда безмолвны.

Мы им дали больше, чем отняли, сказал Командор. Ты подумай, сколько раньше было мороки. Ты не помнишь бары для одиноких, унижения школьных свиданий вслепую? Мясной рынок. Ты не помнишь чудовищную пропасть между теми, кто мог с легкостью заполучить мужчину, и теми, кто не мог? Некоторые жили в отчаянии, голодали до дистрофии, накачивали груди силиконом, обрезали себе носы. Ты подумай, сколько человеческого горя.

Он махнул на груду старых журналов. Они вечно жаловались. Такие проблемы, сякие проблемы. Вспомни объявления — *умная привлекательная женщина тридцати пяти лет…* А так все получают мужчину, никто не обделен. Потом, если они все-таки выходили замуж, их оставляли с ребенком, с двумя детьми, мужу все обрыдло, и он слинял, исчез, а они сидят на пособии. Или муж остался и их избивает. А если они работают, дети в детском саду или с какой-нибудь безмозглой грубиянкой, и платить за это матерям приходится самим, вычитать из жалких зарплат. Деньги для всех были единственной мерой ценности, женщин как матерей никто не уважал. Неудиви-

тельно, что они плевать хотели на материнство. А так они защищены, могут мирно осуществить свое биологическое предназначение. Их целиком поддерживают, им помогают. А теперь скажи мне. Ты умный человек, я хочу услышать твою точку зрения. Что мы не учли?

Любовь, сказала я.

Любовь? сказал Командор. Какую любовь?

Влюбленность, сказала я.

Командор уставился на меня честными мальчишескими глазами. А, ну да, сказал он. Я читал в журналах, они же это проталкивали, да? Но посмотри на статистику, дорогая моя. Стоило оно того — *влюбляться?* Договорные браки всегда удавались не хуже, если не лучше.

Любовь, с омерзением говорила Тетка Лидия. Чтоб я такого не видела. Никакой маеты, девочки, забудьте эти первобытные джунгли. Грозя нам пальцем. Дело не в *любви.*

С исторических позиций, те годы были просто аномалией, сказал Командор, просто отклонением. Мы лишь вернули жизнь к законам Природы.

Женские Молитвонады — в основном для таких вот групповых свадеб. Мужские — для военных

побед. Это наши поводы сильнее всего ликовать — соответственно. Но порой женские Молитвонады — для отречения какой-нибудь монашки. По большей части все уже отреклись раньше, когда на них устраивали облавы, но и по сей день их где-то понемногу откапывают, выкуривают из-под земли, где они прячутся, будто кроты. И лица у них такие — близорукие, ошеломленные избытком света. Старых тут же высылают в Колонии, а молодых, еще способных рожать, пытаются обратить, и едва добиваются своего, мы все являемся пронаблюдать, как монахини проходят церемонию, отрекаются от безбрачия, приносят его в жертву общему благу. Они преклоняют колена, Командор молится, а потом они надевают красную вуаль, как все мы. Им, впрочем, не дозволяют становиться Женами; считается, что они все равно чересчур опасны, им нельзя доверить такую власть. От них несет ведьмовством, тайнами и экзотикой; как их ни отмывай, как ни меть их ступни рубцами, сколько ни держи в Одиночке, аромат никуда не денется. По слухам, у них всегда рубцы, они всегда отсиживают в Одиночке; они так просто не сдаются. Многие предпочитают Колонии. Ни одна из нас не хочет заполучить такую в пару для походов по магазинам.

Они сломлены безнадежнее прочих; с ними почти не бывает спокойно.

Матери выставили по местам дочерей под белыми вуалями и вернулись к своим стульям. Кто-то всплакнул, кто-то кого-то похлопывает по спине, кто-то кому-то пожимает руки, кто-то хвастливо извлекает носовой платок. Командор продолжает службу.

— Итак, желаю, — говорит он, — чтобы жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; и не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление; впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием[59].

Спасется через чадородие, думаю я. А что, мы ожидали, спасло бы нас в прежние времена?

— Это он пускай Женам скажет, — шепчет

---

[59] Примечания: 59

[1] Тим. 2:9–15.

Гленова, — когда они языками чешут. — Это она про безмолвие. Разговаривать снова безопасно — Командор завершил основной ритуал, и они обмениваются кольцами, подняв вуали. Гав, про себя думаю я. Присмотрись хорошенько, ибо уже поздно. Позже Ангелам полагаются Служанки, особенно если их новые Жены не способны зачать. Но вы, девушки, застряли. Что увидела, то и получила, в комплекте с прыщами и всем остальным. Но ты не обязана его любить. Вскоре поймешь. Просто молча выполняй свой долг. В сомнениях, лежа на спине, можешь смотреть в потолок. Кто знает, что ты там разглядишь? Погребальные венки и ангелов, созвездия пыли, звездные и прочие, головоломки, оставленные пауками. Там всегда найдется чем занять пытливый ум.

Как в старом анекдоте: *Что-то не так, дорогая?*

Нет, а что?

Ты шевельнулась.

Просто не шевелись.

Мы, говорила Тетка Лидия, стремимся к достижению духа товарищества среди женщин. Мы все должны трудиться как одна.

В жопу такое товарищество, через дырочку в

туалетной кабинке говорит Мойра. Как раньше говорили, ебись ты конем, Тетка Лидия. На сколько спорим, что она Джанин на колени ставит? Чем, по-твоему, они у нее в кабинете занимаются? Спорим, она Джанин заставляет дрочить свою усохшую волосатую старую скукоженную…

Мойра! говорю я.

Ну что Мойра? шепчет она. Сама же об этом думала, признавайся.

Никакой пользы об этом говорить, отвечаю я, тем не менее еле давя смешок. Но я пока сама себя уговариваю, что надо попытаться сохранить хоть смутное подобие достоинства.

Как была зануда, так и осталась, говорит Мойра, однако с нежностью. Пользы целый громадный вагон. Вагон пользы.

И она права, я понимаю это теперь, стоя коленями на бесспорно жестком полу, слушая, как бурчит церемония.

Есть могущество в непристойных перешептываниях о властях предержащих. Есть в этом наслаждение, и шаловливость, и секретность, и запретность, и восторг. Как заклинание. Непристойности умаляют их, принижают до общего знаменателя, и тогда можно иметь с ними дело. В туалете на стене кто-то процарапал в крас-

ке: *Тетка Лидия сосет и причмокивает.* Точно повстанец помахал флагом с вершины холма. Воодушевляла одна мысль о том, как Тетка Лидия такое исполняет.

И сейчас я представляю великанское урчание и пот, влажные мохнатые стычки этих Ангелов и их истощенных белых невест; а еще лучше — позорные провалы, члены — как трехнедельные морковки, мучительную возню на плоти, холодной и безответной, как сырая рыба.

Когда все наконец завершается и мы выходим, Гленова пронизывающе, легко шепчет:

— Мы знаем, что ты с ним видишься наедине.

— С кем? — спрашиваю я, подавляя желание взглянуть на нее. Я знаю, с кем.

— С твоим Командором, — отвечает она. — Мы знаем, что ты с ним виделась.

Я спрашиваю, откуда.

— Просто знаем, — говорит она. — Чего он хочет? Всяких извращений?

Трудно будет ей объяснить, чего он хочет, потому что у меня этому до сих пор нет названия. Как описать то, что между нами происходит? Да она меня высмеет. Проще ответить:

— В каком-то роде. — Так прозвучит хотя бы гордость принуждения.

Она задумывается.

— Ты удивишься, — говорит она, — сколько нас таких.

— Я ничего не могу поделать, — говорю я. — Я не могу сказать, что не пойду. — Она должна понимать.

Мы уже на тротуаре, разговаривать рискованно, мы слишком близко к остальным, и защитный шепот толпы давно смолк. Мы идем молча, держимся позади, пока наконец она не решает, что безопасно ответить:

— Конечно, не можешь. Но разузнай и расскажи нам.

— Что разузнать? — спрашиваю я.

Я скорее чувствую, чем вижу, как она легонько поворачивает голову:

— Все, что сможешь.

Глава 35

А теперь нужно заполнить пространство в перегретом воздухе моей комнаты, и время тоже заполнить; пространство-время, между здесь-сейчас и там-тогда, размеченное ужином. Прибытием подноса, внесенного по лестнице, словно для увечного. Увечный, тот, кого отдали вечности. Паспорт навечно недействителен. Выхода нет.

Это и случилось в тот день, когда мы пытались пересечь границу со свежими паспортами, в которых говорилось, что мы не те, кто есть, — что Люк, например, никогда не разводился, а значит, мы законны по новым законам.

Мы рассказали про пикник, человек заглянул в машину, увидел нашу дочь — она спала посреди зоопарка шелудивых зверюшек — и ушел внутрь с нашими паспортами. Люк похлопал меня по руке и вышел из машины, будто бы размяться; смотрел на человека в окно будки иммиграционной службы. Я осталась в машине. Закурила, чтобы успокоиться, и вдохнула дым — долгий вздох фальшивого умиротворения. Я разглядыва-

ла двух солдат в незнакомых формах, тогда уже казавшихся знакомыми; солдаты стояли возле черно-желтого полосатого шлагбаума. Ничего не делали. Один наблюдал за птичьей стаей — чайки взлетали, и вихрились, и опускались на перила моста за шлагбаумом. Я разглядывала солдата, и птиц тоже. Все было расцвечено как обычно, только ярче.

Все будет хорошо, сказала, взмолилась я про себя. О, прошу Тебя. Пусть мы пройдем, пусти нас пройти. Всего один раз, и я сделаю что угодно. Кто бы ни слушал, я никогда не узнаю, была бы ему польза или хоть интерес от того, что я хотела пообещать.

Потом Люк слишком быстро сел в машину, и повернул ключ, и дал задний ход. Он снял трубку, сказал Люк. И мы поехали очень быстро, а потом были грунтовка и лес, и мы выскочили из машины и побежали. Спрятаться в коттедже, найти лодку — не знаю, о чем мы думали. Он сказал, что паспорта надежны, нам не хватило времени спланировать. Может, у него был план, какая-нибудь карта в голове. А я — я просто бежала, прочь, прочь.

Я не хочу рассказывать эту историю.

Я и не должна ее рассказывать. Я ничего не

должна рассказывать, ни себе, ни кому другому. Можно мирно сидеть тут, и все. Можно отступить. Возможно, уйти так глубоко, так низко и так далеко вспять, что тебя никогда не выманят.

Nolite te bastardes carborundorum. Сильно ей это помогло.

Зачем бороться?

Так не пойдет.

Любовь? спросил Командор.

Так-то лучше. Об этом я что-то знаю. Об этом можно поговорить.

Влюбленность, сказала я. Влюбиться — мы все это делали так или иначе. Как он может так упрощать? Насмехаться даже. Будто для нас это было тривиально — излишество, каприз. Наоборот — это было тяжко. Сердцевина всего; метод постичь себя; если этого никогда с тобой не случалось, ни разу, ты была как мутант, существо из космоса. Все это понимали.

Влюбленность, влечение, говорили мы; *я на него запала.* Мы были падшие женщины. Мы верили в него, в это движение вниз — столь прекрасное, точно полет, и в то же время столь жуткое, исключительное, столь невероятное. Бог есть любовь, говорили когда-то, но мы перевернули это с ног на голову, и любовь, будто Рай, всегда оставалась

за ближайшим поворотом. Чем труднее было любить конкретного мужчину, который подле нас, тем сильнее мы верили в Любовь, абстрактную и абсолютную. Каждый миг мы ждали перерождения. Вот оно — слово, ставшее плотью.

И временами такое случалось — на время. Такая любовь приходит и уходит, ее трудно вспомнить потом, как боль. Однажды посмотришь на мужчину и подумаешь: *я тебя любила,* — и время будет прошедшее, и тебя переполнит изумление, ибо то было деяние столь поразительное, и опасное, и дурацкое; и еще ты поймешь, отчего твои друзья прежде увиливали от этой темы.

Вспоминать такое сейчас — это здорово утешает.

Или порой, еще любя, еще падая, ты просыпаешься среди ночи, когда лунный свет льется в окно на его спящее лицо, и тени в его глазницах темнее и бездоннее, чем днем, и думаешь: кто знает, чем они заняты сами по себе или с другими мужчинами? Кто знает, о чем они говорят или куда, вероятно, идут? Кто скажет, кто они на самом деле? Под их повседневностью.

И скорее всего, ты подумаешь тогда: а вдруг он меня не любит?

Или вспомнишь истории из газет, о женщи-

нах, которых нашли, — нередко женщинах, но порой мужчинах или детях, это хуже всего, — в канавах, в лесах, в холодильниках заброшенных съемных комнат, в одежде или без, изнасилованных или нет; короче говоря, убитых. Были места, где ты не хотела появляться; предосторожности — замки на окнах и дверях, задернутые шторы, включенный свет. Все это — как молитвы; ты их повторяешь и надеешься, что они тебя спасут. И чаще всего они спасали. Или нечто иное спасало — легко догадаться, ибо ты пока жива.

Но все это уместно было только ночью и не касалось мужчины, которого ты любила, — во всяком случае, днем. Ты хотела, чтобы с ним все работало, чтобы срабатывало. Работать над собой — вот что надо было делать, чтобы оставаться в форме, для мужчины. Если выработаешься до предела, быть может, он тоже так будет. Может, вам двоим удастся сделать так, чтобы все заработало, будто вы двое — мотор, который надо запустить; а иначе один из вас — вероятнее всего, мужчина, — отправится блуждать по собственной траектории, заберет с собой свое тело, к которому так привыкаешь, и оставит тебя с тяжким похмельем, которое можно давить упражнениями. Если не сработало, значит, у одного из вас

были неправильные подходы. Считалось, что все события твоей жизни вызваны позитивной или негативной энергией, проистекающей изнутри твоей головы.

Если не нравится — меняй, говорили мы друг другу и себе. И мы меняли мужчин — на других. Мы не сомневались, что перемены — всегда к лучшему. Мы были ревизионистки, и ревизии учиняли самим себе.

Странно вспоминать, как мы думали тогда, будто все нам доступно, будто не было шальных обстоятельств, не было пределов; словно в бесконечно ширящихся периметрах наших жизней можно вечно строить и перестраивать. Я тоже такая была, я тоже так делала. Люк не был моим первым мужчиной и, возможно, не стал бы последним. Если б его не заморозили. Не остановили во времени, между небом и землей, меж деревьев, в падении.

Раньше послали бы сверток с вещами — все, что имелось у него при себе, когда он умер. Мама рассказывала, так делали в войну. Сколько полагалось скорбеть, что они говорили? Превратить свою жизнь в жертву единственному и любимому. И он был любимым. Единственным.

Есть, говорю я. *Есть, есть,* всего четыре буквы,

безмозглая ты кретинка, — что, так трудно запомнить, даже такое короткое слово?

Я вытираю лицо рукавом. Прежде я бы так не делала, побоялась бы размазать, но теперь ничего не смажется. Какова бы ни была моя гримаса, не видимая мне, — она реальна.

Что ж поделать, простите меня. Я беженка из прошлого и, как все беженцы, вспоминаю обычаи и привычки бытия, которое бросила или вынуждена была бросить, и все они отсюда мнятся причудливыми, а я — ими одержимой. Как белогвардеец в Париже, что пьет чай, заблудившись в двадцатом веке, я влекусь назад, тщусь вновь обрести далекие тропы; сентиментальничаю без меры, теряюсь. Рыдаю. Это рыдания, не плач. Сижу на стуле и истекаю влагой, как губка.

Итак. Подождем еще. Чреватая — так раньше назывались беременные. Чреватый — это скорее как будто назревают неприятности. Чрево — еще и место; место, где ребенок ждет рождения. Я жду в этой комнате. Здесь я — пробел между скобками. Между прочими людьми.

В дверь стучат. Кора с подносом. Но это не Кора.

— Я тебе принесла, — говорит Яснорада.

И я поднимаю голову, и озираюсь, и встаю со стула, и подхожу. Он у нее в руках — полароидный снимок, квадратный и блестящий. Значит, их по-прежнему выпускают, такие фотоаппараты. И семейные альбомы тоже будут, и в них дети; а Служанок нет. С точки зрения будущей истории, Служанки — невидимки. Но дети в альбомах останутся, Жены будут их рассматривать на первом этаже, поклевывая закуски на фуршете, ожидая рождения.

— Только на минуту, — говорит Яснорада тихо, заговорщицки. — Я должна вернуть, пока не хватились.

Наверное, ей добыла Марфа. Значит, существует сеть Марф и им что-то перепадает. Это мило.

Я беру у нее снимок, переворачиваю как полагается. Это она, вот какая она теперь? Сокровище мое.

Так вытянулась, так изменилась. Чуть-чуть улыбается, так скоро; в белом платье, как на стародавнее первое причастие.

Время не стояло на месте. Окатило меня, накатило, смыло, будто я — песочная женщина, будто беспечный ребенок оставил меня слишком близко к воде. Меня для нее уничтожили. Я ныне лишь тень, далеко-далеко за сияющей гладью

этого снимка. Тень тени, как все мертвые матери. По глазам ее вижу: меня там нет.

Но есть она, в белом платье. Она растет и живет. Это же хорошо? Это же благословение?

И все-таки невыносимо — что меня вот так стерли. Лучше бы она ничего мне не приносила.

Я сижу за столиком, ем кукурузную кашу вилкой. Вилка есть, ложка есть, нож — никогда. Если дают мясо, мне его режут заранее, словно я безрукая и беззубая. И руки, и зубы у меня есть. Посему ножа не дадут.

Глава 36

Я стучу в дверь, слышу его голос, подстраиваю лицо, вхожу. Он стоит у камина; в руке почти опустелый бокал. Обычно он ждет меня и лишь тогда приступает к крепкому спиртному, хотя за ужином, я знаю, они пьют вино. Лицо слегка раскраснелось. Я пытаюсь вычислить, сколько он уже выпил.

— Приветствую, — говорит он. — Как сегодня чувствует себя прекрасная маленькая принцесса?

Немало, судя по скрупулезности улыбки, сконструированной и прицельной. В стадии обходительности.

— Хорошо, — отвечаю я.

— Маленько развлечься не хочешь?

— Прошу прощения? — говорю я. Под этим спектаклем сквозит замешательство — он сомневается, как далеко может со мной зайти и в каком направлении.

— У меня сегодня для тебя маленький сюрприз, — говорит он. Смеется; точнее, хихикает. У него сегодня все *маленькое*. Хочет все умалить, включая меня. — Тебе понравится.

— Что бы это могло быть? — спрашиваю я. — Го? — Мне разрешены такие вольности; ему они приятны, особенно после пары бокалов. Он предпочитает, чтоб я была легкомысленна.

— Лучше, — говорит он, пытаясь дразнить.

— Прямо не терпится.

— Хорошо, — говорит он. Подходит к столу, роется в ящике. Затем приближается, одна рука за спиной. — Угадай.

— Животное, растение или минерал? — спрашиваю я.

— О, животное, — с притворной серьезностью отвечает он. — Определенно, я бы сказал, животное. — Он вытаскивает руку из-за спины. Такое впечатление, будто он держит груду перьев, розовых и сиреневых. Вот он ими трясет. Оказывается, это одежда, притом женская: на ней чашечки для грудей в лиловых блестках. Блестки — крохотные звездочки. Перья вокруг проемов для бедер и вдоль декольте. Значит, я не сильно ошиблась насчет пояса с подвязками.

Интересно, где он это раскопал. Такую одежду всю полагалось уничтожить. Помнится, я это видела по телевизору в новостях, город за городом. В Нью-Йорке это называлось Манхэттенская Зачистка. На Таймс-сквер костры, вокруг распевают

толпы, женщины благодарно вскидывают руки, если чувствуют, что камера смотрит, стриженые каменнолицые мальчики швыряют тряпки в пламя, целые груды шелка, нейлона, искусственного меха, лаймового, красного, фиолетового; черный атлас, золотое ламе, блистающее серебро; трусики бикини, прозрачные бюстгальтеры с розовыми сердечками, закрывающими соски. И фабриканты, импортеры, продавцы — на коленях, публично каются, на головах бумажные конусы, колпаки, а на колпаках напечатано красным: ПОЗОР.

Но вероятно, какие-то шмотки пережили сожжение, не могли же они отыскать все. Наверное, он раздобыл эту штуку, как журналы, нечестным путем — от них за милю несет черным рынком. И она не новая, ее уже носили — ткань под мышками смята и слегка испятнана потом другой женщины.

— Мне пришлось угадывать, какой размер, — говорит он. — Надеюсь, подойдет.

— Вы хотите, чтобы я это надела? — спрашиваю я. Тон ханжеский, негодующий, я знаю. Но все-таки что-то в этой идее меня привлекает. Я и отдаленно похожего никогда не носила, столь сверкающего и театрального — наверняка это он

и есть, старый театральный костюм или огрызок исчезнувшего номера из варьете; ближе всего я подходила к такому в купальниках и кружевном персиковом неглиже, которое мне однажды купил Люк. Но тряпка соблазнительна, в ней детские чары переодевания. И какое в этом презрение, какая насмешка над Тетками, как это греховно, как свободно. Свобода, как и все прочее, относительна. — Э, — говорю я, не собираясь выдавать, как мне этого хочется. Пусть думает, что я делаю ему одолжение. Вот мы, должно быть, и приблизились к его глубинному подлинному желанию. Может, у него за дверью прячется хлыст? Извлечет ли он сапоги, перегнется или меня перегнет через стол?

— Это маскировка, — говорит он. — Тебе придется еще накраситься; я все приготовил. Иначе не пустят.

— Куда не пустят?

— У нас с тобой сегодня выход.

— Выход? — Это архаизм. Ибо некуда больше выходить, некуда мужчине вывести женщину.

— Выход отсюда, — говорит он.

Ему не нужно говорить, что предложение рискованное — для него, но в особенности для меня; но я все равно хочу пойти. Что угодно, лишь бы

сбить монотонность, спутать внешне респектабельный порядок вещей.

Не хочу, говорю я, чтобы он смотрел, как я надеваю эту штуку; я по-прежнему его стесняюсь, стесняюсь своего тела. Он отвечает, что отвернется, и отворачивается, и я снимаю туфли, и чулки, и хлопковые панталоны, и в палатке из собственного платья натягиваю перья. Потом снимаю платье и сую руки под бретельки в блестках. Туфли тоже есть — сиреневые, с абсурдно высокими каблуками. Ничего не подходит идеально — туфли великоваты, чуточку жмет в талии, но сойдет.

— Ну вот, — говорю я, и он оборачивается. Я стою как дура; мне хочется посмотреть на себя в зеркало.

— Очаровательно, — говорит он. — Теперь лицо.

У него есть только губная помада, старая, размазанная и пахнущая химическим виноградом, плюс карандаш для глаз и тушь. Ни теней, ни румян. Какую-то секунду я боюсь, что не вспомню, как все это делается, и при первой попытке укротить карандаш получаю черную кляксу на веке, словно подралась; но я стираю ее растительным кремом для рук и начинаю заново. Втираю

немножко помады в скулы, массирую. Пока я этим занята, он держит передо мной большое посеребренное ручное зеркало. Я видела такое у Яснорады. Вероятно, он позаимствовал в ее комнате.

С волосами ничего не сделаешь.

— Великолепно, — говорит Командор. Он уже ощутимо возбужден; мы точно собираемся на вечеринку.

Он идет к шкафу, достает накидку с капюшоном. Светло-голубую, для Жен. Очевидно, тоже Яснорадину.

— Натяни капюшон на лицо, — велит он. — Постарайся не размазать макияж. Это чтобы заставы проехать.

— А мой пропуск? — спрашиваю я.

— Не беспокойся. У меня есть.

И мы отправляемся.

Мы вместе скользим по темнеющим улицам. Командор держит меня за правую руку, словно мы подростки в кино. Я плотно завернулась в небесно-голубую накидку, как полагается приличной Жене. В тоннеле капюшона я вижу затылок Ника. Фуражка прямо, спина прямая, шея прямая, он весь очень прямой. В позе его неодобрение или мне мерещится? Знает ли он,

что на мне под накидкой, он ли это раздобыл? А если так, злится ли он, или вожделеет, или завидует, или вообще ничего? У нас есть нечто общее: нам обоим полагается быть невидимками, оба мы — люди-функции. Понимает ли он? Когда он открывает дверцу Командору, а следовательно, и мне, я пытаюсь поймать его взгляд, заставить его посмотреть, но он меня будто не видит. Отчего бы нет? У него благодатная работа — небольшие поручения, небольшие одолжения, — он не захочет подставиться.

На заставах никаких проблем, все происходит так, как и предсказывал Командор, невзирая на тяжкий грохот, на давление крови в голове. Ссыкунишка, сказала бы Мойра.

После второй заставы Ник спрашивает:

— Сюда, сэр? — и Командор отвечает:

— Да.

Машина притормаживает, и Командор говорит:

— А теперь мне придется попросить тебя лечь на пол.

— На пол? — спрашиваю я.

— Нам нужно миновать ворота, — поясняет он, будто мне это о чем-то говорит. Я пытаюсь спросить, куда мы направляемся, но он отвечает,

что задумал сюрприз. — Жены не допускаются.

И я прижимаюсь к полу, машина снова движется, и несколько минут мне ничего не видно. Под накидкой душит жара. Зимняя накидка, не хлопковая летняя, и пахнет нафталином. Очевидно, он стибрил ее в кладовке, зная, что Яснорада не заметит. Он заботливо сдвинул ноги, чтобы мне осталось больше места. Тем не менее лбом я упираюсь в его сапоги. Я еще никогда не приближалась настолько к его сапогам. Они жесткие, настороженные, как насекомые панцири: черные, гладкие, непроницаемые. К ногам отношения не имеют.

Мы проезжаем очередную заставу. Я слышу голоса — безличные, почтительные, и окно электрически отъезжает вниз и вверх — показаны пропуска. На сей раз он не показывает мой пропуск, тот, что вместо моего, — формально я пока не существую.

Затем машина едет, а затем снова останавливается, и Командор помогает мне встать.

— Теперь быстрее, — говорит он. — Это черный ход. Ник возьмет накидку. В обычное время, — говорит он Нику. Значит, такое он тоже делает не впервые.

Он помогает мне снять накидку; дверца маши-

ны распахнута. Почти голую кожу гладит воздух, и я понимаю, что вспотела. Обернувшись, чтобы захлопнуть дверцу, я вижу, как Ник смотрит на меня через стекло. Теперь он меня видит. Что это — пренебрежение, равнодушие, этого он от меня и ожидал?

Мы в переулке за домом из красного кирпича, довольно современным. У двери — батарея мусорных баков, пахнет прогорклой жареной курицей. У Командора ключ от двери — серой, простой, она сливается со стеной и, по-моему, стальная. Внутри — бетонный коридор, залитый флуоресцентным потолочным светом; какой-то служебный тоннель.

— Сюда, — говорит Командор. Нацепляет мне на запястье лиловую бирку на резинке, как для багажа в аэропорту. — Если кто-нибудь спросит, скажи, что арендована на вечер. — Он берет меня за голое плечо и подталкивает вперед. Я хочу зеркало, посмотреть, не размазалась ли помада, нелепы ли перья, неряшливы ли. В таком свете я, должно быть, вылитый жмурик. Впрочем, теперь уже поздно.

Идиотка, говорит Мойра.

Глава 37

Мы идем по коридору, через вторую плоскую серую дверь, по другому коридору, тускло освещенному и с ковром грибного цвета, розово-коричневым. В коридоре двери с номерами: сто один, сто два, как будто считаешь в грозу, вычисляешь, насколько молния промахнулась мимо тебя. Значит, гостиница. Из-за одной двери доносится смех — мужской, но еще и женский. Как давно я этого не слышала.

Мы попадаем в центральный внутренний двор. Он широк и высок — несколько этажей, наверху стеклянная крыша. В центре фонтан разбрызгивает воду, круглый фонтан в форме поседевшего одуванчика. Тут и там цветы и деревья в горшках, с балконов свисают лозы. Овальнобокие лифты гигантскими моллюсками скользят вверх и вниз по стенам.

Я знаю, где я. Я бывала здесь с Люком, вечерами, давным-давно. Тогда здесь была гостиница. Теперь она полна женщин.

Я смотрю на них, замерев. Здесь я могу смотреть, могу озираться: никакие белые шоры мне не помешают. Голова моя, избавленная от шор, уди-

вительно легка; будто лишена груза — или веса.

Женщины сидят, расхаживают, гуляют, приваливаются друг к другу. Среди них затесались мужчины, толпа мужчин, но в форме или в костюмах они так похожи друг на друга, что служат просто фоном. Женщины — наоборот, тропические, разодеты ярко и празднично, в одежках всех мастей. На некоторых наряды, как у меня, — искры и перья, открытые бедра, низкие вырезы. Другие в старомодном дамском белье, коротеньких ночнушках, кукольных пижамках, изредка — в прозрачных неглиже. Некоторые в купальниках, цельных или бикини; одна в трикотажном, груди прикрыты большими раковинами гребешка. Некоторые в спортивных шортах и топиках, еще кто-то — в тренировочных костюмах, как из телевизора — в обтяжку, с пастельными вязаными гетрами. Несколько женщин даже в костюмах спортивных заводил — гофрированные юбочки, громадные буквы на груди. Им, видимо, приходится мириться с этим смешением жанров — что удалось уволочь или приберечь. Все в макияже, и я понимаю, до чего отвыкла видеть его на женщинах: мне кажется, глаза их чересчур велики, чересчур темны и мерцают, губы слишком красны, влажны, окровавлены и блестящи; или,

с другой стороны, чрезмерно клоунские.

На первый взгляд в этой сцене есть радость жизни. Словно маскарад; все они — точно дети-переростки, разодетые в находки, выуженные из сундуков. Есть ли тут веселье? Не исключено, однако их ли это выбор? По виду не разберешь.

В этой комнате ужасно много ягодиц. Я от них отвыкла.

— Как будто в прошлое вернулся, — говорит Командор. В голосе удовольствие, даже восторг. — Видишь?

Я пытаюсь вспомнить, таково ли взаправду было прошлое. Я уже не уверена. Я знаю, что все это в нем содержалось, но коктейль почему-то выходит иной. Кино о прошлом не равно прошлому.

— Да, — говорю я. Ощущения мои непросты. Эти женщины явно не ужасают меня, не шокируют. Это праздные, я их узнала. Общественная мораль их отрицает, отрицает само их существование, и однако вот они. Уже что-то.

— Не пялься, — говорит Командор. — А то тебя раскроют. Веди себя естественно. — И опять ведет меня вперед. Другой мужчина видит его, приветствует и нацеливается пробраться к нам. Рука Командора стискивает мое плечо. — Спокойно, — шепчет он. — Держи себя в руках.

Нужно, говорю я себе, просто не открывать рта и прикидываться идиоткой. Вряд ли это настолько уж трудно.

Командор сам беседует за меня — с этим мужчиной и с другими, которые подходят следом. Обо мне почти ни слова — это и не требуется. Говорит, что я новенькая, и они смотрят на меня, и отмахиваются от меня, и совещаются о своем. Маскировка действует, как задумано.

Он не отпускает моего плеча; он говорит, и его позвоночник незаметно выпрямляется, расправляется грудь, все очевиднее прорывается в голосе бойкость и шутливость юности. Он хвастается, соображаю я. Хвастается мной перед ними, и они это понимают, они достаточно благопристойны, не распускают рук, однако разглядывают мою грудь, мои ноги, словно почему бы им и не поразглядывать. Но еще он хвастается передо мной. Красуется: вот какая у него в этом мире власть. Он нарушает правила у них под самым носом, показывает им нос, и ничего ему за это не будет. Может, он уже отравлен, как говорится, властью, уже достиг той стадии, когда начинаешь верить, будто незаменим и потому вправе делать что угодно, абсолютно все, чего душа пожелает, все на свете. Дважды, когда ему кажется, что никто

не замечает, он мне подмигивает.

Весь этот спектакль — ребяческое бахвальство, притом жалкое; но такое я могу понять.

Когда это ему наскучивает, он уводит меня снова — к пухлому цветастому дивану, какие прежде ставили в гостиничных вестибюлях; я даже помню эти розовые цветочки арт-нуво на темно-синем фоне.

— Я подумал, у тебя, наверное, ноги устали, — говорит он, — в этих туфлях. — Это правда, и я ему благодарна. Он усаживает меня, садится рядом. Обнимает за плечи. Ткань его рукава скрежещет по голой коже, за последнее время отвыкшей от прикосновений. — Ну? — говорит он. — Что скажешь о нашем маленьком клубе?

Я снова озираюсь. Мужчины тут не однородны, как мне сперва почудилось. У фонтана сгрудились японцы в светло-серых костюмах, а в дальнем углу — всплеск белизны: арабы в этих своих длинных халатах, платках, полосатых головных повязках.

— Это клуб? — спрашиваю я.

— Ну, между собой мы его называем так. Клуб.

— А я думала, это строго запрещено.

— Официально, — говорит он. — Но, в конце концов, все мы люди.

Я жду развития темы, но Командор тему не развивает, поэтому я спрашиваю:

— То есть?

— То есть Природу не обманешь, — поясняет он. — Для мужчин Природа требует разнообразия. Это логично, это элемент стратегии воспроизводства. Так задумала Природа. — Я ни слова не говорю, и он продолжает: — Женщины это знают инстинктивно. Зачем женщина прежде покупала столько разной одежды? Чтобы облапошить мужчину, чтобы он поверил, будто она — несколько разных женщин. Каждый день новая.

Он излагает так, будто сам в это верит, но он многое так излагает. Может, верит, а может, нет, а может, и то и другое разом. Не поймешь, во что он верит.

— Так что теперь, когда нам запрещена разная одежда, — говорю я, — вы получаете разных женщин. — Это ирония, но он не поддается.

— Это решает массу проблем, — говорит он, не дрогнув.

Я не отвечаю. Он мне надоедает. Хочется застыть, остаток вечера провести в угрюмой бессловесности. Я не могу себе это позволить, я знаю. Как бы там ни было, у нас выход в свет.

На самом деле мне хочется поговорить с други-

ми женщинами, но, по-моему, шансы мизерны.

— Кто все эти люди? — спрашиваю я.

— Здесь только для офицеров, — говорит он. — Из всех подразделений и еще для высших чиновников. И для торговых делегаций, естественно. Это стимулирует торговлю. Самое место для встреч. Без этого и бизнеса никакого не выйдет. Мы стараемся тут все обустроить хотя бы не хуже прочих. И подслушать можно; всякую информацию. Мужчина порой говорит женщине такое, чего другому мужчине не скажет.

— Нет, — говорю я. — Кто все эти женщины?

— А, — говорит он. — Ну, некоторые — настоящие профи. Рабочие девушки, — смеется он, — как в старые времена. Их не удалось ассимилировать, и к тому же большинство предпочитают трудиться здесь.

— А остальные?

— Остальные? Ну, у нас неплохая коллекция. Вон та, в зеленом, — она социолог. То есть была. Вон та — адвокат, вон та — бизнес-леди, какая-то начальница; то ли сеть закусочных, то ли гостиницы. Говорят, с ней можно неплохо поболтать, если только поболтать и охота. Они тоже предпочли остаться здесь.

— Чему предпочли? — спрашиваю я.

— Альтернативам, — говорит он. — Ты бы, может, и сама предпочла — тому, что имеешь. — Он робеет, он нащупывает, он хочет комплиментов, и я понимаю, что серьезный разговор окончен.

— Не знаю. — Я делаю вид, что раздумываю. — Наверное, трудная работа.

— Надо за весом следить, это уж точно, — говорит он. — Тут с этим строго. Набираешь десять фунтов — сажают в Одиночку. — Это он так шутит? Скорее всего, но я не хочу знать. — Итак, — продолжает он, — дабы ты прониклась местным духом, — как насчет капельку выпить?

— Мне не положено, — говорю я. — Вы же знаете.

— Один раз не повредит, — отвечает он. — И к тому же это подозрительно, если ты не пьешь. Здесь не действуют табу на никотин и алкоголь. Видишь, у них тут есть свои плюсы.

— Ладно, — говорю я. Втайне мне нравится эта мысль, я уже столько лет не пила.

— И что же ты будешь? — спрашивает он. — У них тут все найдется. Импортное.

— Джин с тоником, — отвечаю я. — Только, прошу вас, некрепкий. Я не хотела бы вас позорить.

— Тебе это не удастся, — ухмыляется он. Встает; а затем, к моему изумлению, берет мою руку и

целует в ладонь. И направляется к бару. Можно было подозвать официантку, они тут встречаются, в одинаковых черных мини-юбках с помпонами на грудях, но официантки, видимо, заняты, и залучить их непросто.

И тут я вижу ее. Мойру. Она и еще две женщины стоят у фонтана. Я вглядываюсь опять — точно ли она; я гляжу в ритме сердца, молниеносным движением глаз, чтобы никто не заметил.

Наряд у нее бредовый — черный, из когда-то блестящего атласа, много повидал на своем веку. Без бретелек, изнутри корсет подталкивает кверху груди, но платье Мойре не совсем по размеру, велико, и одна грудь вспухла наружу, а вторая нет. Мойра в рассеянности дергает край выреза, тянет повыше. На спине болтается кусок ваты — я вижу, когда Мойра полуоборачивается; похоже на гигиеническую прокладку, которую надули, как попкорн. Я так понимаю, это хвост. К голове пришпилены уши — кроличьи или оленьи, так сразу и не скажешь; одно вислое — потерян крахмал или каркас. Черный галстук-бабочка, черные сетчатые чулки и черные туфли на высоченном каблуке. Мойра всю жизнь ненавидела каблуки.

Весь этот костюм, антикварный и вздорный, напоминает мне что-то из прошлого — не помню

что. Театральная пьеса, мюзикл? Девочки, на Пасху переодетые в кроликов? А здесь он что значит, почему считается, что кролики сексуально привлекательны? Как может кому-то нравиться эта драная тряпка?

Мойра курит. Затягивается, передает сигарету женщине слева; та вся в красных блестках, с длинным острым хвостом и серебристыми рогами: дьявольский костюм.

Вот Мойра скрестила руки под проволочной грудью. Переступает на одну ногу, на другую — наверное, ноги болят; спина чуть сутулится. Без интереса, без единой мысли Мойра оглядывает зал. Очевидно, картина знакомая.

Я молю ее посмотреть на меня, увидеть меня, но глаза ее скользят по мне, словно я очередная пальма, очередное кресло. Я так сильно умоляю — она должна обернуться, должна поглядеть на меня, пока не подошел какой-нибудь мужчина, пока она не исчезла. Одна женщина с нею, блондинка в короткой розовой пижамной курточке, отороченной драным мехом, уже присвоена, уже вошла в стеклянный лифт, уже вознеслась и исчезла. Мойра опять вертит головой — вероятно, оценивает перспективы. Наверное, трудно вот так стоять, невостребованной, как на школьной

дискотеке, незамеченной. На сей раз ее взгляд спотыкается на мне. Она меня видит. Ей хватает ума не показать.

Мы смотрим друг на друга, лица пусты, безразличны. Затем она совсем чуточку дергает головой вправо. Забирает сигарету у женщины в красном, подносит к губам, рука на миг замирает в воздухе, пальцы растопырены. А затем Мойра отворачивается.

Наш старый знак. У меня пять минут, чтобы добраться до женской уборной, которая где-то от Мойры справа. Я озираюсь — уборной не видно. И я не могу так рисковать — без Командора встать и уйти. Я ничего не знаю, не знаю верных ходов, меня могут заподозрить.

Минута, две. Мойра неспешно шагает прочь, не глядя по сторонам. Ей остается надеяться, что я поняла и последую за ней.

Возвращается Командор с двумя бокалами. Улыбается мне сверху вниз, ставит бокалы на длинный черный кофейный столик перед диваном, садится.

— Развлекаешься? — спрашивает он. Он хочет, чтобы я развлекалась. Это же, в конце концов, развлечение.

Я улыбаюсь в ответ.

— Тут есть уборная? — спрашиваю я.

— Естественно, — отвечает он. Попивает из бокала. Не говорит где.

— Мне туда нужно. — Про себя я отсчитываю время: уже не минуты — секунды.

— Вон там. — Он кивает.

— А если меня кто-нибудь остановит?

— Покажи им ярлык. Все будет нормально. Они поймут, что ты занята.

Я встаю, ковыляю через зал. У фонтана спотыкаюсь, едва не падаю. Каблуки. Без поддержки руки Командора я теряю равновесие. Несколько мужчин оглядываются — по-моему, удивленно, а не похотливо. Я стою как дура. Сгибаю левую руку, нарочито выставляю локоть перед собой, иду биркой вперед. Никто ничего не говорит.

Глава 38

Я отыскиваю дверь в женскую уборную. На ней до сих пор витой позолотой значится «Дамская комната». К ней ведет коридор, у двери за столом сидит женщина, наблюдает, кто входит и выходит. Пожилая, в пурпурном восточном халате и с золочеными веками, однако я вижу, что она Тетка. На столе электробич, ремешок у женщины на запястье. Тут не забалуешь.

— Пятнадцать минут, — говорит она. Вручает мне прямоугольную пурпурную картонку из целой кипы на столе. Как примерочная в стародавних универмагах. Я слышу, как женщине за мной она говорит: — Ты здесь только что была.

— Но мне опять нужно, — отвечает та.

— Перерыв — раз в час, — говорит Тетка. — Ты знаешь правила.

Женщина возражает, в отчаянии канючит. Я толкаю дверь.

Я помню. Комната отдыха, залитая нежным розоватым светом, несколько мягких кресел и диван, на ткани — бамбуковые побеги лаймового цвета, а на стене часы в золотой филигранной оправе. Тут зеркала не убрали — одно, длинное,

висит против дивана. Здесь ты должна понимать, как выглядишь. За сводчатым проходом — туалетные кабинки, тоже розовые, и раковины, и снова зеркала.

Несколько женщин сидят в креслах и на диване: сбросили туфли, курят. Я вхожу, они смотрят. Пахнет духами, застарелым дымом и еще — рабочей плотью.

— Новенькая? — спрашивает одна женщина.

— Да, — говорю я, глазами выискивая Мойру, которой нигде не видать.

Женщины не улыбаются. Продолжают курить, словно это серьезный труд. В задней комнате подправляет макияж женщина в костюме кошки: хвост из рыжего искусственного меха. Тут как за кулисами: грим, дым, инструментарий иллюзии.

Я мнусь, не понимая, что делать. Я не хочу спрашивать про Мойру, я не знаю, безопасно ли. Потом кто-то спускает воду, и из розовой кабинки выходит Мойра. Ковыляет ко мне; я жду знака.

— Все путем, — говорит она мне и остальным женщинам. — Я ее знаю. — Теперь они улыбаются, а Мойра меня обнимает. Мои руки обхватывают ее, проволока, что держит ее груди, впивается мне в ребра. Мы целуемся, в одну щеку, потом в другую. Отстраняемся. — Боженька немило-

сердный, — говорит она. Ухмыляется. — На тебя посмотреть, так прямо Вавилонская блудница.

— Ну, мне же так и положено, — говорю я. — А на тебя посмотреть, так тебя кошка целый день по полу валяла.

— М-да, — отвечает она, поддернув кромку декольте. — Не мой стиль, а эта ветошь скоро на нитки расползется. Я все жду, может, раздобудут кого-нибудь, кто еще помнит, как такое мастерить. Мне бы хоть полуприличная тряпка не помешала.

— Ты это сама выбрала? — Может, она предпочла этот костюм другим, потому что он не такой кричащий. Хотя бы просто черно-белый.

— Жди, как же, — говорит она. — Казенные поставки. Видимо, решили, что вот такое я чучело.

Я все еще не верю, что это вообще она. Снова касаюсь ее руки. И начинаю плакать.

— Не делай так, — советует она. — Глаза потекут. И времени к тому же нет. Подвиньтесь. — Это она говорит двум женщинам на диване, по обыкновению властно, грубо и небрежно; как всегда, ей это сходит с рук.

— У меня все равно перерыв закончился, — говорит одна, в нежно-голубом бюстье на шнуровке и в белых чулках. Она встает, пожимает мне ру-

ку: — Добро пожаловать.

Вторая женщина послушно двигается, и мы с Мойрой садимся. Первым делом скидываем туфли.

— Тебя как сюда, нахер, занесло? — спрашивает затем Мойра. — То есть видеть тебя — замечательно, без вопросов. Только тебе это совсем не замечательно. Что ты выкинула? Тебя рассмешил его член?

Я гляжу в потолок:

— Тут прослушивают? — Я опасливо, кончиками пальцев, вытираю глаза. Стирается чернота.

— Наверное, — говорит Мойра. — Хочешь сигу?

— С наслаждением, — отвечаю я.

— Слышь, — обращается она к соседке. — Одолжи штучку, ладно?

Женщина безропотно протягивает ей сигарету. Мойра по-прежнему умелый заемщик. Я улыбаюсь.

— А с другой стороны, может, и нет, — продолжает Мойра. — Как-то не верится, будто им важно, о чем мы тут трындим. Они почти все это уже слыхали, а отсюда никто не выходит, разве что в черном фургоне. Но раз ты тут — сама небось знаешь.

Я притягиваю ближе ее голову и шепчу на ухо:

— Я временно. Только на сегодня. Мне вообще тут быть не полагается. Он меня контрабандой провез.

— Кто? — шепчет она. — Этот придурок, который с тобой? Он у меня был, это же полный уебок.

— Это мой Командор, — говорю я.

Она кивает.

— Они так иногда делают, им по кайфу. Вроде как трахаться на алтаре — вы же, девушки, все из себя непорочные сосуды. Им по приколу, если вы размалеваны. У этих обсосов от власти крыша едет.

Мне в голову не приходила такая интерпретация. Я прилаживаю ее к Командору, но она слишком проста для него, слишком топорна. У него наверняка мотивации тоньше. Хотя, возможно, я так думаю из тщеславия.

— У нас мало времени, — говорю я. — Рассказывай.

Мойра пожимает плечами.

— А пользы-то? — спрашивает она. Но знает, что польза есть, и рассказывает.

Вот что она говорит, шепчет, — более или менее. Я не запомнила точно, потому что никак было не записать. Я договаривала за нее, как

могла: времени мало, она лишь набрасывала в общих чертах. И рассказала мне за два сеанса; мы исхитрились во второй раз вместе попасть в перерыв. Я очень старалась, чтобы звучало похоже на нее. Так я не даю ей умереть.

— Я связала эту старую каргу, Тетку Элизабет, как рождественскую индюшку, и оставила за печкой. Я хотела ее кокнуть, мне жуть как хотелось, но теперь я рада, что не кокнула, а то мне было бы еще хуже. Из Центра выбраться — раз плюнуть, я прямо поразилась. В буром платье взяла и прошла. Я шла и шла, как будто знала куда, пока не скрылась из виду. У меня не было никакого плана; я ничего такого не готовила, как они думали, хотя потом, когда они план из меня выбивали, я им много чего насочиняла. Когда тычут электродами и прочим всяким, чего только не сочинишь. Вообще плевать, что говоришь.

И значит, я такая марширую себе вперед, плечи прямые, морда кирпичом, думаю, что же дальше делать. Когда были чистки прессы, многих знакомых забрали, и я думала, что остальных уже, наверное, тоже. У них как пить дать список имелся. Мы, тупицы, думали, сможем продолжать, как раньше, даже в подполье, даже когда мы из редакции всё развезли по подвалам и кла-

довкам. В общем, мне хватило мозгов в те дома не стучаться.

Я примерно представляла, где я, хотя шла по улице, которой прежде не видела. Но я по солнцу вычислила, где север. Вот тебе и польза от гёрлскаутов. Я решила, можно и в ту сторону пойти, поискать, может, Ярд, или Площадь, или вокруг что-нибудь. Тогда пойму, куда меня занесло. И еще я решила, что мне лучше двигаться к центру города, а не наоборот. Достовернее получится.

Пока мы сидели в Центре, они везде понатыкали застав, просто куда ни плюнь. Первая меня напугала до усрачки. Выворачиваю из-за угла, а тут застава. Ну, я понимала, что это подозрительно будет, если я у них на глазах развернусь и почешу назад, так что решила блефовать, как у ворот, рожу такую скорчила, вся застыла, губы поджала, гляжу сквозь них, как будто они болячки гнилые. Ну, знаешь, какие у Теток морды, когда они говорят «мужчина». Волшебно работало, на других заставах тоже.

Но в голове-то у меня была просто карусель чокнутая, а не мозги. Времени мало, вот-вот старую крысу найдут и забьют тревогу. Скоро будут меня искать: липовая Тетка, одна, пешком. Я

все думала, к кому бы податься, прокручивала в голове всех, кого знала. Наконец решила вспомнить что возможно из нашего списка рассылки. Мы его, ясное дело, еще раньше уничтожили; то есть нет, не уничтожили — мы его поделили, каждая выучила наизусть часть, а потом мы его уничтожили. Мы тогда еще рассылали по почте, только логотип на конверты больше не ляпали. Слишком рискованно стало.

Ну и я попыталась вспомнить свою часть. Я тебе не скажу имя, которое выбрала, не хочу, чтоб у них были проблемы, если еще нет. Может, я это все уже выложила, трудно вспомнить, что говоришь, когда они это делают. Что угодно скажешь.

Я их выбрала, потому что они были женатая пара, — это безопаснее, чем одиночки, и тем более чем геи. И еще я вспомнила обозначение после имени — Кв., то есть квакеры. Мы обозначали конфессиональную принадлежность, если она была, — для демонстраций. Так легче вычислять, кто куда придет. Скажем, без толку обзванивать тех, кто помечен К, на предмет абортов, хотя мы в последнее время ничего такого почти и не устраивали. Их адрес я тоже вспомнила. Мы друг друга муштровали, потому что адреса важно помнить

точно, с индексами и все такое.

К тому времени я дошла до Масс-авеню и поняла, где нахожусь. И поняла, где находятся они. Теперь я не поэтому дергалась: когда эти люди увидят, как к ним по дорожке чешет Тетка, они же наверняка двери запрут и прикинутся вениками? Но у меня единственный шанс, пришлось рискнуть. Я подумала, вряд ли они меня пристрелят. Уже было часов пять. Я устала ходить, особенно по-Теточьи, как солдатня какая, будто в жопу ткнутая, и я с самого завтрака ничего не ела.

Только я, конечно, не знала, что тогда, в начале, про Теток и даже про Центр, по сути, никто и не слышал. Сначала-то все было секретно, за колючей проволокой. Видимо, даже тогда не все их одобряли. И поэтому люди, если видели изредка в округе какую-нибудь Тетку, все равно не знали, зачем эта Тетка нужна. Думали, что Тетки — вроде армейских сестер. И уже перестали задавать вопросы — разве что иначе никак.

В общем, эти люди мигом меня впустили. Дверь открыла женщина. Я ей сказала, что провожу опрос. Это чтоб она не слишком уж явно удивилась — на случай, если кто смотрит. Но как только я вошла, я сняла эту Теточью фигню с головы и сказала им, кто я есть. Они могли позвонить в по-

лицию или куда-нибудь, я понимала, что рискую, но, я же говорю, у меня выбора не было. Они, короче, не позвонили. Дали мне одежду, какое-то ее платье, и сожгли Теткины шмотки и пропуск в печке; понимали, что это надо мигом сделать. Они мне не обрадовались, это-то было ясно, они ужасно нервничали. У них двое маленьких детей, обоим и семи нет. В общем, я их понимала.

Я сходила на горшок — редкое было облегчение. Ванна с пластиковыми рыбками и все такое. Потом я торчала наверху в детской, играла с детьми, пластмассовые кирпичики складывала, пока родители сидели внизу и думали, что же со мной делать. Я уже не боялась, мне, в общем, даже было неплохо. Впала в фатализм, можно сказать. Потом женщина приготовила мне бутерброд и кофе, а мужчина сказал, что отведет меня в другой дом. Они не рискнули звонить.

Другой дом тоже был квакерский — золотая жила, потому что они были станция на Подпольной

Женской Дороге[60]. Когда первый мужчина ушел, они сказали, что попробуют переправить меня из страны. Я тебе не скажу как, потому что, может, некоторые станции еще действуют. Каждая на связи только с одной, следующей. В этом есть плюсы — так лучше, если заловят, — но и минусы, потому что, если одну станцию накроют, вся цепочка застревает, пока не выйдут на проводника и тот не устроит обходной путь. Но организация у них лучше, чем ты думаешь. Свои люди в паре полезных мест; например, на почте. У них там был водитель, а у водителя — весьма полезный грузовичок. Я перебралась через мост и в город в мешке для почты. Я тебе это могу рассказать, потому что его вскоре взяли. В итоге оказался на Стене. Мы тут кое-что слышим; ты удивишься, сколько всего мы тут слышим. Командоры нам сами рассказывают — небось думают, почему нет, нам это рассказывать некому, разве что друг другу, а это не считается.

---

[60] Примечания: 60

Па рафраз названия «Подпольная (она же Подземная) Железная Дорога» — тайная система организации побегов чернокожих рабов из южных американских штатов на Север и в Канаду в период перед Гражданской войной в США. Была создана освободившимися рабами и белыми аболиционистами, среди которых было немало квакеров. Все элементы системы назывались в согласии с железнодорожной метафорой: в частности, в ней имелись «станции», «проводники» и «партии товара», подлежавшие переброске.

Вроде я так треплюсь, можно подумать, это все легко и просто, но оно было совсем не легко. Я едва кирпичами не срала всю дорогу. А тяжелее всего, наверное, — знать, что вот эти люди ради тебя рискуют жизнью, хотя вовсе не обязаны. Но они сказали, что это по религиозным причинам и пусть я не принимаю лично на свой счет. Мне чутка полегчало. Они каждый вечер молча молились. Мне сначала трудно было привыкнуть, похоже на хуйню эту в Центре. Меня блевать тянуло, сказать по правде. Приходилось напрягаться, уговаривать себя, что тут совсем другое дело. Я это сначала ненавидела. Но, видимо, их только это на плаву и держало. Они примерно знали, что с ними будет, если их застукают. Не в подробностях, но знали. Тогда уже стали кое-что показывать по телику, суды всякие.

Это было еще до того, как всерьез начались сектантские облавы. Если говоришь им, что ты какой-нибудь там христианин и замужем — ну то есть в первом браке, — они тогда тебя особо не трогают. Они сначала на других сосредоточились. Тех более или менее прижали к ногтю, а уж потом остальными занялись.

Я жила в подполье месяцев восемь или девять. Меня переводили из одного чистого дома в дру-

гой, тогда их было больше. Не все квакерские, некоторые даже не религиозные. Просто люди, которым не нравилось, как все повернулось.

Я почти выбралась. Меня довезли аж до Салема, потом в Мэн в грузовике с курами. Я от вони чуть не блеванула; ты вообще представляешь, каково это, когда на тебя срет целый грузовик кур, и притом их всех до единой укачало? Меня хотели перевезти через границу; не на машине или грузовике, это уже было слишком сложно, а на лодке, вдоль побережья вверх. Я не знала до самой той ночи, они заранее не говорят, только когда уже вот-вот все начнется. Осторожные.

В общем, не знаю, что случилось. Может, кто-то перебздел или кто-то снаружи что-то заподозрил. А может, из-за лодки — решили, что дядька зачастил на лодке кататься по ночам. К тому времени там Очей было, наверное, пруд пруди, как и везде, где граница близко. Короче, нас повязали, как только мы вышли черным ходом, чтоб уже спускаться к докам. Меня, этого дядьку и его жену. Пожилая пара, пятьдесят с хвостом. Он омаров ловил — до того как прибрежное рыболовство накрылось медным тазом. Не знаю, что с ними потом случилось, потому что меня везли в отдельном фургоне.

Я думала, мне конец. Или назад в Центр, к заботам Тетки Лидии и ее стального кабеля. Она, знаешь ли, такое любила. Придуривалась, дескать, люби грешника, ненавидь грех, но такое любила. Я подумывала склеить ласты и, может, склеила бы, если б нашла способ. Но со мной в фургоне сидели двое, пялились на меня, как ястребы; ни словечка из себя не выдавили, просто сидели и пялились, и глаза как у истуканов каменных. Так что склеить ласты не сложилось.

Только в Центр мы не поехали, а поехали куда-то еще. Я не буду рассказывать, что потом было. Я бы предпочла об этом не говорить. Могу только сказать, что следов они не оставляют.

Когда все закончилось, мне показали кино. Знаешь, о чем? О жизни в Колониях. В Колониях в основном только и делают, что чистят. Очень они теперь повернуты на чистоте. Иногда просто трупы после стычек. Хуже всего — в городских гетто, там трупы валяются дольше и гниют сильнее. А эти уроды, они не любят, когда вокруг мертвяки валяются, они боятся чумы или еще какой дряни. Поэтому женщины в Колониях жмуриков жгут. В других Колониях еще хуже, там токсические свалки и утечки радиации. Они посчитали, у тебя там года три максимум, пока нос не отвалится, а

кожа не слезет, как перчатка. Кормить толком не кормят, защитной одежды не дают — так выходит дешевле. В общем, там главным образом люди, от которых им охота избавиться. Они говорят, есть и другие Колонии, поприличнее, где сельское хозяйство: хлопок, помидоры, все такое. Но их в кино не показывали.

Там старухи — ты же небось удивлялась, куда подевались старухи, — и Служанки, которые прохлопали свои три шанса, и закоренелые, вроде меня. Отбросы. Стерильные, ясное дело. Если они такие и не были вначале, поживут там чуток — и будут стерильные. Когда они сомневаются, они тебя слегка оперируют, чтоб наверняка ошибки не вышло. По-моему, где-то четверть народу — мужчины. Не все Гендерные Изменники болтаются на Стене.

Все в длинных платьях, как в Центре, только серых. Женщины и мужчины, судя по групповым фоткам. Я так думаю, это они мужчин деморализуют — заставляют платья носить. Бля, да это и меня деморализует. Как ты это выносишь? С учетом обстоятельств, эта шмотка мне больше нравится.

В общем, потом они сказали, дескать, я слишком опасна, чтоб получить привилегию вернуться в

Красный Центр. Сказали, я буду всех разлагать. У меня есть выбор, сказали они, — сюда или в Колонии. Черт, да никто, кроме разве монахинь каких, не выберет Колонии. Ну то есть я же не великомученица. Мне сто лет назад трубы перевязали, мне даже операция не нужна. Тут тоже никого с нормальными яичниками нет — сама понимаешь, сколько от этого может быть проблем.

И вот, короче, я здесь. Даже крем для лица дают. Исхитрись как-нибудь сюда попасть. Получишь три-четыре приятных года, пока щелка не высохнет и тебя на погост не отправят. Кормят ничего себе, выпивка есть, наркотики есть, если надо, работа только по ночам.

— Мойра, — говорю я. — Ты это не всерьез. — Теперь она меня пугает, потому что в голосе ее безразличие, отсутствие воли. Неужели с ней по правде это сделали, забрали нечто — что — такое важное, то, что было ее существом? Но с чего мне ждать от нее стойкости, отваги по моим понятиям, ждать, что она их проживет и воплотит, когда я их не воплощаю сама?

Я не хочу, чтоб она была как я. Сдалась, подстроилась, спасала свою шкуру. Вот в чем суть. Я жду от нее мужества, хулиганства, героизма, битвы в одиночку. Того, чего недостает мне.

— За меня не переживай, — говорит она. Какие-то мои мысли она, видимо, угадала. — Я же здесь, ты же видишь — это я. К тому же посмотри на это иначе: все не так плохо, вокруг полно баб. Лесбийский рай, можно сказать.

Она дразнится, в ней мелькает сила, и мне легче.

— А они позволяют? — спрашиваю я.

— «Позволяют» — бля, да они сами ластятся. Знаешь, как они тут между собой эту шарашку называют? «У Иезавели». Тетки считают, что мы по-любому прокляты, рукой на нас махнули, им не важно, как именно мы тут грешим, а Командорам похер, что мы делаем в свободное от работы время. И кроме того, женщина с женщиной — это их как бы возбуждает.

— А остальные? — спрашиваю я.

— Скажем так, — говорит она, — мужчин они обожают не слишком. — И снова пожимает плечами. Быть может, покорно.

Вот что я хотела бы рассказать. Историю о том, как Мойра сбежала — на сей раз удачно. А если я не могу рассказать об этом, я бы хотела поведать, как она взорвала «У Иезавели» с пятьюдесятью Командорами внутри. Я хотела бы, чтоб она погибла как-нибудь зрелищно и дерзко,

возмутительно, как ей и пристало. Но, насколько мне известно, ничего такого не случилось. Я не знаю, как она погибла и даже погибла ли вообще, потому что я больше никогда ее не видела.

Глава 39

У Командора ключ от номера. Командор его забрал у портье, пока я сидела на цветастом диване. Командор лукаво показывает мне ключ. Я должна сообразить.

Мы возносимся в половинке яйца, стеклянном лифте, мимо увитых лозами балконов. Я также должна сообразить, что меня выставляют напоказ.

Он отпирает дверь. Все такое же, совершенно такое, как в стародавние времена. Те же портьеры, тяжелые, пестрые, под цвет покрывала — оранжевые маки на ярко-синем, и тонкие гардины от солнца; письменный стол и прикроватные тумбочки, прямоугольные, безличные; лампы; картины по стенам — фрукты в чаше, стилизованные яблоки, цветы в вазе, лютики и ястребинки, в одном ключе с портьерами. Все то же самое.

Одну минуту, говорю я Командору и ухожу в ванную. В ушах звенит от дыма, джин переполняет меня апатией. Я сую под воду махровую салфетку и прижимаю ко лбу. Через некоторое время смотрю, есть ли брусочки мыла в обертках.

Есть. С цыганками, из Испании.

Я вдыхаю запах мыла, запах дезинфекции, и стою в белой ванной, слушая, как где-то журчат краны, сливается вода в унитазах. Странным образом мне уютно, я дома. В туалетах есть что-то утешительное. Хотя бы функции организма остались демократичны. Все на свете срут, как выразилась бы Мойра.

Я сижу на краю ванны, гляжу на однотонные полотенца. Когда-то они бы меня тронули. Когда-то они означали бы последствия любви.

Я видела твою матушку, сказала Мойра.

Где? спросила я. Меня дернуло, сбило. Я поняла, что считала, будто мама умерла.

Не живьем. В том кино про Колонии. Крупный план, это она была, не ошибешься. В сером с ног до головы, но я ее узнала.

Слава богу, сказала я.

Почему слава богу? спросила Мойра.

Я думала, она умерла.

Вполне может быть, что и умерла, сказала Мойра. Я бы на твоем месте пожелала ей смерти.

Не помню, когда я видела ее в последний раз. Он сливается со всеми прочими разами; какой-то банальный был повод. Наверное, она заехала к

нам; она так делала, влетала в мой дом и вылетала — можно подумать, это я мать, а она ребенок. Резвости по-прежнему хоть отбавляй. Иногда, если она переезжала, только въехала или только выехала, она стирала в моей стиральной машине. Видимо, она заскочила что-то одолжить — кастрюлю, фен. У нее имелась такая привычка.

Я не знала, что этот раз последний, — иначе запомнила бы лучше. Я даже не помню, о чем мы говорили.

Через неделю, две, три, когда все обернулось хуже некуда, я ей звонила. Но никто не подходил, и никто не подошел, когда я попыталась снова.

Она не предупредила, что уезжает, но, с другой стороны, может, и не предупредила бы — она не всегда предупреждала. Машина у нее была, возраст позволял водить.

Наконец я дозвонилась до управляющего домом. Он сказал, что в последнее время ее не видел.

Я тревожилась. Я думала, может, у нее инфаркт или инсульт, такое нельзя исключить, хотя, насколько я знала, она не болела. Она всегда была такая здоровая. По-прежнему урабатывалась на тренажере, плавала раз в две недели. Я говорила друзьям, что мама здоровее меня, и, возможно,

так оно и было.

Мы с Люком проехали через весь город, Люк напугал управляющего до полусмерти и заставил открыть мамину квартиру. Может, она лежит там мертвая на полу, сказал Люк. Чем дольше пролежит, тем хуже вам. Вы вообще представляете, какое будет амбре? Управляющий что-то лепетал про разрешение, но Люк умел уговаривать. Ясно дал понять, что мы не планируем ни ждать, ни исчезнуть. Я заплакала. Может, это и было последней каплей.

Управляющий открыл дверь, и внутри мы обнаружили хаос. Мебель перевернута, матрасы взрезаны, ящики комода кверху дном на полу, их содержимое раскидано ровным слоем и курганами. А мамы не было.

Я звоню в полицию, сказала я. Я перестала плакать; я похолодела с ног до головы, у меня стучали зубы.

Не надо, сказал Люк.

Почему? спросила я. Я уставилась на него, я уже злилась. Он возвышался посреди руин гостиной и просто смотрел на меня. Сунул руки в карманы — бесцельный жест человека, который не знает, что бы еще сделать.

Просто не надо, ответил он.

Матушка у тебя классная, говорила Мойра в колледже. А потом: ну и драйв у твоей матушки. А еще потом: она клевая.

Она не клевая, говорила я. Она моя мать.

Да господи, отвечала Мойра, ты бы на мою посмотрела.

Я представляю, как мама подметает смертельные токсины; как раньше старух в России заставляли мести грязь. Только эта грязь ее убьет. Я не вполне верю. Ее дерзость, ее оптимизм и энергия, ее драйв вытащат ее. Она что-нибудь придумает.

Но я знаю, что это неправда. Это я, как всякий ребенок, сваливаю ответственность на мать.

Я ее уже оплакала. Но буду оплакивать снова и снова.

Я силком возвращаю себя назад, в гостиницу. Вот где я должна быть. И теперь в большом зеркале под белыми лампами я гляжу на себя.

Внимательно гляжу, неторопливо и ровно. Я развалина. Тушь снова потекла, как Мойра ни старалась меня починить, багрянец помады размазался, волосы торчат не пойми как. Полинявшие розовые перья безвкусны, как ярмарочные куклы, блестящие звездочки кое-где отвалились. Может, их вообще не было, а я не

заметила. Я — карикатура, в дурном макияже и чужом наряде, подержанном блеске.

Не помешала бы зубная щетка.

Можно стоять и об этом думать, но время идет.

До полуночи надо вернуться в дом; иначе превращусь в тыкву — или это карета превратится? По календарю завтра Церемония, значит, сегодня Яснорада захочет, чтобы меня обслужили, а если меня не будет, она выяснит почему, — и что тогда?

А Командор для разнообразия ждет. Я слышу, как он вышагивает по комнате. Вот замирает у двери в ванную, прочищает горло театральным *кхегхм.* Я включаю горячую воду — сигнализирую готовность или приближение к ней. Надо с этим кончать. Я мою руки. Берегись инерции.

Когда я выхожу, он лежит на большой двуспальной кровати — без ботинок, замечаю я. Я ложусь рядом, приказа не требуется. Я бы лучше не ложилась; но лежать приятно, я так устала.

Наконец-то наедине, думаю я. Все дело в том, что я не хочу быть с ним наедине — и уж точно не на кровати. Лучше с Яснорадой. Лучше сыграть в «Эрудит».

Но мое молчание его не отпугивает.

— Завтра, так ведь? — тихо говорит он. — Я

подумал, мы можем и поспешить. — Он поворачивается ко мне.

— Зачем вы меня сюда привезли? — холодно спрашиваю я.

Вот он гладит мое тело, от носа до кормы, как говорится, точно кошку, по левому боку, вдоль левой ноги. Замирает на ступне, пальцы на миг браслетом обнимают лодыжку там, где татуировка, шрифт Брайля, который он разбирает, тавро. Знак обладания.

Я напоминаю себе, что он не злой человек; что при других обстоятельствах он бы мне даже нравился.

Его рука останавливается.

— Я подумал, ты развлечешься в кои-то веки. — Этого мало, он понимает. — Пожалуй, это был такой эксперимент. — И этого мало. — Ты говорила, что хочешь знать.

Он садится, начинает расстегивать пуговицы. Будет ли хуже, если содрать с него могущество одежды? Он в рубашке; затем под ней, как ни грустно, животик. Завитки волос.

Он стягивает бретельку с моего плеча, рукой проводит между перьев, но без толку — я лежу, точно дохлая птица. Вероятно, он не чудовище. Я не могу себе позволить гордость или отвращение,

ныне требуется отбросить миллионы разных вещей.

— Пожалуй, я выключу свет, — говорит Командор, напуганный и, несомненно, разочарованный. Секунду, пока не выключил, я вижу его. Без формы он меньше, старше, какой-то высушенный. Проблема в том, что я не могу с ним быть иной, нежели обычно. Обычно я безучастна. Должно же нам остаться хоть что-то, кроме тщеты и пошлости.

Притворись, ору я про себя. Ты же должна помнить как. Давай с этим покончим, а то ты всю ночь тут проторчишь. Давай, просыпайся. Двигай телом, громко дыши. Хоть это ты можешь сделать.

XIII. Ночь

Глава 40

Жара ночью хуже дневной жары. Даже под вентилятором ничто не шевелится, стены копят тепло, отдают его, точно прогретый очаг. Наверняка скоро пойдет дождь. Зачем мне дождь? Будет мокрее, вот и все. Вдалеке зарница, но грома нет. Я выглядываю в окно и вижу ее: проблеск, точно фосфоресценция в зыбкой морской воде, под нависшим затянутым небом, тускло-серым и инфракрасным. Прожекторы выключены — это необычно. Электричество вырубилось. Или Яснорада подстроила.

Я сижу в темноте; незачем включать свет, объявлять всем на свете, что я еще не сплю. Я целиком одета, опять вся в красном, скинула блестки, туалетной бумагой стерла помаду. Надеюсь, ничего не видно, надеюсь, от меня не пахнет ею — или им.

Она приходит в полночь, как и обещала. Я слышу — смутные шаги, смутное шарканье по глухому ковру, затем легкий стук. Я ни слова не говорю, иду вслед за ее спиной по коридору и вниз по лестнице. Она может ходить быстрее, она сильнее, чем я думала. Ее левая рука стис-

кивает перила — быть может, больно, однако держится, дает Яснораде равновесие. Я думаю: она кусает губу, она страдает. Она еще как хочет этого ребенка. Мы спускаемся, и я вижу нас обеих — голубое пятно, красное пятно — в мимолетном зеркальном глазу. Я и мой реверс.

Мы выходим через кухню. Она пуста, тускло горит ночник; в кухне мирно, как всегда ночами в кухнях. Толпятся миски на столе, жестянки и глиняные банки, круглые и увесистые в тенистом свете. Ножи убраны в деревянную подставку.

— Я с тобой наружу не пойду, — шепчет она. Странно слышать, как она шепчет, будто одна из нас. Обычно Жены тона не понижают. — От двери повернешь направо. Там другая дверь, она открыта. Поднимись по лестнице и постучи, он тебя ждет. Никто не увидит. Я посижу здесь. — Значит, она меня подождет — на случай, если что-то пойдет наперекосяк, проснется Рита или Кора, бог его знает почему, выйдут из своих комнат в глубине кухни. Что она им скажет? Что не может уснуть. Хочет горячего молока. Ей достанет находчивости убедительно соврать, уж это я вижу. — Командор у себя в спальне наверху, — говорит она. — Так поздно не спустится, он никогда не спускается. — Это она так думает.

Я открываю кухонную дверь, выхожу, секунду жду прозрения. Как давно я не бывала одна снаружи ночью. А вот и гром, гроза приближается. Как она поступила с Хранителями? Меня могут пристрелить, принять за воровку. Надеюсь, подкупила их чем-нибудь — сигаретами, виски, а может, они знают про ее конный завод, может, если не получится, она попробует с ними.

До двери гаража всего несколько шагов. Я иду, шаги по траве бесшумны, и быстро открываю, проскальзываю внутрь. На лестнице темно, так темно, что я ничего не вижу. Ощупью пробираюсь наверх, ступенька за ступенькой; под ногами ковер, я думаю — грибного цвета. Здесь когда-то была квартира — для студента, молодого одинокого человека, работающего. Тут во многих больших домах такие. Холостяцкая берлога, студия — вот как назывались такие квартиры. Мне приятно, что я помню. *Отдельный вход,* писали в объявлениях, и это означало — секс без надзора.

Я одолеваю лестницу, стучу в дверь. Он открывает сам — а я кого ждала? Горит лампа, всего одна, но света хватает — я щурюсь. Смотрю мимо него, не желая встречаться с ним взглядом. Одна комната, раскладушка заправлена, в дальнем углу кухонный стол и еще одна дверь — оче-

видно, в ванную. Оголенная комната, военная, минималистская. Ни картин на стене, ни цветов в горшках. У него тут разбит лагерь. Одеяло на постели серое, с буквами «С.Ш.А.».

Он отступает, пропускает меня. Он в одной рубашке, в руке зажженная сигарета. Я обоняю дым на нем, в теплом воздухе комнаты, повсюду. Мне хочется сбросить одежду, купаться в дыме, втирать в кожу.

Никаких вступлений; он знает, зачем я здесь. Он даже ничего не говорит, к чему дурака валять, это задание. Он отодвигается, выключает лампу. Снаружи контрапунктом вспыхивает молния; и почти без паузы гром. Он расстегивает на мне платье — мужчина, сотканный из тьмы, — я не вижу лица, я еле дышу, еле стою, уже не стою. Его губы на мне, его руки, ждать невозможно, и он уже движется, любовь, как давно, я снова жива под кожей, руки обхватили его, и я падаю, и повсюду мягко, точно вода, и не заканчивается. Я знала, такое возможно лишь единожды.

Это я сочинила. Ничего такого не было. Вот что было. Я одолеваю лестницу, стучу. Он открывает сам. Горит лампа; я щурюсь. Смотрю мимо него; одна комната, раскладушка заправлена, оголено, по-военному. Никаких картинок, только одеяло

с буквами «С.Ш.А». Он в одной рубашке, в руке сигарета.

— На, — говорит он, — покури.

Никаких вступлений; он знает, зачем я здесь. Обрюхатиться, залететь, оказаться в интересном положении — вот как это прежде называли. Я беру у него сигарету, глубоко затягиваюсь, отдаю. Наши пальцы едва соприкасаются. Дыма всего ничего, но у меня кружится голова.

Он молчит, только без улыбки смотрит на меня. Было бы лучше, дружелюбнее, если б он меня коснулся. Я чувствую себя дурой и уродиной, хотя знаю, что я не уродина и не дура. И все равно — о чем он думает, почему молчит? Может, считает, что я «У Иезавели» трахалась направо и налево, с Командором и не только? Меня раздражает, что я вообще тревожусь, о чем он думает. Будем практичны.

— У меня мало времени, — говорю я. Как неловко и топорно, я не это хотела сказать.

— Я могу сдрочить в бутылку, а ты потом зальешь, — говорит он. Не улыбается.

— Грубить необязательно, — отвечаю я. Может, он считает, что его использовали. Может, чего-то хочет от меня, какой-то эмоции, признания, что он тоже человек, не только семенное месторож-

дение. Я делаю попытку: — Я понимаю, что тебе трудно.

Он пожимает плечами.

— Мне заплатили, — говорит он, надувшись, как подросток. Но не шевелится.

Мне заплатили, тебя завалили, рифмую я про себя. Вот, значит, как мы это сделаем. Ему не понравились блестки и макияж. Значит, будем жестко.

— Часто сюда приходишь?

— И что такая приличная девушка делает в таком месте? — отвечаю я. Мы оба улыбаемся; так-то лучше. Это знак: мы играем, ибо что еще нам делать в таких декорациях?

— В разлуке сердце нежнее. — Мы цитируем недавнее кино из прошлых времен. А тогда кино было из времен позапрошлых: такие разговоры вели задолго до нашей эпохи. Даже мама так не разговаривала — ну, при мне. Или может, так вообще никто взаправду не разговаривал, это с самого начала была выдумка. И все-таки удивительно, с какой легкостью вспоминается это избитое и фальшиво оживленное сексуальное перешучивание. Теперь я понимаю, для чего оно, для чего оно было всегда: чтобы суть твоя оставалась недоступна, защищена, закрыта.

Теперь мне грустно, мы говорим бесконечно грустно: увядшая музыка, увядшие бумажные цветы, поношенный атлас, эхо эха. Все исчезло, все невозможно. Ни с того ни с сего я начинаю плакать.

Наконец он придвигается, обхватывает меня руками, гладит по спине, обнимает вот так, утешая.

— Перестань, — говорит он. — У нас мало времени. — Обняв за плечи, он ведет меня к раскладушке, укладывает. Даже сначала отворачивает одеяло. Расстегивается, затем гладит, целует возле уха. — Никакой романтики, — говорит он. — Договорились?

Прежде это значило бы иное. Прежде это значило бы: *никаких привязанностей.* А ныне значит: *никакой героики.* Ныне значит: не рискуй ради меня, если до этого дойдет.

Вот так оно и течет. Вот так.

Я знала, такое возможно лишь единожды. Прощай, думаю я даже тогда, прощай.

Правда, грома не было, гром я сочинила. Дабы заглушить звуки, которые, к стыду своему, издавала.

И такого ничего не было. Я не помню, как это случилось; не помню точно. Остается надеяться

только на домыслы: любовь всегда ощущает лишь приблизительно.

Где-то в середине я подумала о Яснораде, как она сидит в кухне. Думает: дешевка. Перед первым встречным ноги раздвинет. Дала сигарету — и готово дело.

А потом я подумала: это измена. Не само по себе, но как я откликаюсь. Знай я наверняка, что он умер, изменило бы это что-нибудь?

Хорошо бы жить без стыда. Хорошо бы жить бесстыдной. Хорошо бы жить темной. Я тогда бы не понимала, сколь я темна.

XIV. Избавление

Глава 41

Я бы хотела, чтобы эта история оказалась иной. Цивилизованнее. Показала бы меня в лучшем свете — если не счастливее, то хотя бы активнее, решительнее, и чтобы я реже отвлекалась на мелочи. Я бы хотела, чтобы история вышла не такой бесформенной. Я бы хотела, чтоб она была о любви или о внезапных откровениях, важных для человеческой жизни, или даже о закатах, птицах, грозах или снеге.

Может, в каком-то смысле она обо всем этом и есть; но столько всего путается под ногами, столько перешептываний, столько догадок о людях, столько слухов, которых не подтвердить, невысказанных слов, тайных странствий и секретности. И столько времени нужно перетерпеть — времени тяжкого, как жареная пища или густой туман; а потом вдруг эти красные моменты, будто взрывы на улицах, в остальном пристойных, почтенных и сомнамбулических.

Простите, что в этой истории столько боли. Простите, что она обрывочна, словно тело, пойманное в перекрестный обстрел или силой разодранное. Я ничего не могу поделать.

Я пыталась вставлять хорошее. Цветы, например: где бы мы были без них?

И однако мне больно рассказывать, снова рассказывать. Одного раза хватило: разве мало мне было одного раза, тогда? Но я тяну и тяну эту грустную, голодную и убогую, эту хромую и покалеченную историю, ибо я все же хочу, чтобы вы ее выслушали, как я выслушаю вас, если мне представится шанс, если мы встретимся или вы убежите, в будущем, или в раю, в тюрьме, в подполье, в местах иных. У них у всех есть нечто общее: они не здесь. Вам рассказывая что угодно, я хотя бы верю в вас, верю, что вы есть, верою оживляю вас. Я вам рассказываю историю и тем самым вызываю вас к жизни. Я рассказываю, следовательно, вы существуете.

Так что я продолжу. Я велю себе продолжать. Я подхожу к тому, что вам совсем не понравится, ибо я себя плохо вела, но я попытаюсь ничего не упустить. В конце концов, вы это пережили, и то, что осталось, вы заслужили — осталось немного, но в том числе — правда.

Значит, история.

Я возвращалась к Нику. Сама по себе, раз за разом, без ведома Яснорады. Этого не требовалось, оправданий не было. Возвращалась не ради него

— исключительно ради себя. Я даже не считала, что ему отдаюсь, ибо что я могла отдать? Я не была щедра — лишь благодарна всякий раз, когда он меня впускал. Он был не обязан.

Ради этого я стала безрассудна, я по-глупому рисковала. Побыв с Командором, я шла наверх, как обычно, но затем по коридору, вниз по задней лестнице Марф и через кухню. Всякий раз от щелчка двери за спиной я едва не поворачивала назад, такой в нем был металл, будто мышеловка или револьвер, — но я не поворачивала. Пробегала несколько футов освещенного газона — прожекторы снова включили, — каждый миг ожидая, что сквозь тело мое вот-вот продерется пуля, не успеет прогреметь выстрел. Я ощупью пробиралась по темной лестнице и переводила дух у двери, и в висках грохотала кровь. Страх — мощный стимулятор. Потом я тихонько стучалась, будто нищенка. Всякий раз я ожидала, что его нет; или хуже — он скажет, что войти нельзя. Что больше не нарушит правил, и сунуть голову в петлю я его не заставлю. Или еще хуже — скажет, что я его больше не интересую. Он не говорил ничего подобного, и я считала, что это самая невероятная милость и удача на свете. Все было плохо, я же говорю.

Вот как это случается.

Он открывает дверь. Он в одной рубашке, она не заправлена в брюки, полы болтаются; в руке зубная щетка, или сигарета, или стакан с чем-нибудь. У него свои запасы — я думаю, с черного рынка. У него непременно что-то в руке, будто он живет как обычно, не ждет меня, не предвкушает. Может, он не ждет и не предвкушает. Может, у него нет понятия о будущем, а может, ему лень или страшно его представлять.

— Слишком поздно? — спрашиваю я.

Он качает головой — не поздно. К этому времени мы оба понимаем, что слишком поздно не бывает, однако я спрашиваю ритуала вежливости ради. Это дает мне иллюзию контроля, словно есть выбор, решение, которое можно принять так или иначе. Он отступает, и я прохожу мимо, и он закрывает дверь. Закрывает окно. Затем выключает свет. Мы теперь мало разговариваем — на этой стадии мало. Я уже полураздета. Беседы мы откладываем на потом.

С Командором я закрываю глаза, даже когда просто целую его на ночь. Не хочу видеть его вблизи. Но сейчас, здесь, я ни за что не закрою глаз. Пригодился бы свет — может, свеча в бутылке, отзвук колледжа, но нельзя — слишком

велик риск; я довольствуюсь прожектором, его сиянием снизу, с земли, оно сочится сквозь белые занавески, такие же, как у меня. Я хочу видеть, насколько возможно увидеть, вобрать в себя, запомнить, приберечь, чтобы позднее жить образом: очертания тела, текстура плоти, отблеск пота на коже, длинное сардоническое непроницаемое лицо. Надо было жить так же с Люком, внимательнее к деталям, к родинкам и шрамам, к необычным морщинкам; я не приглядывалась, и Люк блекнет. День за днем, ночь за ночью он все дальше, а я все невернее.

Здесь я надела бы розовые перья, лиловые звезды, если б он захотел; что угодно, даже кроличий хвостик. Но ему отделки не требуется. Каждый раз мы занимаемся любовью так, словно без тени сомнения знаем: следующего раза не будет для нас обоих, ни с кем, никогда. И следующий раз, наступив, — всегда сюрприз, добавка, подарок.

Тут, с ним, — безопасность; тут пещера, а мы вдвоем съежились, пока снаружи свирепствует гроза. Разумеется, это иллюзия. Для меня эта комната — одно из самых опасных мест. Если меня поймают, пощады не жди, но ничто меня не тревожит. И с чего я вдруг стала так ему доверять — безрассудство само по себе? С чего я решила,

что знаю его или хоть что-то о нем и о том, чем он занят в действительности?

Я отмахиваюсь от неудобных шепотков. Слишком много болтаю. Говорю ему такое, чего говорить нельзя. Рассказываю про Мойру, про Гленову; про Люка, правда, не говорю. Хочу рассказать ему про женщину в моей комнате, ту, что была до меня, но молчу. Я к ней ревную. Если она до меня была здесь, в этой постели, я об этом слышать не хочу.

Я говорю ему, как меня зовут по правде; и чувствую, что теперь он меня познал. Веду себя как тупица. Надо же головой думать. Я творю из него кумира, картонный силуэт.

Он же, напротив, говорит мало: ни намеков больше, ни шуток. Почти не задает вопросов. Ему, похоже, безразлично почти все, что я говорю, он оживает лишь пред возможностями моего тела, хотя наблюдает за мной, когда я рассказываю. Наблюдает за моим лицом.

Подумать невозможно, что человек, которому я так благодарна, способен меня предать.

Ни один из нас ни разу не произносит «любовь». Это значит — искушать судьбу; это романтика, невезение.

Сегодня цветы иные — суше, определеннее,

цветы середины лета: ромашки, рудбекии провожают нас по длинному склону к падению. Я вижу их в садах, гуляя с Гленовой туда-сюда. Слушаю вполуха, я ей больше не верю. Ее шепотные новости, по-моему, нереальны. Что мне проку в них теперь?

Ты могла бы ночью зайти к нему в комнату, говорит она. Заглянуть к нему в стол. Наверняка там бумаги, заметки.

Дверь заперта, бормочу я.

Мы можем достать тебе ключ, отвечает она. Ты что, не хочешь знать, кто он такой, чем занимается?

Но Командор меня больше не интересует. Необходимо усилие, чтобы не показать, как я к нему равнодушна.

Пускай все будет ровно как было, говорит Ник. Ничего не меняй. А то они поймут. Он целует меня, не отводя взгляда. Обещаешь? Не сорвись.

Я кладу его ладонь себе на живот. Получилось, говорю я. Я чувствую. Еще пара недель, и я буду знать точно.

Это я себе намечтала, я знаю.

Он залюбит тебя до смерти, говорит он. И она тоже. Но он твой, говорю я. Он же на самом деле будет твой. Я так хочу.

Это мы, впрочем, не обсуждаем.

Я не могу, отвечаю я Гленовой. Я ужасно боюсь. И вообще, я неумеха, меня поймают.

Я едва имитирую сожаление — вот до чего разленилась.

Мы можем тебя вывезти, говорит она. Мы можем вывозить людей, если по серьезу надо, если они в опасности. В большой опасности.

Но я больше не хочу уезжать, бежать на свободу, пересекать границу. Я хочу остаться здесь, с Ником, где можно до него дотянуться.

Мне стыдно все это рассказывать. Но все не так просто. Даже сейчас я вижу, что признание это — в общем, хвастовство. В нем гордость, ибо оно доказывает, как исключительно, а значит, оправданно все это было для меня. Как ценно. Вроде рассказов о болезни, о том, как побывал на грани смерти и выздоровел; вроде воспоминаний о войне. Они доказывают, что все серьезно.

Прежде я бы и вообразить не смогла свою тогдашнюю серьезность.

Временами я мыслила разумнее. Ничего не объясняла в понятиях любви. Говорила, что более или менее устроила себе жизнь. Так, наверное, думали жены поселенцев или женщины, пережившие войну, если у них остался мужчина.

Человечество ко всему привыкает, говорила мама. Поистине удивительно, к чему способны привыкнуть люди, если чуточку им компенсировать.

Еще недолго, замечает Кора, выделяя мне ежемесячный запас гигиенических прокладок. Уже недолго, улыбаясь застенчиво, однако с пониманием. Знает ли она? Знают ли они с Ритой, что я задумала, куда ночами крадусь по их лестнице. Выдаю ли я себя, грезя наяву, улыбаясь в пустоту, едва касаясь лица, когда думаю, что никто не видит?

Гленова почти махнула на меня рукой. Шепчется реже, в основном о погоде. Мне не жалко. Мне легче.

Глава 42

Звонит колокол; нам слышно издалека. Утро, и сегодня мы не завтракали. Мы подходим к воротам и колонной втягиваемся внутрь, парами. Усиленная охрана, кордоном снаружи вдоль Стены — особый наряд Ангелов, экипированный на случай мятежа, — шлемы с выпуклыми темными плексигласовыми щитками, в которых они похожи на жуков, длинные дубинки, газовые ружья. Это на случай истерии. Крюки на Стене пустуют.

Сегодня районное Избавление, только для женщин. Избавления всегда сегрегированы. Объявили вчера. Предупреждают за сутки. Времени мало, не успеваешь привыкнуть.

Под звон колокола мы шагаем по дорожкам, где когда-то бродили студенты, мимо корпусов, где когда-то были аудитории и общаги. Очень странно сюда вернуться. Снаружи не видно, изменилось ли что-нибудь, разве что жалюзи на окнах в основном опущены. Теперь эти корпуса принадлежат Очам.

Мы гуськом выходим на широкий газон перед бывшей библиотекой. Белые ступени ведут наверх, все такие же; главный вход неизменен.

Посреди газона возвели деревянную сцену — такую в прежние времена ставили по весне для вручения дипломов. Я вспоминаю шляпки, пастельные шляпки у некоторых матерей, и черные мантии на студентах, и красные тоже. Но эта сцена все-таки другая, потому что на ней три деревянных столба с веревочными петлями.

На краю сцены микрофон; телекамера скромно жмется в углу.

Я была на Избавлении всего однажды, два года назад. Женские Избавления редки. Нужды почти нет. Мы теперь очень хорошо себя ведем.

Я не хочу рассказывать эту историю.

Мы занимаем места, как полагается: Жены и дочери на складных стульях ближе к задним рядам, Экономки и Марфы по краям и на ступеньках библиотеки, а Служанки впереди, где за нами все могут присматривать. Мы не сидим на стульях, мы преклоняем колена, и на сей раз у нас подушки, красные вельветовые подушечки без никаких надписей, даже без «Веры».

К счастью, погода пристойная: жарит не сильно, ясно, облака. Гнусно торчать тут на коленях под дождем. Может, поэтому они до последнего откладывают объявление: проверяют, какая будет погода. Причина не хуже прочих.

Я опускаюсь на колени на красную вельветовую подушку. Стараюсь думать о ночи, о том, как в темноте занималась любовью и свет отражался от белых стен. Я помню, как меня обнимали.

Длинная веревка змеей вьется перед первым рядом подушек, вдоль второго и назад, сквозь ряды стульев, до последнего ряда изгибается очень медлительной старой рекой, вид сверху. Толстая, бурая веревка, пахнет дегтем. Один конец уползает на сцену. Как фитиль или нитка на воздушном шарике.

На сцене слева те, кому предстоит избавление, — две Служанки, одна Жена. Жены — это необычно, и я невольно вглядываюсь в нее с интересом. Любопытно, что она такого натворила.

Их вывели на сцену до того, как открыли ворота. Все три сидят на складных деревянных стульях, точно выпускницы, которым вот-вот вручат призы. Руки лежат на коленях, кажется — мирно. Все три чуть покачиваются: их, наверное, укололи или накормили таблетками, чтоб не буянили. Все должно пройти гладко. Может, их к стульям привязали? Под этими их драпировками не понять.

Официальная процессия приближается к сцене, поднимается по ступенькам справа: три

женщины, одна Тетка впереди, за ней две Избавительницы в черных плащах с капюшонами. За ними другие Тетки. Шепотки наши издыхают. Три женщины строятся, разворачиваются к нам: Тетка, а по бокам две Избавительницы в черном.

Это Тетка Лидия. Сколько же лет я ее не видела? Я уже думала, она существует только в моей голове, однако вот она — чуть постарела. Мне хорошо видно, я различаю глубокие борозды по сторонам от носа — Тетка Лидия насупилась и застыла. Помаргивает, нервно улыбается, смотрит влево, вправо, оглядывает аудиторию и поднимает руку — поправить головной убор. Из громкоговорителей раздается полузадушенный хрип — Тетка Лидия откашливается.

Я начинаю дрожать. Ненависть наполняет мой рот, как слюна.

Выглядывает солнце, сцена и все участники на ней вспыхивают, точно рождественские ясли. Я различаю морщины у Тетки Лидии под глазами, бледность сидящих женщин, щетину веревки на траве, травинки. Прямо передо мной одуванчик цвета яичного желтка. Хочется есть. Колокол больше не звонит.

Тетка Лидия выпрямляется, обеими руками оглаживает юбку и шагает к микрофону.

— Добрый день, дамы, — говорит она, и громкоговоритель мгновенно отзывается оглушительным воем. Мы, как ни поразительно, смеемся. Трудно не смеяться, это все нервы и раздражение на лице Тетки Лидии, пока она подстраивает звук. Задумывалось величественно. — Добрый день, дамы, — повторяет она, теперь голос ровно дребезжит. «Дамы», а не «девочки», поскольку здесь Жены. — Я уверена, все вы знаете, что за прискорбные обстоятельства привели нас сюда в это прекрасное утро, когда, я уверена, все мы предпочли бы заниматься чем-нибудь другим, во всяком случае я, но долг — жестокий надсмотрщик или, если позволите, в данном случае надсмотрщица, и во имя долга мы здесь собрались.

Так она бубнит еще несколько минут, но я не слушаю. Я слышала эту или похожую нотацию не раз и не два: те же банальности, те же лозунги, те же фразы — факел будущего, колыбель расы, наша задача. Трудно поверить, что за речью не последуют вежливые аплодисменты, а затем чай с печеньем на лужайке.

Это, надо полагать, был пролог. Теперь она перейдет к делу.

Тетка Лидия шарит в кармане и извлекает ком мятой бумаги. Неприлично долго расправляет

его и разглядывает. Утирает нам носы, тычет нам в морду — мол, вот кто она такая, — заставляет смотреть, как она безмолвно читает, щеголяет своей прерогативой. По-моему, непристойно. Пора уже с этим покончить.

— Прежде, — говорит Тетка Лидия, — Избавлениям по обычаю предшествовал детальный реестр преступлений, в которых признаны виновными арестанты. Однако мы обнаружили, что подобные публичные приговоры, особенно транслируемые по телевидению, неизменно влекут за собой вспышку, если можно так выразиться, взрыв, так сказать, аналогичных преступлений. Поэтому мы приняли решение в наших общих интересах прекратить эту практику. В дальнейшем Избавления будут проходить без лишнего ажиотажа.

Нас накрывает облако бормотания. Чужие преступления — наш тайный язык. Мы показываем ими друг другу, на что в действительности способны. Такие объявления популярностью не пользуются. Чего не скажешь по Тетке Лидии — улыбается, помаргивает, словно купается в аплодисментах. Теперь нас оставили думать своим умом, строить догадки. Первая, та, которую сейчас поднимают со стула, руки в черных

перчатках у нее на плечах, — чтение? Нет, за это лишь отрубают руку — если поймают в третий раз. Распущенность либо покушение на жизнь ее Командора? Скорее, на Жену Командора. Так мы думаем. Что касается Жены, то ей грозит Избавление, по сути дела, только за одно. Им позволительно делать с нами что угодно, но непозволительно убивать — формально, во всяком случае. Ни вязальными иглами, ни секатором, ни ножами, украденными с кухни, — и особенно когда мы беременны. Разумеется, возможен адюльтер. Адюльтер всегда возможен.

Или попытка к бегству.

— Чарлзова, — объявляет Тетка Лидия. Никого из них не знаю. Женщину вывели вперед; она переставляет ноги, словно только о них и думает: одна нога, затем другая, ее явно чем-то накачали. На губах хмельная скособоченная улыбка. Половина лица дергается, рассогласованное подмигивание, целится в камеру. Такого, само собой, не покажут, это не прямой эфир. Две Избавительницы связывают ей руки за спиной.

Позади меня кого-то тошнит.

Вот поэтому нас и не кормят завтраком.

— Скорее всего, Джанин, — шепчет Гленова.

Я это уже видела — белый мешок на голове,

женщине помогли взобраться на высокий стул, точно по ступенькам в автобус, поставили, и петля, точно стола, нежно обхватила шею, и стул выбили из-под ног. Я уже слышала этот долгий вздох вокруг, вздох — точно воздух выходит из надувного матраса, я уже видела, как Тетка Лидия ладонями прикрывала микрофон, заглушая звуки за спиной, я наклонялась вперед, касалась веревки вместе со всеми, обеими руками, веревка щетинистая, липкая от нагретого солнцем дегтя, затем клала руку на сердце, дабы показать единство с Избавительницами, и согласие, и соучастие в смерти этой женщины. Я видела брыкающиеся ноги и двух в черном, которые теперь хватают их и всем весом тянут вниз. Я больше не хочу это видеть. Я смотрю на траву. Я описываю веревку.

Глава 43

Три тела висят, даже в белых мешках на голове странно вытянутые, словно куры, подвешенные за шею в витрине мясного магазина; словно птицы с обрезанными крыльями, бесполетные птицы, покалеченные ангелы. Трудно отвести взгляд. Под подолами платьев болтаются ноги, две пары красных туфель, одна — голубых. Не будь веревок и мешков, получился бы танец, балет, пойманный вспышкой камеры в прыжке. Они какие-то условные. Как в шоу-бизнесе. Вероятно, это Тетка Лидия разместила голубую в центре.

— На сегодня Избавления завершены, — объявляет Тетка Лидия в микрофон. — Однако…

Мы поворачиваемся к ней, внимаем, наблюдаем. Она всегда умела держать паузы.

Зыбь сотрясает нас, рябь. Возможно, произойдет еще что-то.

— Однако вы можете встать в круг. — Она улыбается нам сверху вниз, великодушная, щедрая. Сейчас она что-то нам даст. *Дарует.* — Ну, соберитесь.

Она обращается к нам, к Служанкам. Некоторые

Жены уходят, некоторые дочери тоже. Большинство остаются, но держатся поодаль, подальше, они лишь зрители. Они в круг не войдут.

Два Хранителя продвигаются вперед, сматывая веревку, чтоб не мешалась. Остальные убирают подушки. Мы толчемся на травяном клочке перед сценой, одни маневрируют, чтобы оказаться впереди, ближе к центру, другие проталкиваются в середину, где их прикроют. В таких группах слишком явно держаться в задних рядах — ошибка: клеймит тебя как равнодушную, недостаточно рьяную. Сгущается энергия, шепот, дрожь готовности и злобы. Тела напрягаются, вспыхивают глаза, будто целятся.

Я не желаю быть спереди, и сзади тоже не желаю. Я не знаю, что грядет, но предчувствую, что не захочу это видеть вблизи. Однако Гленова держит меня за руку, тянет за собой, и теперь мы во втором ряду, перед нами — лишь тонкая телесная изгородь. Я не хочу видеть, но и не отступаю. До меня доходили слухи, я им не целиком верила. Несмотря на все, что я знаю, я говорю себе: они не зайдут так далеко.

— Вы знаете правила Причастики, — говорит Тетка Лидия. — Ждете, когда я свистну. По свистку делайте, что считаете нужным, пока я не свистну

опять. Все понятно?

Вокруг бормочут, бесформенно соглашаются.

— Ну хорошо, — говорит Тетка Лидия. Кивает. Два Хранителя, не те, что сматывали веревку, выходят из-за сцены. Между собой полунесут, полуволочат третьего человека. Он тоже в форме Хранителя, но без фуражки, а форма в грязи и разодрана. Лицо исполосовано и в синяках — темные красно-бурые синяки; распухшее лицо, узловатое, ощетинилось несбритой бородой. Похоже не на лицо, а на неизвестный науке овощ, на изуродованную луковицу или клубень, выросшие неправильно. Даже я ощущаю вонь: он пахнет говном и блевотой. Светлые волосы падают на лицо, топорщатся — от чего? Высохший пот?

Я смотрю на него с омерзением. На вид он пьяный. На вид он — точно пьянчуга, который с кем-то подрался. Зачем сюда притащили пьяницу?

— Этот человек, — говорит Тетка Лидия, — признан виновным в изнасиловании. — Ее голос дрожит от ярости и какого-то торжества. — Когда-то он был Хранителем. Он опозорил свою форму. Он злоупотребил доверием к своей должности. Его соучастник в пороке уже расстрелян. Наказа-

ние за изнасилование, как вы знаете, — смерть. Второзаконие, 22:23–29[61]. Могу добавить, что это преступление касалось двух из вас и осуществлялось под дулом пистолета. Кроме того, оно было зверское. Я не оскорблю ваши уши подробностями, но все-таки скажу, что одна женщина была беременна и ребенок погиб.

Мы хором вздыхаем; я невольно стискиваю кулаки. Такое насилие — это чересчур. Да еще и плод, после всех невзгод. Какой урод: я хочу царапаться, вырывать глаза, рвать на куски. Жажда крови существует, это истинная правда.

Мы подступаем, головы клонятся влево, вправо, раздуваются ноздри, чуя смерть, мы смотрим друг на друга, видим ненависть. Расстрел — это слишком по-доброму. Голова мужчины шатко

---

[61] Примечания: 61

«Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города, и побейте их камнями до смерти: отроковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего; и так истреби зло из среды себя. Если же кто в поле встретится с отроковицею обрученною и, схватив ее, ляжет с нею, то должно предать смерти только мужчину, лежавшего с нею, а отроковице ничего не делай; на отроковице нет преступления смертного: ибо это то же, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его; ибо он встретился с нею в поле, и хотя отроковица обрученная кричала, но некому было спасти ее. Если кто-нибудь встретится с девицею необрученною, и схватит ее и ляжет с нею, и застанут их, то лежавший с нею должен дать отцу отроковицы пятьдесят [сиклей] серебра, а она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее; во всю жизнь свою он не может развестись с нею» (Втор. 22:23–29).

перекатывается туда-сюда: он вообще слышал?

Тетка Лидия секунду выжидает; затем слегка улыбается и поднимает свисток к губам. Мы его слышим, пронзительный и серебристый, эхо давнего волейбола.

Два Хранителя отпускают руки третьего и пятятся. Тот спотыкается — наркотики? — и падает на колени. Глаза съежились на распухшем лице, будто свет слишком ярок. Его держали в темноте. Он подносит ладонь к щеке, словно пощупать, здесь он еще или нет. Все происходит быстро, но кажется, что медленно.

Никто не придвигается. Женщины смотрят на него в ужасе, будто он — полумертвая крыса, ползущая через кухню. Он щурится на нас, кольцо красных женщин. Уголок рта приподнимается, невероятно — это что, улыбка?

Я пытаюсь заглянуть в него, в глубины разбитого лица, разглядеть, как он выглядит на самом деле. Ему, по-моему, лет тридцать. Это не Люк.

Но мог быть Люк, я знаю. Мог быть Ник. Я знаю: что бы он ни совершил, я не могу его коснуться.

Он что-то говорит. Выходит невнятно, точно разбито горло, язык во рту огромен, но я все равно слышу. Он говорит:

— Я не…

Все подаются вперед, как толпа на рок-концерте стародавних времен, когда распахнуты двери, настоятельность волной окатывает нас. Воздух сияет от адреналина, нам разрешено все, и это — свобода, и в моем теле тоже, меня кружит, везде расплескалось красное, но не успевает на него налететь прилив из ткани и тел, как Гленова проталкивается между женщинами вперед, работая локтями, левым, правым, и бежит к нему. Она пихает его на землю боком, затем бешено пинает в голову, раз, два, трижды, резкие болезненные удары ногой, прицельные. И возгласы, ахи, тихий гул, будто рык, крики, и красные тела бросаются вперед, и я больше ничего не вижу, его закрыли руки, ноги, кулаки. Где-то пронзительно кричат, точно перепуганная лошадь.

Я держусь позади, стараюсь не упасть. Что-то бьет меня в спину. Я шатаюсь. Выпрямившись и оглядевшись, я вижу, как Жены и дочери склонились вперед на стульях, а Тетки на сцене с интересом взирают вниз. Им сверху, наверное, лучше видно.

Он теперь *это*.

Гленова снова подле меня. Лицо застывшее, пустое.

— Я видела, что ты сделала, — говорю я. Теперь

я снова чувствую — шок, бешенство, тошноту. Варварство. — Зачем ты это сделала? Ты! Я думала, ты…

— Отвернись, — говорит она. — Они смотрят.

— Мне плевать, — отвечаю я. Почти кричу, не могу сдержаться.

— Возьми себя в руки, — говорит она. Делает вид, будто меня отряхивает, руку и плечо, приближает лицо к моему уху. — Прекрати пороть чушь. Он был никакой не насильник, он был политический. Один из наших. Я его вырубила. Спасла его от мучений. Ты вообще в курсе, что с ними делают?

Один из наших, думаю я. Хранитель. Невероятно.

Тетка Лидия снова дует в свисток, но сразу они не останавливаются. Вмешиваются два Хранителя, оттаскивают их от того, что осталось. Некоторые лежат на траве, где их по случайности пнули или ударили. Кое-кто грохнулся в обморок. Они разбредаются, парами, тройками, поодиночке. Оцепенелые.

— Ищите свои пары и стройтесь, — говорит Тетка Лидия в микрофон. На нее почти никто не обращает внимания. К нам идет женщина — шагает, будто ногами нащупывает дорогу в

темноте, — Джанин. На щеке кровавый мазок, кровь на белых шорах. Она улыбается — веселая полуулыбочка. Глаза живут сами по себе.

— Привет, — говорит она. — Как у вас дела? — В правой руке она что-то крепко сжимает. Клок светлых волос. Она хихикает.

— Джанин, — говорю я. Но она слетела уже окончательно, она в свободном падении, она в отказе.

— Всего вам хорошего, — говорит она и идет мимо нас к воротам.

Я смотрю ей вслед. Легко отделалась, вот что я думаю. Мне ее даже не жаль, хотя должно бы. Я злюсь. Я не горжусь этим и вообще ничем. Но с другой стороны, в этом-то все и дело.

Мои пальцы пахнут теплым дегтем. Я хочу вернуться в дом, в ванную, оттираться, оттираться грубым мылом и пемзой, смыть с кожи малейший след этого запаха. Меня от него тошнит.

Но еще я голодна. Чудовищно, однако же правда. От смерти я становлюсь голодна. Может, это потому, что я опустошена; а может, так тело заботится о том, чтобы я осталась жива, все повторяла его коренную молитву: *я есть, я есть.* Я пока еще есть.

Я хочу в постель, хочу заняться любовью сию

секунду.

Я думаю про слово *смаковать.*

Я бы лошадь съела.

Глава 44

Все вернулось в норму.

Как я могу называть это *нормой?* Но по сравнению с утром это — норма.

На обед был сэндвич — сыр на черном хлебе, стакан молока, сельдерей, консервированные груши. Обед школьника. Я все съела — не торопясь, но наслаждаясь вкусом, роскошными оттенками на языке. Теперь я иду за покупками, как всегда. Мне даже хочется пойти. Есть некое утешение в рутине.

Я выхожу через заднюю дверь, иду по тропинке. Ник моет машину, фуражка набок. На меня не смотрит. Мы теперь стараемся друг на друга не смотреть. Наверняка мы этим что-то выдаем, даже на виду у всех, даже когда никто не видит.

Я жду Гленову на углу. Она опаздывает. Наконец я ее вижу — красно-белое пятно ткани, словно воздушный змей, идет ровным шагом, который выучили мы все. Я вижу ее и поначалу ничего не замечаю. Потом, когда она приближается, я вижу: с ней, кажется, что-то не так. Она не так выглядит. Изменилась как-то неопределимо; не покалечена, не хромает. Как будто усохла.

А когда она подходит еще ближе, я понимаю, в чем дело. Это не Гленова. Тот же рост, но худее, и лицо сероватое, а не розовое. Она подходит вплотную, останавливается.

— Благословен плод, — говорит она. Ликом мрачна, осанкой грозна.

— Да разверзнет Господь, — отвечаю я. Стараюсь не выказать удивления.

— Ты, наверное, Фредова, — говорит она.

Да, отвечаю я, и мы начинаем нашу прогулку.

А теперь что, думаю я. В голове кипит, это плохие новости, что с ней стало, как мне выяснить, не показав, что сильно интересуюсь? Нам не полагается дружить, привыкать друг к другу. Я пытаюсь припомнить, сколько времени Гленова на этом назначении.

— Нам ниспослана хорошая погода, — говорю я.

— И я с радостью ее принимаю. — Голос безмятежный, сухой, непроницаемый.

Мы минуем первую заставу, больше ничего друг другу не сказав. Она молчалива, но и я тоже. Что она — ждет, что я начну, что-то открою, или она правоверная, внутри себя погружена в медитацию?

— А Гленову перевели, так скоро? — спраши-

ваю я, хотя знаю, что нет. Я ее видела утром. Она бы сказала.

— Я Гленова, — отвечает женщина. Аптечная точность. И, разумеется, она Гленова, новая, а Гленова, где бы она ни была, больше не Гленова. Я так и не узнала ее настоящего имени. Вот так и теряешься в океане имен. Теперь ее сложно будет найти.

Мы идем в «Молоко и мед» и во «Всякую плоть», где я покупаю цыпленка, а новая Гленова — три фунта гамбургеров. Везде, как водится, очереди. Я вижу нескольких женщин, которых узнаю, мы обмениваемся бесконечно малыми кивками — показываем друг другу, что известны хоть кому-то, что пока существуем. За дверями «Всякой плоти» я говорю новой Гленовой:

— Надо сходить к Стене. — Не знаю, на что я рассчитываю; может, проверить ее реакцию. Я хочу знать, одна ли она из нас. Если да, если я смогу это понять, вдруг она сможет объяснить, что же случилось с Гленовой?

— Как хочешь, — отвечает она. Равнодушие или осторожность?

На Стене висят три утренние женщины, всё еще в платьях, всё еще в туфлях, всё еще с белыми мешками на головах. Руки развязаны, одереве-

нело вытянулись вдоль боков. Голубая в центре, красные по бокам, хотя цвета потускнели; они будто увяли, обтрепались, как мертвые бабочки или тропические рыбы, высохшие на берегу. Лишились глянца. Мы стоим и молча смотрим.

— Да будет это нам напоминанием, — наконец говорит новая Гленова.

Я сначала молчу, поскольку пытаюсь сообразить, о чем это она. Возможно, о том, что это напоминание о несправедливости и зверствах режима. В таком случае мне нужно сказать *да.* Либо, наоборот, нам следует делать, что велят, и не впутываться в неприятности, ибо иначе нас накажут по заслугам. Если она об этом, мне нужно сказать *хвала.* Ее голос мягок, монотонен, подсказок никаких.

Я рискую.

— Да, — говорю я.

На это она не отвечает, хотя краем глаза я ловлю колыхание белизны, как будто она мельком на меня глянула.

Мгновение спустя мы разворачиваемся и отправляемся в долгий обратный путь, подстраивая шаг, идем как бы в ногу.

Я думаю, может, подождать, больше пока не пытаться. Слишком рано давить, прощупывать.

Переждать неделю, две недели, может, дольше, наблюдать внимательно, прислушиваться к оттенкам голоса, опрометчивым словам, как Гленова прислушивалась ко мне. Теперь, когда Гленова исчезла, я снова начеку, леность отпала, тело вновь не для одних лишь наслаждений, оно чует угрозу. Безрассудство недопустимо. Лишний риск недопустим. Но я должна знать. Я креплюсь до последней заставы, дальше остается всего несколько кварталов, но я не в силах сдержаться.

— Я не очень хорошо знала Гленову, — говорю я. — Ну, то есть предыдущую.

— Да? — говорит она. Она сказала хоть что-то, пусть опасливо, и это меня приободряет.

— Мы знакомы с мая, — говорю я. Кожа раскаляется, сердце летит вскачь. Вот тут хитро. Начать с того, что это ложь. И как мне перебраться к следующему слову, ключевому? — Где-то с первого мая, по-моему, если не ошибаюсь. Был, как раньше выражались, прямо-таки мой день.

— Правда? — говорит она — легко, равнодушно, с угрозой. — Что-то я не помню такого выражения. Странно, что ты помнишь. Ты лучше постарайся… — пауза, — очистить разум от таких… — снова пауза, — отголосков.

Мне холодно, пот водой сочится сквозь кожу. Она предупреждает меня, вот в чем дело.

Она не одна из нас. Но она знает.

Последние кварталы я иду в ужасе. Я опять сглупила. Не просто сглупила. Я сначала не подумала, но теперь понимаю: если Гленову взяли, Гленова может заговорить, помимо прочего — обо мне. Она заговорит. У нее не будет выхода.

Но я ничего не делала, говорю я себе, ну правда же ничего. Я просто знала. Просто не говорила.

Они знают, где мой ребенок. А вдруг они ее приведут, чем-нибудь пригрозят ей у меня на глазах? Или что-нибудь с ней сделают. Невыносимо думать, что они могут сделать. Или Люк, вдруг Люк у них? Или мама, или Мойра, или почти кто угодно. Милый Боженька, не заставляй меня выбирать. Я этого не вынесу, честное слово; Мойра насчет меня не ошиблась. Я скажу все, что они захотят, любого подставлю. Это правда: первый крик, даже всхлип — и я раскисшее желе, я признаюсь в любом преступлении, окажусь в итоге на крюке на Стене. Не поднимай головы, говорила я себе прежде, и смотри вглубь. Бесполезно.

И вот так я разговариваю сама с собой по пути к дому.

На углу мы, как обычно, поворачиваемся друг

к другу.

— Пред Его Очами, — говорит новая коварная Гленова.

— Пред Его Очами, — откликаюсь я, изображая рвение. Можно подумать, эта комедия поможет теперь, когда мы зашли так далеко.

А потом она делает странное. Наклоняется вперед — наши белые жесткие крылышки почти соприкасаются, и я вижу вблизи бледно-серые глаза, тонкую паутинку морщин на щеках, — и шепчет, очень быстро, голосом блеклым, как палая листва:

— Она повесилась. После Избавления. Увидела, что за ней едет фургон. Оно и к лучшему.

А потом уходит от меня по улице.

Глава 45

Секунду стою, лишившись воздуха, точно ударили под дых.

Значит, она мертва, а я все-таки спасена. Она это сделала до того, как за ней пришли. Мне гораздо, гораздо легче. Я ей благодарна. Она умерла, чтобы я могла жить. Я оплачу ее потом.

Если эта женщина не солгала. Непременная оговорка.

Я вдыхаю глубоко, выдыхаю, дарю себе кислород. Предо мною чернота, затем проясняется. Я различаю путь.

Я поворачиваюсь, открываю ворота, кладу на них руку, чтобы не упасть, вхожу. Там Ник все еще моет машину, тихонько насвистывает. Кажется, он очень далеко.

Дорогой Боженька, думаю я, я сделаю все, что захочешь. Теперь, раз ты отпустил меня с крючка, я сотру себя, если ты на самом деле этого желаешь; я поистине опустошу себя, буду сосудом. Откажусь от Ника, позабуду прочих, перестану сетовать. Приму свою участь. Пожертвую. Раскаюсь. Отрешусь. Отрекусь.

Я знаю, так не может быть правильно, однако

думаю так все равно. Все, чему учили в Красном Центре, все, чему я сопротивлялась, накатывает как потоп. Не хочу боли. Не хочу танцевать, ноги в воздухе, голова — безликий прямоугольник белой ткани. Не хочу быть куклой, что болтается на Стене, стать бескрылым ангелом не хочу. Я хочу жить дальше, в любом виде. Я добровольно уступаю мое тело ради чужого блага. Пусть делают со мной, что хотят. Я смирилась.

Я впервые ощущаю их подлинную власть.

Я иду мимо цветочных клумб, мимо ивы, направляюсь к черному ходу. Я войду, я спасусь. Я паду на колени в комнате, благодарно вдыхая полные легкие застоялого воздуха, пахнущего полиролем.

Яснорада вышла из парадной двери; стоит на ступеньках. Зовет меня. Чего она хочет? Чтобы я отправилась в покои, помогла ей смотать серую шерсть? Я не смогу, у меня трясутся руки, она что-нибудь заметит. Но я все равно иду к ней, ибо выбора у меня нет.

С верхней ступеньки она нависает надо мной. Глаза горят, раскаленная синева на усохшей белизне кожи. Я отворачиваюсь от ее лица, смотрю в землю; у ее ног кончик трости.

— Я тебе доверяла, — говорит она. — Я пыталась

тебе помочь.

Я все равно не гляжу. Угрызения затапливают меня, меня раскрыли — но что именно? В каком из множества моих грехов меня обвиняют? Выяснить можно, только если молчать. Грубейшая ошибка — с места в карьер извиняться, за то или иное. Я могу выдать то, о чем она даже не догадывается.

Может, вообще пустяк. Может, спичка в матрасе. Голова повисла уныло.

— Ну? — спрашивает она. — Скажешь что-нибудь?

Поднимаю взгляд.

— О чем? — умудряюсь выдавить я. На свободе слова эти нахальны.

— Смотри, — говорит она. Вынимает свободную руку из-за спины. В руке зимняя накидка. — На ней была помада, — говорит она. — Какая вульгарность! Я ему *говорила*… — Она роняет накидку, в руке еще что-то, рука — сплошные кости. И это тоже роняет. Падают лиловые блестки, змеиной кожей скользят по ступеньке, мерцая на солнце. — За моей спиной, — говорит она. — Могла бы мне хоть что-то оставить. — Может, она его все-таки любит? Она поднимает трость. Я жду, что она ударит, но нет. — Забери эту мерзость

и отправляйся к себе. Такая же, как та. Шлюха. Кончишь так же.

Я нагибаюсь, подбираю. За моей спиной Ник обрывает свист.

Мне хочется развернуться, кинуться к нему, обхватить руками. Глупость какая. Он ничем не поможет. Утонет вместе со мной.

Я иду к черному ходу, в кухню, ставлю корзинку, поднимаюсь к себе. Я собранна и спокойна.

XV. Ночь

Глава 46

Я сижу в комнате у окна, я жду. На коленях — груда помятых звездочек.

Быть может, ныне я жду в последний раз. Но я не знаю, чего жду. Чего ждешь, как говорили раньше. В смысле — *поторопись*. Ответа не предполагалось. А чего именно ты ждешь — уже другой вопрос, и на него у меня тоже ответа нет.

Но это, с другой стороны, не совсем ожидание. Скорее драматическая пауза своего рода. Без лишних драм. Наконец-то нет времени.

Я в немилости — это антоним милости. Из-за этого мне полагается мучиться.

Но в душе ясно, покойно, я пропитана равнодушием. Не дай ублюдкам тебя доконать. Я повторяю про себя, но мне это ни о чем не говорит. С тем же успехом можно сказать: не дай быть воздуху; или: не будь.

Очевидно, можно сказать и так.

В саду ни души.

Интересно, пойдет ли дождь.

Снаружи тускнеет свет. Уже багрянеет. Скоро будет темно. Уже сейчас темнее. Довольно

быстро.

Я могла бы как-нибудь действовать. Можно, к примеру, устроить пожар. Собрать в кучу одежду и простыни, чиркнуть единственной спичкой. Не займется — тогда хана. Но если займется, выйдет хотя бы не тишина, но сигнал, что отметит мой уход. Пара языков огня, легко потушить. А я тем временем могу тут надымить и умереть от удушья.

Можно разодрать простыню на полосы, скрутить веревку, привязать один конец к ножке кровати и попытаться разбить окно. Противоударное.

Можно пойти к Командору, простереться ниц, разметав, как выражались, волосы, обхватить его колени, сознаться, рыдать, молить. Можно сказать: *nolite te bastardes carborundorum.* Не молитва. Я представляю его сапоги, черные, до блеска начищенные, непроницаемые, сами себе голова.

Вместо этого можно обернуть простыню вокруг шеи, подвесить себя в шкафу, упасть вперед, удушиться.

Можно спрятаться за дверью, подождать, пока она войдет, прохромает по коридору под грузом своего приговора, епитимьи, наказания, прыгнуть на нее, сбить с ног, резко и точно ударить

по голове. Спасти ее от мучений, и себя заодно. Спасти ее от наших мучений.

Это сэкономит время.

Можно ровно прошагать по лестнице, из парадной двери и по улице, как будто знаю куда: посмотреть, далеко ли уйду. Красный так бросается в глаза.

Можно пойти к Нику в комнату над гаражом, как мы делали прежде. Спросить, пустит ли он меня, даст ли приют. Теперь, когда нужно взаправду.

Я обдумываю лениво все эти варианты. Каждый мнится равным любому другому. Предпочтения нет ни одному. Пришла усталость, она в теле, в ногах и глазах. Вот что в итоге доводит до ручки. Вера — это просто вышитое слово.

Я смотрю на закат и думаю о том, каков он зимой. Нежно, легко падает снег, все покрывает мягкими кристаллами, дымка лунного света перед дождем размывает контуры, гасит цвета. Говорят, после первого озноба замерзнуть до смерти не больно. Лежишь на спине в снегу, будто ангел в детской игре, и засыпаешь.

Позади я ощущаю ее присутствие — моя предшественница, моя копия поворачивается в пу-

стоте под люстрой в пернатом звездном костюме, птица, остановленная в полете, женщина, обращенная в ангела, в ожидании, когда кто-нибудь ее найдет. На сей раз — я. Как могла я верить, что здесь одинока. Нас всегда было двое. Кончай уже, говорит она. Я устала от этой мелодрамы, я устала молчать. Тебе некого защитить, твоя жизнь никому не ценна. Я хочу, чтоб она прекратилась.

Я встаю и слышу черный фургон. Сначала слышу, затем вижу; он сливается с сумерками, появляется из собственного рева, точно отвердевает, сгущается ночь. Поворачивает на дорожку, тормозит. Я только различаю белое око, два крыла. Видимо, фосфоресцентная краска. Двое мужчин отделяются от очертаний фургона, поднимаются по ступенькам. Я слышу, как звонит колокол, — динь-дон, словно призрак женщины с косметикой в вестибюле.

Значит, грядет худшее.

Я бездарно потратила время. Надо было взять все в свои руки, пока был шанс. Надо было украсть нож в кухне, как-нибудь пробраться к швейным ножницам. Был же секатор, были вязальные иглы, жизнь полна оружия, если его ищешь. Надо было смотреть внимательнее.

Но думать об этом поздно, вот шаги на грязно-

розовой дорожке по лестнице; шаг тяжек и глух, отключается слух. Я спиной к окну.

Я жду незнакомца, но распахивает дверь, щелкает выключателем Ник. Я не понимаю, как это, — разве что он один из них. Такая возможность всегда была. Очная ставка с соглядатаем Ником. Грязную работу делают грязные люди.

Ах ты мудак, думаю я. Открываю рот, чтобы это сказать, но он подходит близко, шепчет:

— Все в порядке. Сегодня мой день. Езжай с ними. — Называет меня настоящим именем. Почему это непременно что-то значит?

— С ними? — спрашиваю я. Двое стоят у него за спиной, в потолочном свете из коридора их головы — черепа. — Да ты с ума сошел. — Мои подозрения витают в воздухе над ним, темный ангел предостерегает меня. Я его почти вижу. Почему бы Нику и не знать про мой день? Все Очи наверняка знают; уже выкрутили, выжали, выдавили его из множества тел, из множества ртов.

— Верь мне, — говорит он; само по себе это никак не талисман, никаких гарантий не дает.

Но я цепляюсь за него, за это подношение. Больше мне ничего не осталось.

Один впереди, второй сзади — они конвоируют меня вниз по лестнице. Шаг ленив, лампы горят.

Несмотря на страх, как это все обыденно. Я вижу часы. Время толком никакое.

Ника с нами больше нет. Видимо, спустился по задней лестнице, не хотел попадаться на глаза.

Яснорада стоит в коридоре под зеркалом, в недоумении смотрит вверх. Командор подле нее, дверь в покои открыта. Волосы у него очень седые. Он встревожен и беспомощен, но уже отстраняется от меня, дистанцируется. Чем бы я для него ни была, в данный момент я также — катастрофа. Несомненно, они из-за меня поругались; несомненно, она показала ему где раки зимуют. Я все-таки нахожу в себе силы его пожалеть. Права Мойра: я зануда.

— Что она сделала? — спрашивает Яснорада. Значит, их вызвала не она. Припасла для меня что-то поприватнее.

— Не можем сказать, мэм, — говорит тот, что идет впереди. — Прощения просим.

— Я должен посмотреть ваши документы, — говорит Командор. — У вас имеется ордер?

Можно сейчас заорать, уцепиться за перила, отбросить достоинство. Можно их притормозить хоть на мгновение. Если они подлинные — остановятся, если нет — побегут. Оставят меня здесь.

— Не то чтобы он нам требовался, сэр, но все как

надлежит, — снова говорит первый. — Раскрытие государственных тайн.

Командор подносит ладонь ко лбу. Что я говорила, кому, кто из его врагов прознал? Возможно, он теперь угроза безопасности. Я выше его, смотрю вниз; он съеживается. Среди них уже проводились чистки; грядут новые. Яснорада белеет.

— Тварь, — говорит она. — Он же столько для тебя сделал.

Из кухни протискиваются Кора и Рита. Кора начинает плакать. Кора на меня надеялась, я ее подвела. Теперь она во веки веков бездетна.

Фургон ждет на дорожке, дверцы распахнуты. Эти двое, теперь с флангов, берут меня за локти — хотят помочь. Откуда мне знать, конец ли это или новое начало: я отдалась в руки незнакомцев, ибо тут ничего не поделаешь.

И я шагаю к темноте внутри; или же к свету.

Комментарий историка к «Рассказу Служанки»

Ниже представлен фрагмент стенограммы Двенадцатого симпозиума по истории Галаада в рамках съезда Международной исторической ассоциации, проводившегося в Университете Исти, Нанавит, 25 июня 2195 года.

Председатель: Профессор Марианн Лунный Серп, кафедра антропологии европеоидов, Университет Исти, Нанавит.

Докладчик: Профессор Джеймс Дарси Пихото, директор Архивов двадцатого и двадцать первого столетия, Кембриджский университет, Англия.

ЛУННЫЙ СЕРП:

Я с наслаждением приветствую вас в это утро и очень рада, что столь многие пришли на, несомненно, дельную и увлекательную лекцию профессора Пихото. Мы, члены Ассоциации истории Галаада, убеждены, что рассматриваемый период является благодатной почвой для дальнейших исследований, будучи центральным истоком передела карты мира, особенно в нашем

полушарии.

Но прежде чем мы продолжим — несколько объявлений. Рыболовецкая экспедиция начнется завтра, как и планировалось, и те из вас, кто не располагает дождевиками и репеллентами, могут их приобрести по прейскуранту за столом Регистрации. Природная Экскурсия и Костюмированная Спевка на Природе переносятся на послезавтра, так как наш непогрешимый профессор Джонни Бегущий Пес уверил нас, что послезавтра погода прояснится.

Позвольте напомнить вам о прочих мероприятиях, проводимых для вас Ассоциацией истории Галаада на этом съезде в рамках Двенадцатого Симпозиума. Завтра после обеда профессор Гопал Чаттерджи с кафедры западной философии Университета Барода, Индия, выступит на тему «Элементы Кришны и Кали[62] в государственной религии ранней Республики Галаад», а в четверг с утра намечена презентация профессора Сиглинды Ван Бурен с кафедры военной истории Университета Сан-Антонио, Республ-

[62] Примечания: 62

Кришна — индуистский бог, воплощение Вишну; изображается мудрым царем-воином или божественным пастухом. Кали — в брахманизме и индуизме грозная и устрашающая женская ипостась и супруга бога Шивы.

лика Техас. Профессор Ван Бурен прочтет, без сомнения, увлекательную иллюстрированную лекцию «Варшавская тактика[63]: правила осады городского центра в Галаадских гражданских войнах». Я уверена, никто из нас не захочет ее пропустить.

Также хочу напомнить нашему докладчику — хотя, разумеется, необходимости в этом нет, — что ему рекомендуется соблюдать регламент, поскольку мы хотим зарезервировать время для вопросов и, я полагаю, никто из нас не пожелает остаться без обеда, как это случилось вчера. *(Смех в зале.)*

Едва ли профессор Пихото нуждается в представлении, поскольку он прекрасно известен всем нам если не лично, то по его многогранным работам. Среди них — «Законы о роскоши в истории человечества: анализ документов» и знаменитое исследование «Иран и Галаад: две монотеократии конца двадцатого столетия в дневниках очевидцев». Как все вы знаете, он и

---

[63] Примечания: 63

Имеется в виду оккупация немецко-фашистскими войсками Варшавы и создание в 1940 г. изолированного от внешнего мира Варшавского еврейского гетто, где люди на протяжении почти двух с половиной лет жили на грани голодной смерти. В 1943 г. в гетто было организовано восстание; оно было подавлено, после чего остатки гетто уничтожили.

профессор Тернистый Брод, тоже из Кембриджа, выступили редакторами рукописи, которую мы сегодня рассмотрим, и участвовали в ее расшифровке, аннотировании и публикации. Его выступление озаглавлено «Проблемы идентификации в «Рассказе Служанки».

Профессор Пихото, прошу вас. (*Аплодисменты.)*

ПИХОТО:

Благодарю. Я уверен, вчера за ужином всех нас удовлетворило великолепие Восточных Клуш, а сегодня нас, безусловно, удовлетворяет равно великолепная профессор Лунный Серп, владычица наших душ. Я прибегнул к слову «удовлетворять» в двух разных оттенках смыслов, исключив, разумеется, устаревший третий. *(Смех в зале.)*

Но позвольте продолжить серьезно. Я хочу, как и подразумевает заглавие моего небольшого выступления, рассмотреть ряд проблем, связанных с *soi-disant* рукописью, ныне всем вам хорошо известной и фигурирующей под названием «Рассказ Служанки». Я говорю *«soi-disant»,* поскольку перед нами не рукопись в ее первоначальном виде. Говоря строго, она не являлась рукописью, когда была обнаружена, и названия не имела. Заголовок «Рассказ Служанки» был добавлен

профессором Бродом — отчасти с поклоном Джеффри Чосеру[64]; но те из вас, кто, как я, общался с профессором Бродом в неформальной обстановке, поймут меня, когда я скажу, что сомнений нет: все каламбуры неслучайны, в особенности намек на архаическую форму межличностного взаимодействия, так называемые «кухонные сплетни» о властях предержащих — один из малочисленных примеров не подверженного цензуре общения, зародившегося на заре человечества и имевшего место на той стадии развития Галаада, о котором повествует наша сага. (*Смех, аплодисменты.)*

Этот предмет — я опасаюсь назвать его *документом* — был извлечен там, где в прошлом находился город Бангор[65] и где до установления Галаадского режима располагалась территория штата Мэн. Нам известно, что этот город был важной промежуточной станцией на, как выражается наш автор, Подпольной Женской Дороге,

---

[64] Примечания: 64

Джеффри Чосер (1340–1400) — английский писатель, поэт и политический деятель; в данном случае имеются в виду его «Кентерберийские рассказы».

[65] Примечания: 65

Расположенный через реку Пенобскот от Бангора, штат Мэн, город Бруэр в годы существования Подпольной Железной Дороги был одним из важнейших пунктов на пути беглых рабов в Канаду.

которую с тех пор некоторые наши остряки от истории называют Подпольной Бренной Дорогой. *(Смех в зале, ропот.)* Посему наша Ассоциация особенно им заинтересовалась.

Этот предмет в своем изначальном виде представлял собою металлический саквояж производства Армии США *circa* 1955 года. Сам этот факт не обязательно имеет особое значение, поскольку известно, что подобные саквояжи нередко продавались как «армейские излишки» и потому, вероятно, были широко распространены. Внутри саквояжа, запечатанного клейкой лентой, какой прежде заклеивали почтовые отправления, лежало около тридцати магнитофонных кассет, устаревших примерно в восьмидесятых или девяностых с появлением компакт-диска.

Хочу напомнить, что это было не первое подобное открытие. Скажем, вам, безусловно, знаком предмет, известный как «Мемуары А.Б.», найденный в гараже в пригороде Сиэтла, а также «Дневник П.», случайно извлеченный из земли во время строительства нового молитвенного дома поблизости от бывших Сиракуз, штат Нью-Йорк.

Нас с профессором Бродом весьма взволновала эта новая находка. К счастью, несколькими годами ранее мы при участии великолепного

кембриджского технолога-антиквара воссоздали механизм, способный проигрывать такие кассеты, и потому немедленно приступили к мучительному процессу расшифровки.

В общем и целом в этом собрании наличествовало около тридцати кассет с разным соотношением музыки и речи. Обычно каждая запись начиналась с двух или трех песен — без сомнения, маскировки ради, — а затем вступал голос. Голос женский и, по данным наших специалистов-сонографов, на всех записях идентичный. Ярлыки на кассетах аутентичны той эпохе — разумеется, за некоторое время до начала Раннего Галаадского периода, поскольку светская музыка такого рода при режиме была запрещена. К примеру, в собрании присутствовали четыре кассеты под названием «Золотые годы Элвиса Пресли», три — «Народные литовские песни», три «Бой Джордж разоблачается» и две «Нежные струны Мантовани», а также отдельные кассеты, названия которых встречаются лишь единожды, — лично я особенно люблю «Извращенная

сестра» в Карнеги-холле»[66].

Ярлыки, будучи аутентичными, не всегда соответствовали песням на кассетах, к которым были приклеены. Помимо этого, кассеты были представлены без какой-либо системы, поскольку болтались на дне саквояжа; также они не были пронумерованы. Поэтому нам с профессором Бродом пришлось выстраивать фрагменты текста в том порядке, в котором они, по-видимому, шли; однако, как я уже говорил, этот порядок базируется на догадках, весьма приблизителен и требует дополнительных исследований.

Когда мы получили целостную рукопись — а нам пришлось редактировать ее несколько раз, что связано с трудностями восприятия акцента, неявных отсылок и архаизмов, — перед нами встала необходимость решить, какова природа материала, который мы до сих пор столь скрупулезно восстанавливали. Возникло несколько гипотез. Во-первых, кассеты могли оказаться подделкой. Как вы знаете, имели место несколько

---

[66] Примечания: 66

Элвис Пресли (1935–1977) — американский певец, центральная фигура рок-н-ролльной культуры. Бой Джордж (наст. имя Джордж Алан О'Дауд, р. 1961) — британский поп-певец «новой волны», солист группы «Culture Club» («Клуб культуры», 1981–1986), гей. Аннунцио Паоло Мантовани (1905–1980) — итальянский популярный дирижер, композитор, скрипач и пианист. «Извращенная сестра» («Twisted Sister», 1973–1987) — американская метал-рок-группа.

таких подделок, за которые издатели заплатили крупные суммы, очевидно стремясь нажиться на сенсационности подобных историй. Судя по всему, определенные исторические периоды быстро становятся — как для иных обществ, так и для их наследников — сырьем для не слишком поучительной легенды и поводом для немалого и проникнутого лицемерием самодовольства. Если разрешите редакторское отступление, да позволено мне будет заявить, что, по моему глубокому убеждению, мы должны крайне осторожно судить галаадцев с точки зрения морали. К настоящему моменту мы, вне всякого сомнения, поняли, что такие суждения по необходимости культурно-ориентированы. Кроме того, общество Галаада находилось в тисках, демографических и прочих, и подвергалось воздействию факторов, от которых мы, к нашему великому счастью, более свободны. Задача наша — не порицать, но понимать. *(Аплодисменты.)*

Но вернемся к рассматриваемой теме: подобные записи тем не менее крайне трудно подделать, и специалисты, изучив их, заверили нас, что физические объекты подлинны. Определенно, сама запись, то есть наложение голоса на музыкальную аудиопленку, не могла быть

осуществлена в течение последних ста пятидесяти лет.

Мы допускаем, таким образом, что записи подлинны, — а что же содержание рассказа? Очевидно, он не мог быть зафиксирован в тот период, который в нем живописуется, поскольку, если автор говорит правду, у нее отсутствовал доступ к механизмам и кассетам, а равно не имелось места, где их сокрыть. Кроме того, в повествовании ощущается некая раздумчивость, которая, на мой взгляд, исключает синхронность. В повествовании есть привкус эмоций, вспомянутых если не в покое[67], то во всяком случае — *post facto*[68].

Если нам удастся установить личность рассказчицы, сочли мы, нам, возможно, удастся также приблизиться к разгадке, каким образом вообще появился этот документ — позвольте мне ради краткости называть его так. С этой целью мы опробовали два пути расследования.

---

[67] Примечания: 67

Ал люзия на тезис английского поэта-романтика, представителя «озерной школы» Уильяма Вордсворта (1770–1850), из предисловия ко второму изданию (1800) совместного с Сэмюэлом Тэйлором Кольриджем стихотворного сборника «Лирические баллады» (1798): «Поэзия есть стихийный разлив мощных чувств: она проистекает из эмоций, вспомянутых в покое». Это предисловие стало манифестом поэтов-романтиков.

[68] Примечания: 68

П осле событий *(лат.)*.

Во-первых, мы попытались по старым городским планам Бангора и другим сохранившимся источникам выяснить личности обитателей дома, который, по всей видимости, в то время находился там, где был обнаружен документ. Быть может, рассуждали мы, этот дом был «чистым домом» на Подпольной Женской Дороге в рассматриваемый период и нашего автора прятали там, допустим, на чердаке или в подвале неделями или месяцами, в которые она имела возможность записать свой рассказ. Естественно, нельзя исключать вероятность того, что кассеты были перенесены в данную точку уже после записи. Мы надеялись, что удастся отследить и разыскать потомков гипотетических жильцов, которые, надеялись мы, выведут нас к другим источникам: дневникам, например, или даже семейным легендам, передаваемым из поколения в поколение.

Увы, этот след привел в никуда. Быть может, эти люди, если они и впрямь были звеном в подпольной цепи, были разоблачены и арестованы, в каковом случае любые документальные упоминания о них были уничтожены. Поэтому мы перешли ко второму эшелону атаки. Мы изучили архивные материалы того периода и попытались

соотнести известных исторических персонажей с людьми, фигурирующими в рассказе нашего автора. Сохранившиеся источники того времени обрывочны, поскольку Галаадский режим имел обыкновение стирать подчистую все данные с собственных компьютеров и уничтожать распечатки после разнообразных чисток и внутренних переворотов, однако некоторые распечатки сохранились. Некоторые даже были контрабандой вывезены в Англию в целях пропаганды разнообразных обществ «Спасите Женщин», которых в то время на Британских островах имелось великое множество.

Мы не надеялись отыскать следы непосредственно самой рассказчицы. Из документа недвусмысленно следует, что она попала в первую волну женщин, набранных для репродуктивных задач и распределенных между теми, кто, с одной стороны, нуждался в подобных услугах, а с другой — мог их затребовать в силу высокого положения среди элиты. Режим мгновенно создал фонд таких женщин простым тактическим ходом: он объявил все вторые браки и внебрачные связи прелюбодейством, арестовал женщин и — на том основании, что они морально непригодны, — конфисковал уже имевшихся у них

детей, которых усыновили бездетные пары из верхних эшелонов власти, мечтавшие о потомстве во что бы то ни стало. (В Средний период эта тактика распространилась на все браки, заключенные вне государственной церкви.) Таким образом, мужчины, занимавшие высокие посты при режиме, получили возможность выбирать из женщин, которые уже доказали свою репродуктивную пригодность, родив минимум одного здорового ребенка, что являлось желанной характеристикой в эпоху стремительного падения рождаемости среди европеоидов — феномен, наблюдавшийся не только в Галааде, но и в большинстве северных европеоидных обществ того времени.

Причины такого упадка нам не вполне ясны. Отчасти снижение репродукции, бесспорно, отсылает к широкому распространению в поздний догалаадский период всевозможных разновидностей контроля рождаемости, включая аборты. Следовательно, отчасти бесплодие было сознательным, что, возможно, объясняет различие статистики по европеоидам и неевропеоидам; но в остальном это объяснение несостоятельно. Требуется ли напоминать: то была эра устойчивого штамма сифилиса и знаменитой эпидемии

СПИДа, которые, распространившись в широких кругах населения, уничтожили множество молодых сексуально активных людей из репродуктивного фонда. Повсеместны и на подъеме были мертворождение, выкидыши, генетические дефекты, и эту тенденцию связывали с различными авариями, отключениями и актами саботажа на атомных электростанциях, крайне характерными для того периода; с утечками из резервов химического и биологического оружия и с мест захоронения токсических отходов, каковые были распространены во множестве, как легальные, так и нелегальные, — порой токсические вещества просто сбрасывались в канализационную систему, — а также с неконтролируемым использованием химических инсектицидов, гербицидов и других аэрозолей.

Но каковы бы ни были причины, последствия оказались заметны, и отреагировал на них не только Галаадский режим. Румыния, например, предвосхитила Галаад в восьмидесятых, запретив любые виды контроля рождаемости, обязав все женское население проходить тестирование на беременность и поставив карьерный и зарплатный рост в прямую зависимость от плодовитости.

Потребность в, если позволите так выразиться, услугах рождения уже признавалась в догалаадский период и неэффективно удовлетворялась «искусственным осеменением», «клиниками репродукции» и использованием «суррогатных матерей», которых нанимали с этой целью. Галаад запретил первые две меры как антирелигиозные, но узаконил и усилил третью, которая, как считалось, имеет библейский прецедент; таким образом, серийная полигамия, общепринятая в догалаадский период, сменилась более древней формой единовременной полигамии, практиковавшейся как в ранние времена Ветхого Завета, так и в девятнадцатом веке в бывшем штате Юта. Как мы знаем из истории, никакую новую систему невозможно наложить на предыдущую, не инкорпорировав многие элементы последней, — об этом свидетельствуют языческие элементы средневекового христианства и произрастание русского «КГБ» из предшествовавшего ей царского Охранного отделения. Галаад не стал исключением. В частности, его расистские законы коренились в догалаадском периоде, и расистские страхи дали эмоциональное топливо, благодаря которому Галаадский переворот оказался столь успешен.

Таким образом, наша автор была одной из многих, и ее следует рассматривать в контексте широкой исторической панорамы момента, в которой она фигурировала. Но что нам о ней известно, помимо возраста, ряда физических характеристик, которые могут быть чьими угодно, и места проживания? Немногое. Судя по всему, она была довольно образованной женщиной — насколько выпускница любого североамериканского колледжа тех времен может считаться образованной. *(Смех в зале, ропот.)* Но в лесах, как говорится, таких полно, а следовательно, пользы от этой информации немного. Она не сочла возможным сообщить нам свое первоначальное имя — да и все официальные документы должны были быть уничтожены, едва она поступила в Центр переквалификации Рахили и Лии. «Фредова» также ничего не проясняет, потому что, как и «Гленова» или «Уорренова», это лишь фамилия, составленная из имени джентльмена и притяжательного суффикса. Такие имена принимались этими женщинами при поступлении в дом конкретного Командора и оставлялись при уходе из этого дома.

Прочие имена в документе равно бесполезны для целей установления и удостоверения лично-

сти. «Люк» и «Ник» результата не дали, «Мойра» и «Джанин» — тоже. Высока вероятность, что эти имена все равно были псевдонимами, примененными ради защиты упомянутых индивидов на случай, если кассеты будут обнаружены. Если так, это подкрепляет нашу гипотезу, что кассеты были записаны *в пределах* Галаада, а не за пределами и затем контрабандой переправлены назад для подполья «Мой день».

Исключив вышеозначенные возможности, мы остались с одной-единственной. Если бы, считали мы, нам удалось идентифицировать неуловимого «Командора», мы бы продвинулись хоть на сколько-то. Мы полагали, что столь высокопоставленное лицо наверняка участвовало в первых сверхсекретных группах мозговых штурмовиков «Сыны Иакова», где ковалась философия и социальная структура Галаада. Эти группы возникли вскоре после того, как был официально признан вооруженный пат в отношениях сверхдержав и подписано секретное Соглашение о сферах влияния, которое дало сверхдержавам возможность без угрозы вмешательства подавлять растущее число мятежей внутри своих империй. Официальные стенограммы совещаний «Сынов Иакова» были уничтожены в Средний период по-

сле Великой Чистки, которая дискредитировала и ликвидировала ряд создателей и родоначальников Галаада; однако некоторые данные дошли до нас в зашифрованном дневнике Уилфреда Лимпкина, одного из присутствовавших на совещаниях социобиологов. (Как известно, режим научно объяснял ряд своих традиций социально-биологической теорией естественной полигамии, как более ранние идеологии объяснялись дарвинизмом.)

Из дневника Лимпкина мы знаем, что существовали два возможных кандидата — то есть два человека, в чьих именах есть буквосочетание «Фред»: Фредерик Р. Уотерфорд и Б. Фредерик Джадд. Фотографий их обоих не сохранилось, хотя Лимпкин описывает последнего как надутого пигмея и, цитирую, «человека, для которого «пассия» происходит от слова «пас» и имеет место в футболе». *(Смех в зале.)* Сам Лимпкин ненадолго пережил создание Галаада, и его дневник достался нам лишь потому, что ученый предвидел свой конец и передал документ невестке в Калгари.

И Уотерфорд, и Джадд обладают характеристиками, которые обращают на них наше внимание. Уотерфорд имел опыт рыночных исследований и, по утверждению Лимпкина, нес ответственность

за фасон женских костюмов и за предложение одеть Служанок в красное — идея, которую он, судя по всему, позаимствовал у немецких военнопленных в канадских «военных лагерях» эпохи Второй мировой войны. По-видимому, он же явился создателем термина «Причастика», одолженного у программы гимнастических тренировок, популярной ориентировочно в последней трети столетия; коллективный обряд с веревкой, однако, берет исток из английского деревенского обычая семнадцатого века. Возможно, «Избавление» тоже придумал Уотерфорд, хотя ко времени создания Галаада этот термин распространился с Филиппин и стал общим названием процедуры уничтожения политических врагов. Как я уже не раз говорил, в Галааде мало было подлинно оригинального или врожденного: гениальность его коренилась в синтезе.

По всей видимости, Джадд, напротив, меньше интересовался видимостью и больше — тактикой. Это он предложил использовать памфлет загадочного «ЦРУ» о дестабилизации иностранных правительств в качестве учебника по стратегии для «Сынов Иакова», и он же составил первый черный список известных «американцев» того времени. Он также подозревается в организа-

ции Бойни Дня Президента, которая наверняка потребовала максимального внедрения в систему безопасности Конгресса и без которой ни за что не удалось бы приостановить действие Конституции. Земли Предков и иудейские беженцы-«лодочники» — тоже его заслуга, как и идея приватизации системы еврейской репатриации, в результате чего не один и не два корабля с иудеями были просто опрокинуты в Атлантику — дабы максимально увеличить прибыль. Судя по тому, что нам известно о Джадде, его бы это нимало не обеспокоило. Он был сторонником жесткой линии, и Лимпкин приписывает ему замечание: «Это была наша крупная ошибка — научить их читать. Больше мы ее не повторим».

Это Джадду приписывается разработка ритуала — в отличие от имени — церемонии Причастики; он утверждал, что подобная процедура — не только сугубо страшный и эффективный метод избавления от подрывных элементов, но также способ выпустить пар для женских элементов Галаада. История не раз доказала пресловутую полезность

козлов отпущения[69], и для Служанок, в остальном жестко контролируемых, вероятно, было в радость изредка раздирать мужчину на куски голыми руками. Данная практика оказалась до того популярной и результативной, что в Средний период ее формализовали: процедура имела место четырежды в год, в дни солнцестояний и равноденствий. В ней мы наблюдаем отзвуки ритуалов плодородия ранних культов Богини-Земли. Как мы слышали на вчерашней дневной дискуссии, Галаад, несомненно патриархальный по форме, порой оказывался матриархальным по содержанию, как и некоторые секторы социальной ткани, его породившей. Творцы Галаада отдавали себе отчет: дабы создать действенную тоталитарную систему — или, если уж на то пошло, вообще любую систему, — необходимо хотя бы привилегированному меньшинству даровать некоторые блага и свободы взамен отнятых.

В этой связи, вероятно, уместен будет ряд

---

[69] Примечания: 69

«И возьмет двух козлов и поставит их пред лицем Господним у входа скинии собрания; и бросит Аарон об обоих козлах жребии: один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения; и приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех, а козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения [и чтоб он понес на себе их беззакония в землю непроходимую]» (Лев. 16:7–10).

замечаний касательно примечательного агентства женского контроля, известного как «Тетки». Джадд, по утверждению Лимпкина, с первых дней считал, что лучший и наиболее рентабельный контроль над женщинами во имя репродуктивных и прочих целей должен осуществляться через женщин. Тому имеется множество исторических прецедентов; вообще говоря, ни одна империя, созданная насильно или ненасильственно, не была лишена этого свойства — контроля над массой коренного населения через им подобных. В случае Галаада многие женщины выражали желание служить Тетками — либо по причине искренней веры в «традиционные», как они это называли, «ценности», либо ради обещанных выгод. Там, где власть дефицитна, даже капля ее — искус. Равно действовало и негативное стимулирование: бездетные, бесплодные или пожилые незамужние женщины могли служить Тетками и тем самым избежать сокращения и дальнейшей высылки в пресловутые Колонии, состоявшие из мобильных групп населения, которые использовались главным образом в качестве одноразовых подразделений токсической очистки, хотя, если человеку везло, его могли отрядить на менее опасные задачи, такие, как сбор хлопка или фруктов.

Итак, идея принадлежала Джадду, однако ее воплощение несет на себе отпечаток ума Уотерфорда. Кто еще из «Сынов Иакова» был способен придумать, что Тетки должны брать имена в честь коммерческих продуктов догалаадской эпохи, рассчитанных на женщин, а следовательно, знакомых им и приятных, — в честь серий косметической продукции, пекарных смесей, замороженных десертов и даже медицинских препаратов? Блестящий ход, который, на наш взгляд, доказывает, что Уотерфорд в период расцвета был человеком немалой изобретательности. Как, по-своему, и Джадд.

Оба эти джентльмена, как нам известно, были бездетны, а потому имели право на сменных Служанок. Мы с профессором Бродом высказали в нашей совместной работе «Концепция «семени» в раннем Галааде» допущение, что оба — как и многие Командоры — пострадали от вируса стерильности, разработанного в рамках секретного догалаадского эксперимента по генному расщеплению вируса свинки; этот вирус планировалось внедрить в поставки икры, потреблявшейся высокопоставленными чиновниками в Москве. (Эксперимент был прекращен после Соглашения о сферах влияния, поскольку многие сочли вирус

чересчур неконтролируемым, а следовательно — чересчур опасным, хотя некоторые желали распылить его над Индией.)

Однако ни Джадд, ни Уотерфорд не были женаты на женщине, тогда или когда-либо известной под именем «Пэм» либо «Яснорада». Судя по всему, эта последняя является весьма злоумышленным творением нашего автора. Жену Джадда звали Бэмби Мэй, жену Уотерфорда — Тельма. Последняя, впрочем, одно время выступала телеперсоной описанного сорта. Это нам известно из дневника Лимпкина, который не раз ехидничал по данному поводу. Сам режим скрупулезно покрывал такие прошлые отступления от ортодоксии среди супруг элиты.

В целом свидетельства склоняются в пользу Уотерфорда. Мы знаем, к примеру, что он погиб — возможно, вскоре после описанных нашим автором событий, — в ходе одной из ранних чисток; его обвинили в либеральных склонностях, в несанкционированном обладании крупным собранием еретических изобразительных и литературных материалов и в укрывательстве подрывного элемента. Это случилось, когда режим еще не начал проводить суды втайне и по-прежнему транслировал их по телевидению,

поэтому события были записаны в Англии по спутниковой связи и наличествуют в нашем Архиве в отделе видеокассет. Кадры с Уотерфордом нечетки, однако их качество позволяет установить, что волосы его действительно были седы.

Что касается подрывного элемента, в укрывательстве которого обвинили Уотерфорда, то это может быть сама «Фредова», поскольку в данную категорию ее определял побег. Вероятнее всего, подрывным элементом был «Ник», который, очевидно, помог «Фредовой» бежать, что доказывается самим фактом существования наших аудиозаписей. Методы «Ника» подтверждают, что он являлся членом теневого подполья «Мой день», которое было не тождественно Подпольной Женской Дороге, однако связано с ней. Последняя являлась спасательной организацией в чистом виде, первая — псевдовоенным формированием. Известно, что ряд тайных агентов «Моего дня» внедрился во властную структуру Галаада на высочайших уровнях, и помещение одного из подпольщиков на должность шофера Уотерфорда — безусловная удача; удача вдвойне, поскольку «Ник», по-видимому, одновременно входил в организацию Очей, что было типично для шоферов и личных слуг. Разумеется, Уотер-

форд наверняка был об этом осведомлен, но, поскольку все высокопоставленные Командоры автоматически распоряжались Очами, он вряд ли всерьез обращал на это внимание и не позволял данному факту препятствовать нарушению малозначимых, по его мнению, правил. Как и многие первые галаадские Командоры, впоследствии павшие жертвами чисток, он полагал свою должность вне подозрений. Для стиля Среднего Галаада характерна бóльшая осторожность.

Выше я изложил наши догадки. Если допустить, что они верны, — то есть допустить, что Уотерфорд и впрямь был нашим «Командором», — все равно остается множество лакун. Некоторые могла бы заполнить наша автор, будь она иного склада ума. Обладай она инстинктами репортера или шпиона, она могла бы подробнее поведать нам о механизмах Галаадской империи. Чего бы мы теперь не отдали за какие-то двадцать страниц распечаток из личного компьютера Уотерфорда! Однако нам следует благодарить Богиню Истории за любые крохи, которыми она удостоила нас.

Что же до участи нашей рассказчицы, она остается неясна. Вывезли ли ее через границу Галаада, на территорию бывшей Канады, добралась ли она

оттуда в Англию? Это было бы мудро, поскольку в тот период Канада не желала враждовать с могущественным соседом и проводила облавы и экстрадицию подобных беженцев. Если так, отчего рассказчица не забрала записи с собой? Быть может, ее поездка случилась внезапно; быть может, она опасалась перехвата. С другой стороны, ее могли поймать снова. Если она и впрямь достигла Англии, отчего не опубликовала свою историю, как поступали многие, добравшись до внешнего мира? Быть может, она боялась отмщения «Люку», допуская, что он еще жив (ситуация невероятная), или даже своей дочери; ибо Галаадский режим не брезговал мерами такого рода и прибегал к ним, дабы воспрепятствовать неблаготворным публичным выступлениям за рубежом. Известно, что немало опрометчивых беженцев получали руку, ухо или ступню в вакуумной упаковке, спрятанные, допустим, в кофейной жестянке. Или, быть может, «Фредова» была из тех беглых Служанок, кому оказалось не по силам приспособиться к жизни вовне после прежнего защищенного бытия. Возможно, «Фредова», как и они, стала затворницей. Этого мы не знаем.

Мы также можем лишь догадываться о мотивах «Ника», организовавшего ее побег. Не исключено,

что, когда вскрылась связь ее спутницы «Гленовой» с «Моим днем», «Ник» сам оказался под угрозой, поскольку — как он, будучи Оком, прекрасно знал — самой «Фредовой» также грозил непременный допрос. Кара за несанкционированные половые сношения со Служанкой была сурова, а статус Ока не обязательно защитил бы «Ника». Галаадское общество пронизывали интриги, и необъявленные враги внутри режима могли использовать против человека любой его проступок. «Ник», разумеется, мог бы казнить «Фредову» самостоятельно — так было бы мудрее, — но мы должны брать в расчет фактор человеческого сердца, а кроме того, как мы знаем, оба они считали, что она беременна его ребенком. Какой мужчина Галаадского периода устоял бы перед искушением отцовства, такого статусного и столь превозносимого? Вместо этого он вызвал спасательную бригаду Очей, которые были, а может, и не были подлинны, но в любом случае подчинялись ему. Тем самым он вполне мог приблизить собственный крах. Этого мы тоже никогда не узнаем.

Благополучно ли достигла наша автор внешнего мира и зажила ли новой жизнью? Или ее обнаружили в чердачном убежище, арестовали,

выслали в Колонии или к «Иезавели» или даже казнили? Наш документ, по-своему красноречивый, по этому поводу хранит молчание. Можно вызвать Эвридику из царства мертвых, но не заставишь ее ответить; и, обернувшись взглянуть на нее, мы лишь на секунду улавливаем промельк, а потом она ускользает из нашей хватки и исчезает. Как знает любой историк, прошлое — великая темь, что полнится эхом. Быть может, к нам донесутся оттуда голоса; но речь их пропитана мраком материнской материи, из коей они явились; и как бы мы ни старались, не всегда удается с точностью их расшифровать в прояснившемся свете наших дней. (*Аплодисменты.)*

Есть вопросы?